

*Обжигающий
пламень
Победы*

*Проза. Стихи.
Свидетельства. Размышления*

ТОМ I

Калининград
2016

УДК 821.161.1 (082)
ББК 84(2=411.2)бя43
О-13

*Издано при поддержке Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
на грант Президента Российской Федерации*

Редакционный совет:

*Андрей Битов, Борис Евсеев, Вячеслав Карпенко,
Александр Колесов, Евгений Попов*

Составитель – *Борис Евсеев*

О-13 Обжигающий пламень Победы: Проза. Стихи. Свидетельства.

Размышления: в 2-х т. Составитель Б.Т. Евсеев. – Калининград, 2016.

ISBN 978-5-904895-24-2

Т. I. – 2016. – 464 с., ил.

ISBN 978-5-904895-23-5

В первый том вошли обжигающие душу повести и рассказы, написанные во время Великой Отечественной войны, или вскоре после неё такими выдающимися мастерами слова, как Виктор Астафьев, Константин Воробьев, Виктор Некрасов, Евгений Петров, Андрей Платонов.

Впервые публикуются «Разговоры и размышления» о войне Константина Симонова.

Во втором разделе тома помещены повести, рассказы, воспоминания и эссе ныне здравствующих ветеранов: Даниила Гранина, Елены Ржевской, Андрея Туркова и др.

Перекликаясь с ветеранами и вступая с ними в плодотворный диалог, о горькой правде тех огненных лет вспоминают «дети войны».

Пронзительные стихи поэтов военной поры и наших современников, сообщают тому высокий эмоциональный настрой.

УДК 821.161.1 (082)

ББК 84(2=411.2)бя43

ISBN 978-5-904895-23-5 (I т)

ISBN 978-5-904895-24-2 (общий)

© Калининградское отделение
Русского ПЕН-центра, 2016
© Евсеев Б.Т., составление

Арсений Тарковский

ИВАНОВА ИВА

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла,
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива, Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

Андрей Битов

ДЕЖА ВЮ

Рассказ

Кто из них троих кого помнит? Название ли запоминает жанр? Жанр ли вспоминает автора? Автор ли окликает себя по имени?

«Петербург! Я еще не хочу умирать! У меня телефонов твоих номера...»

В 2-82-07... Первый номер, который я помню.

Таких номеров больше нет. В Ботаническом саду, что находится напротив дома, я видел пальму, обвитую почетной черно-желтой гвардейской лентой. На ней была табличка:

ПАЛЬМА ПОСЕВА 1937 ГОДА
ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ

Это я.

Мой отец родился сто лет назад. Когда ему было двенадцать, его отец получил звание потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. Мой прапрадед по матери, отец Василий, был протоиереем Гатчинского собора. Моя прабабка (урожденная Орлова), быть может, коренная петербурженка со дня его основания. Оба моих деда, не сговариваясь, поженились на питерских немках.

Я родился 27 мая, в день рождения Петербурга, когда ему исполнилось 234 года.

Каждый человек на Земле – в единственном экземпляре.

Таких номеров больше нет.

Привожу цитату тридцатилетней давности:

«И как это я ничего не боюсь! Летать хотя бы... Обнаглел... Какой-то защитной заслонки в сознании не хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот

другие люди... Когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы: купить не купить, пойти не пойти, сказать не сказать, – прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием – признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать – но тогда начинаю попевать и успеваю; возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух – но никогда не буду я бояться самолета потому, что на него можно опоздать. В этом моя ошибка, и в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего – это ли не бесстрашие? То ли дело люди – страх для них и есть соблазн».

Номер – тот же.

Усмешка какая-то новая случилась. Отдельная, сбоку, как у чеширского кота. Поступил заказец, в принципе лишней, а я тут же согласился. Только эта вырвавшаяся вперед оформленной мысли усмешечка и оказалась темой.

Захотелось мне в ней разобраться.

1

Снится мне ночь... Я с двумя одноклассниками топчусь на набережной напротив школы. Утренняя, еще не морозная, но уже зимняя тьма. Нам надо перебраться через речку, еще более черную, чем тьма вокруг. Значит, Ленинград, значит, речка – Фонтанка. Не помню, кто третий, может быть, Савельев, но другой, точно, был Логинов (один из прообразов будущего Митишатъева из будущего «Пушкинского дома»; кажется, он не так давно умер, как, впрочем, и другой его прообраз...). «Ну же!» – подталкивает меня Логинов. Почему-то это я должен лезть в воду первый, это даже не обсуждается. Вода почти под ногами, только через ограду набережной перелезть, как в окно... Вода подо мной, такая черная, еще чернее, чернее черного, и от этого, что ли, такая маленькая, как люк, как пресловутый квадрат Малевича, про который я еще ничего не знаю. «Мы же раньше вокруг обходили...» – мой довод не воспринимается, надо лезть в воду.

Я просыпаюсь. Через полвека, в Москве. За окном темно, там у меня Ленинградский вокзал. 13 ноября 2002 года. Я должен отправить вот этот ненаписанный текст Кафке не позже 15-го...

Выходит, я боюсь воды.

2

Не только школы и зимы, не только утренней тьмы... Когда я еду этим крошечным ленинградским утром в школу и переезжаю Неву, от Петропавловской крепости к Марсову полю, я не вижу этого самого, быть может, красивого петербургского вида, потому что мечтаю, как мой автобус летит с моста в воду. Это не страшно, а весело: все лучше, чем в школу...

Там, за окном школы, начинает рассветать к третьему уроку. Из окна видна Фонтанка. В ней плавают гондоны. Напротив дом, в котором живет мой сосед по парте Савельев, белокурая бестия, у него мать немка. Так мы сидим, полтора немца за одной партой, маемся до перемены.

Я пересказываю ему рассказ отца: до войны по набережной Фонтанки ходил троллейбус. Однажды он пробил ограду и упал в речку, утонул, только один уголок торчал из воды, как раз под окнами нашей будущей школы. В этом уголке, в единственном пузырьке воздуха спасся единственный человек, как ни странно, отцовская сослуживица. Спаслась, но умом тронулась. (Позднее выяснится, что это мать нашего одноклассника, сидящего за соседней партой; еще позднее окажется, что у нее с моим отцом был чуть ли не роман, во всяком случае, мать моя отца к ней ревновала). Когда я выхожу из школы, мне, под плавающими гондонами, мерещится затонувший троллейбус.

3

Черный человек вхож не только к Моцарту или Есенину... Я не настолько гений, чтобы умирать от него. Черный человек – это тот, кто заказывает. Обещает заплатить, объявляет тебе (язык не соврет!) dead line. Не всегда черный человек приходит, иногда он звонит по телефону. Иногда он даже женщина.

Звонок разбудил меня в Берлине. Он был от Кафки. Но не от самого пока... Это журнал так называется, «Кафка». Для Восточной Европы. Выходит, Россия в нее все-таки входит (моего английского хватает на такую шутку). Петербург, точно, входит (ее английского хватает меня парировать). Тема номера – ВОДА. Значит, для меня «Петербург и вода». Тут-то и случилась упомянутая усмешечка. Дождь, снег,

лед... Я мигом представляю себе свой милый и малый Аптекарский остров, отделенный от прочего мегаполиса речками Невкой и Карповкой... там начинается моя память, с блокады. Легко! Я уже опаздываю с двумя заказанными немцами текстами – так до троицы, до кучи! – я соглашаюсь.

4

Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом. Такой подъезд – парадный, две ступеньки вниз, для перетаптывания, для отряхивания, для пережидания дождя. Сразу за ступенькой – лужа. Она пузырится. Если пузыри, значит, дождь надолго – такая народная примета. Не сразу рискнешь сойти по этим ступенькам на панель. Поднимешь воротник, перестегнешь пуговичку, забыл зонтик... Это уже и не лужа, а поток. Вода бежит по панели, перегоняя саму себя, из лужи в лужу, впадая в лужищу, которая, переполняясь, перебегает дорогу, сбегает по ступеням схода набережной в реку.

Значит, я на родине, в Питере, в Ленинграде, в Петербурге. Река – Нева, она впадает в Маркизову лужу (Финский залив в питерском просторечии). Что лужа – понятно, потому что залив очень мелкий, но почему Маркизова? До сих пор не выяснил. Помню, когда чай был жидкий, приговаривали, что в нем Кронштадт видно. И действительно, в редкую погоду через Маркизову лужу виден Кронштадт.

Надо мной нависает текст, как питерское обложное, свинцовое небо. Скорей бы уж хлынуло!

Надо мной нависает текст, как судьба.

Значит, я боюсь текста.

5

Так ли уж я боюсь воды?

Я очень тяжело в нее вхожу. Даже в теплое море. Мой сердечный друг Юз Алешковский, наблюдая, как я это произвожу, прозвал меня «бздиловатый конь», на него я не обиделся.

Обиделся я в другой раз, в Адриатическом море, купаясь с одной урожденной русалкой, когда она мне сказала, смеясь: «Да ты воды боишься!» А мне казалось, я довольно красиво плыву вольным стилем.

Как кочевник, не очень-то я люблю мыться. Опасаюсь лихорадки. Недавно я, наконец, обнаружил, что задыхаюсь, когда пью воду. Будто тону.

Я не верю ни во Фрейда, ни в реинкарнацию.

Сам я еще ни разу не тонул.

Когда увидел первого утопленника, то с перепугу залпом написал «Пушкинский дом».

Там много воды. Не дай Бог, что и в переносном смысле тоже. Роман начинается с дождя и наводнения и кончается ледяным школьно-похмельным утром.

Говорят, раньше я писал лучше. Вот еще цитата из того времени: «Господи, господи! что за город!.. какая холодная блестящая шутка! Непереносимо! но я ему принадлежу... весь. Он никому уже не принадлежит, да и принадлежал ли?.. Сколько людей – и какие это были люди! – пытались приобщить его к себе, себя к нему – и лишь раздвигали пропасть между ним и собою, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самими собой... Вот этот золотистый холод пробежал по спине – таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото спиелей, червленая, старинная вода – тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел, легкий вымпел грубого Петра. С детства... да, именно так представлял Петра! – как *тяжелую темноту воды под мостом* (выделено сейчас. – А. Б.). Золотой Петербург! именно золотой – не серый, не голубой, не черный и не серебряный – зо-ло-той!..»

(Примечание к выделению... Тут у нас недавно потонул сухогруз, врезавшись в опору моста. Событие телевизионного масштаба! По ленинградским меркам, «Курск»... Опять героизм ликвидации аварии. Его сначала под водой резали, впервые в мире, по новым гениальным, специфически национальным технологиям... Зато, когда подымали первую отрезанную часть, плохо закрепили стропила, многотонная эта часть сорвалась и, качнувшись, как маятник, вдарила по Университетской набережной как раз супротив Медного Всадника, там как раз толпа патриотически-любопытствующих глазела. Кажется, на этот раз без жертв.)

6

«Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева, а по небу неслись, как именно в сером Петербурге бывает, цветные, острые облака. Неслось – над, неслось – под, а я замер между сфинксами в безветрии и тишине – какое-то прощальное чувство... как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронулся, твой или напротив. Или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл?.. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им это было одинаково все равно: тем же взглядом смотрят они – как в пустыню... И впрямь: не росли ли до них в пустыне леса, не было ли под Петербургом болота?.. Странный Петербург – как сон... Будто его уже нет. Декорация... Нет, это не напротив – это мой поезд отходит».

Петербург двойтся. В нем две воды. Одна вода – поверхность: ее – много, она – прекрасна, она разбивает город на прозрачные грани, в которых он и отражается, удваиваясь, играя в призрачность того и другого: отражение – реальнее. Другая вода – вертикальна, сверху и снизу, мутная ось зарождающейся бури, готовой перебить все эти парадные зеркала. Кабы кто здесь знал, то есть в этом что-то от Гамбурга и Амстердама, но, чтобы не было им обидно, покруче, потому что оба вместе.

7

Петр про то и думал, их совмещая. Он не думал про вертикаль. Она пронзила город в ноябре 1725 года, разметав полгорода, пронзила до смерти и Петра, оставив нас кашлять и чихать, его проклиная.

В 1824 году наводнение повторилось.

Готовясь к двойному юбилею Пушкина и Гете (200 и 250), я сопоставил их именно в этом году.

Оказывается, не ведая друг о друге (Пушкин знал «Фауста» лишь в прозаическом пересказе мадам де Сталь), они занимались одним и тем же, и мировой царь поэтов в своем палаццо в Веймаре, и посланный русским царем в деревню миру неведомый молодой русский поэт: оба дописывали «Фауста», оба обсуждали смерть Байрона и петербургское наводнение, только мэтр – с Эккерманом, а ссыльный – с полуграмотной няней Ариной Родионовной...

Вот она, мировая литература! Эпицентр смерча.

Пушкин отнесся к наводнению легкомысленно:

«Что это у вас? Потоп? Ничто проклятому Петербургу! *Voilà une belle occasion a vos dames de faire bidet*», – пишет он другу, ревнуя столицу к своему насильному отсутствию.

Гете осуждает Петра:

– Местоположение Петербурга – непростительная ошибка, тем паче, что рядом находится небольшая возвышенность, так что император мог бы уберечь город от любых наводнений, если бы построил его немного выше, а в низине оставил бы только гавань. Один старый моряк предостерегал его, наперед ему говорил, что население через каждые семьдесят лет будет гибнуть в разлившихся водах реки. Росло там и старое дерево, на котором оставляла явственные отметины высокая вода. Но все тщетно, император стоял на своем, а дерево повелел срубить, дабы оно не свидетельствовало против него.

И Пушкин тут же задумался:

«Потоп этот вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется...» В 1833 году он напишет «Медного всадника», самое великое в мире произведение про воду, про Петербург и воду, самое великое свое произведение, где стихия, власть и судьба станут одним, совьются в поэтическом смерче, удержав человека на пенном гребне величия и безумия.

В 1924 году, еще через сто лет, уже при советской власти, великое наводнение повторится.

У Михаила Зощенко, каким-то образом тоже не бывшего очевидцем события, по этому поводу есть рассказец... как он прогуливается по нашему городу при хорошей погоде и настроении и отмечает праздным взором на одном из домов мемориальную доску: «уровень воды 1924 года».

Уровень этот выше головы, и воображение рисует ему страшные картины тонущих людей и всплывших экипажей. Тут появляется дворник, бывший свидетелем наводнения, и автор начинает расспрашивать его об этом ужасе. Дворник поясняет, что все было не так страшно: просто гуляки все время отрывали доску, и он приколотил ее повыше, чтобы прекратить хулиганство.

Не иначе как по той же логике, опасаясь 2024 года или мечтая превзойти Петра, советское начальство поддержало грандиозный по эко-

логическому безумию проект дамбы, перегораживающей Финский залив. Советская власть пала, дамба оказалась недостроенной, зато нарушилась проточность вод, и завелись дурные водоросли, отравляющие залив.

8

Вода, снег, лед, иней... пар, туман, морось, дождь, ливень... Если перечислить все состояния воды, то останется еще одно – Петербург. В нем есть пространство, но нет объема. Одни фасады и вода. Представить себе внутреннюю или заднюю часть дома бывает затруднительно. Живут ли там? И кто? Петербург населен литературным героем, а не человеком. Петербург – это текст, и ты часть его. Герой поэмы или романа. Тогда проспекты и улицы выглядят, как обмелевшие каналы. В затопленном состоянии они даже естественнее. Мокрый, лоснящийся ночной асфальт сойдет за воду. Мокрый Париж или подсыхающая Венеция?

Другое дело – лед. Можно было бы и так сказать...

Льда – полметра. Но это – в квартире. Значит, не тридцать, а шестьдесят лет назад. Первое, что я помню. Лед – ведь это замерзшая вода? Тогда память – это замерзшее время.

Недавно обнаружили, что вода обладает памятью. Еще бы! Она ведь состоит из линз.

Увеличивает ли память?

Из единственной теплой комнаты, отапливаемой буржуйкой, в которой стремительно прогорает мебель и книги из комнат холодных, чтобы выйти, надо подняться на ступеньку вверх, ломом выколотую из льда. Воды нет. До нее километра два: мать привозит ее с Невки, из проруби.

Дорога тоже ледяная. Иногда по дороге чернеет мертвый труп замерзшего человека. На него никто не обращает внимания. Никто ни на кого не обращает внимания. Важно не поскользнуться, не опрокинуть ведро с водой, которое тащишь за собою на саночках... Однажды мать вернулась с водой огорченная и радостная... Она отстояла очередь к проруби, сумела не поскользнуться, набирая воды, не поскользнуться, выбираясь на берег... и когда совсем уже добралась до дому, ведро таки опрокинулось. Как ее жалели! «Бедная, – говорили, – бедная!»

Пришлось возвращаться, повторять все сначала. Но это было уже ничто по сравнению с тем, как ее жалели. Никто никого тогда не жалел. Даже мертвых. Тем более живых.

Я смотрю с уважением на ведро воды: вот это вода!

Может, за это я люблю Рубцова:

Матушка возьмет ведро,

Молча принесет воды...

Чувство!

Когда увеличиваю память, то вижу и еще... Вспышка памяти черно-белая, отпечаток с крупным зерном и подтеками, как мартовский, изгрызенный первой весной снег. По ледяному озеру колонна грузовиков, я в одном из них, весь укутанный и сжатый чужими телами. Поверх льда уже полметра воды. Я люблюсь тем, как от колес грузовика расходятся широкие и кривые брызги-волны, чувствую себя капитаном на мостике корабля. Бомбят. Весело! Тут впереди идущий грузовик уходит носом под воду: вокруг снег, посреди черная дыра воды, крупные цифры на заднем, торчащем над водой борту...

Номера!

Наука все открывает и открывает что-нибудь новенькое про воду. Например, что вся вода в мире связана. По старинному русскому поверью, в ночь на Рождество вся вода становится святой. Ею крестили не только нас – в ней крестился Христос. В таком случае Петербург связан с миром не только как «окно в Европу» (достаточно мутное), но – водою. Которая все помнит, поскольку вся связана.

Запомнит ли меня вода?

Выходит, что я все-таки боюсь. Боюсь воды, боюсь текста. Текст – ведь это связь всех слов.

Я боюсь не только Фрейда и смерти.

Я боюсь. Я как люди. Я – живой. Я нормальный человек.

13, 19, 27 ноября 2002 г.

Михаил Кульчицкий

* * *

Я вижу красивых вихрастых парней,

Что чихвостят казенных писак.

Наверно, кормильцы окопных вшей

Интендантов честили так.

И стихи, что могли б прокламацией стать

И свистеть, как свинец из винта,

Превратятся в пропыленный инвентарь

Орден, что сукну не под стать.

Золотая русская сторона!

Коль снарядов окончится лязг,

Мы вобьем в эти жерла свои ордена,

Если в штабах теперь не до нас.

1941 г.

I. ИЗ ПЕКЛА

Ольга Берггольц

ИЗ «ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОЭМЫ»

Я как рубеж запомню вечер:
 декабрь, безогненная мгла,
 я хлеб в руке домой несла,
 и вдруг соседка мне навстречу.
 «Сменяй на платье, – говорит, –
 менять не хочешь – дай по дружбе.
 Десятый день, как дочь лежит.
 Не хороню. Ей гробик нужен.
 Его за хлеб сколотят нам.
 Отдай. Ведь ты сама рожала...»
 И я сказала: «Не отдам».
 И бедный ломоть крепче сжала.
 «Отдай, – она просила, – ты
 сама ребёнка хоронила.
 Я принесла тогда цветы,
 чтоб ты украсила могилу».
 ...Как будто на краю земли,
 одни, во мгле, в жестокой схватке,
 две женщины, мы рядом шли,
 две матери, две ленинградки.
 И, одержимая, она
 молила долго, горько, робко.
 И сил хватило у меня
 не уступить мой хлеб на гробик.
 И сил хватило – привести
 её к себе, шепнув угрюмо:

«На, съешь кусочек, съешь... прости!
 Мне для живых не жаль – не думай».
 ...Прожив декабрь, январь, февраль,
 я повторяю с дрожью счастья:
 мне ничего живым не жаль –
 ни слёз, ни радости, ни страсти.
 Перед лицом твоим, Война,
 я поднимаю клятву эту,
 как вечной жизни эстафету,
 что мне друзьями вручена.
 Их множество – друзей моих,
 друзей родного Ленинграда.
 О, мы задохлись бы без них
 в мучительном кольце блокады.

.....
Июнь – июль 1942, Ленинград

Илья Эренбург

ПИСАТЕЛЬ-БОЕЦ

Мы понесли большую потерю: погиб большой писатель и чудесный человек Евгений Петров. Он принес в советскую литературу фантазию юга и глубоко человеческий, просветляющий душу юмор, который роднит его с традициями русских классиков. Он умел видеть: у него были не только глаза художника, но и сердце художника. Он сразу подмечал те как бы незначительные детали, которые определяют характер человека или вещи. Он умел разбираться в сложности жизни. Он видел и нашу советскую стройку, и старый Париж, и энергию Нового Света. Нужно быть тонким наблюдателем, чтобы в стране небоскребов разглядеть одноэтажную Америку. Нужно быть настоящим художником, чтобы в шуме войны услышать лирические признания бойца-героя.

Евгений Петров был веселым человеком, влюбленным в жизнь. Его оптимизм был коренным: не программой, но природой. Ему хотелось, чтобы жизнь была еще лучше, чтобы людям жилось легче. Он об этом говорил страстно, весь загораясь. Он понимал, что мешает человеку – косность, мещанство, чиновничий футляр. Он боролся с этими противниками человеческого. Он не был едким сатириком, он не бичевал, но в его ласковом юморе была сила, которая помогала людям крепче бороться и сильнее любить. Такому человеку жить бы да жить – создан он был для счастья. А погиб он на боевом посту, погиб, потому что любил жизнь, любил друзей, любил родину.

С первого дня войны он знал одну страсть: победить врага! Он не отошел в сторону, не стал обдумывать и гадать. Он был всюду, где был наш народ. Его видели защитники Москвы в лихие дни ноября. Он был в освобожденном Волоколамске. Как-то зимой он поехал к Юх-

нову, вернулся контуженый, но, как всегда, бодрый, говорил: «Юхнов возьмем...» Недавно он побывал на далеком севере, у Мурманска. Я был с ним, когда его спросили: «Хотите в Севастополь?» Он весь засиял: «Конечно!» Это было две недели тому назад. Петров знал, что дни Севастополя сочтены, но он хотел донести до нашего народа, да и до всего мира, рассказ о беспримерном мужестве севастопольцев.

Он писал для «Правды», для «Красной звезды». Весь год войны он посылал свои очерки в Америку, они печатались в сотнях крупнейших газет. Они рассказывали американцам о доблести Красной Армии. Петров знал Америку и находил слова, которые доходили до самого сердца его заатлантических читателей. Своими телеграфными очерками он подбодрял рабочих, которые изготовляли самолеты и танки, он придавал бодрости американским солдатам, которые готовились к дальнему плаванию и к трудному европейскому походу. Петров много сделал, чтобы открыть Америке правду нашей войны. Петров много сделал для нашей победы.

Евгений Петров писал романы вместе с безвременно умершим Ильфом. Кто не знает «Двенадцати стульев», «Золотого теленка»? Теперь миллионы читателей Петрова и Ильфа сражаются за родину. Они разделяют горе советских писателей. С гордостью за нашу литературу они подумают: Евгений Петров был с нами...

Не случайно последней главой в жизни Петрова была героическая защита Севастополя. Огонь краснофлотцев как бы кидает свой отблеск на черную ночь, куда ушел от нас Петров. Свое имя он связал с Севастополем – для нас и для истории.

Мы узнали о смерти писателя в трудные дни, когда враг, чувствуя свою неминуемую гибель, страшась второго фронта, напрягает все силы, чтобы ворваться в глубь России. Читатели в гимнастерках, друзья-бойцы, вспомните веселые довоенные дни, когда вы читали об Остапе Бендере и об автомобиле-гну. Вспомните газетные листы с рассказами Петрова о героях нашего зимнего наступления. Ваша горечь за потерю любимого писателя придаст вам силы. За все мы оплатим немцам. И за Евгения Петрова.

5 июля 1942 г.

Евгений Петров

ИЗ «ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА»

Сегодня под Москвой

В простой бревенчатой избе, под образами, совсем как на знаменитой картине «Военный совет в Филях», сидят три советских генерала – пехотный, артиллерийский и танковый.

И так же, как тогда, та же русская природа за окном, и карта на столе, и заглядывает в комнату любопытный деревенский мальчик, и недалеко Москва. И генералы даже чем-то похожи на Дохтурова или молодого Ермолова, вероятно, русскими лицами и золотом на воротниках.

Только они не решают здесь – оставить Москву врагу или дать новое сражение.

Вопрос уже решен: Москву отстоять, во что бы то ни стало. А генеральное сражение уже идет четырнадцатый день, не только не ослабевающая, но все усиливаясь.

Если продолжить историческую параллель с 1812 годом, хочется сравнить с Бородинским сражением октябрьские бои на Западном фронте, когда наши армии, непрерывно сражаясь, откатывались от Вязьмы и Брянска, а израненный враг, совершивший гигантский прыжок в двести километров, должен был остановиться, чтобы зализать свои раны и собраться с новыми силами. Сейчас же на подступах к Москве идет то сражение, которое Кутузов не решился дать Наполеону, но обязательно дал бы, если бы, защищая Москву, находился в современных условиях.

Величайшее сражение идет четырнадцатый день. Далеко впереди горят оставленные нами деревни. Глядя на карту, я отчетливо вспоми-

наю. Вот в этой я был пять дней назад. В этой – позавчера. Неужели горит эта чудесная деревушка, вся в садах, с прекрасным домом отдыха по соседству? И не их ли, жителей этой деревушки, встретили мы только что на дороге, направляясь к фронту? Они едут в телегах и на военных грузовиках со всем своим домашним скарбом. Нет ни слез, ни причитаний. Женщины молча смотрят перед собой сухими глазами, обнимая свои узлы. Их мужья на фронте, дома их горят. Но у них есть родина и месть. Страшна будет эта народная месть, когда гитлеровские армии покатаются обратно!

Три генерала, которые так похожи на кутузовских, заехали далеко вперед от своих штабов. Сейчас они бросили навстречу прорвавшимся немцам моторизованную пехоту и теперь ждут результатов. Впереди, за деревней, уходящее вниз поле. Потом лес, начинающийся на пригорке. Поле уже покрыто заранее вырытыми окопами. Они чернеют на снегу.

Немец обстреливает из минометов дорогу между деревней и лесом. Иногда по этой дороге с большой скоростью проносится небольшой связной танк или грузовик с походной кухней. На грузовике, заваливаясь к бортам на поворотах, сидят повара. Из трубы валит дым. Кухня торопится за своей пехотой, которую полчаса назад бросили в бой. На околицах деревни уже поджидают противника противотанковые орудия.

В густом еловом лесу, в засаде, стоят большие белые танки, немного прикрытые хвоей. Их ни за что не увидишь, если не подойдешь совсем близко. Это очень грозная сила, и красный ромбик, которым они отмечены на карте, несомненно, играет в планах командования большую роль. Вероятно, они пойдут в бой еще сегодня, к концу дня.

Все чаще с сухим треском лопаются мины. Бой приближается. Но орудийная прислуга в деревне, и танкисты в лесу, и генералы в своей избе как бы не замечают этого. Таков неписанный закон фронта.

Командир танковой роты, старший лейтенант, молодой двадцатидвухлетний кубанец (он, совсем как казак, выпустил из-под кожаного шлема вьющийся чуб), со смехом рассказывает, как, отправившись на разведку в одиночку, встретился с пятью немецкими средними танками, как подбил два из них, а остальные удрали. Но этим не кончились его приключения. Он помчался дальше, захватил противотанковое

орудие, десять ящиков со снарядами к нему и все это в исправном виде (хоть сейчас стреляй!) доставил в свое расположение. Все это он рассказывает как забавный анекдот. У старшего лейтенанта уже большой боевой опыт – он сорок семь раз ходил в танковые атаки, и все они были удачны. Наши танки «Т-34» он считает лучшими в мире.

Он еще раз обходит приготовившиеся к бою машины, потом останавливается возле одной из них и, похлопав ее по стальному боку, ласково говорит:

– А это мой танк!

Он узнает его среди многих совершенно одинаковых машин, как кавалерист узнает свою лошадь. Вероятно, он знает какое-нибудь одному ему известное масляное пятно или небольшую вмятину от снаряда.

Сейчас, во время генерального немецкого наступления на Москву, когда в разных направлениях непрерывно вспыхивают бои и сражение представляет собою целую серию сложных маневренных действий, исключительный интерес вызывает ближайший тыл, примерно десять километров в глубину.

По состоянию ближайшего тыла, уже просто по одному тому, что и как движется по дорогам и что происходит в деревнях, можно безошибочно судить о состоянии фронта.

Наш ближайший тыл очень хорош.

Немцев ждут всюду – на всех дорогах, на околицах всех деревень. Их ждут рвы и надолбы, колючая проволока и минированные поля. И чем ближе к Москве, тем теснее и разнообразнее оборона, тем гуще сеть укреплений.

Что сегодня под Москвой? Сколько времени может еще продолжаться немецкое наступление? Когда, наконец, оно выдохнется? Сколько времени неистовый враг сможет бросать в бой все новые резервы, все новые и новые группы танков?

Эти вопросы волнуют сейчас страну. Об этом думают сейчас все.

Трудно делать предположения, когда всем сердцем ждешь остановки немцев, а затем их разгрома. Почти физически невозможно стать объективным и приняться за рассуждения.

Однако некоторые выводы напрашиваются сами собой.

С первого дня наступления, 16 ноября, на Волоколамском направ-

лении немцы прошли от сорока до шестидесяти километров, то есть в среднем от трех до четырех километров в день. Очень важно при этом, что самый длинный бросок был сделан в первые дни. Получается, следовательно, что движение немцев все время замедляется. Между тем они вводят в дело все больше и больше сил. Чем все это объяснить? Вероятно, по планам германского командования выходило, что постепенное усиление нажима приведет к победе, к разгрому Красной Армии. Но этого не получилось. Напротив. Сопротивление усилилось. При приближении к Москве увеличилось количество укреплений, и движение немцев стало менее быстрым.

Если взять июньское и июльское, потом октябрьское и, наконец, это генеральное наступление немцев на Москву, то мы увидим, что от наступления к наступлению темпы их уменьшаются: пятьсот-шестьсот километров в июне-июле, двести километров в октябре и шестьдесят километров сейчас.

Немец должен быть остановлен.

А остановка его в поле с загнутыми, далеко выдвинувшимися вперед флангами будет равносильна проигрышу им генерального сражения.

И это будет началом конца.

30 ноября 1941 г.

Клин, 16 декабря

Положение военных корреспондентов на Западном фронте становится все более сложным. Всего несколько дней назад мы выезжали налегке и, проехав какие-нибудь тридцать километров, оказывались на фронте. Сегодня в том же направлении нам пришлось проехать около сотни километров.

Путь немецкого отступления становится довольно длинным. И этот путь однообразен – сожженные деревни, минированные дороги, скелеты автомобилей и танков, оставшиеся без крова жители. Такой путь я наблюдал на днях, когда ехал в Истру.

Но есть еще один путь – путь немецкого бегства. Его я видел сегодня. Этот путь еще длиннее. И гораздо приятнее для глаза совет-

ского человека. Здесь немцы не успевали сжигать дома. Они бросали совершенно целые автомобили, танки, орудия и ящики с патронами. Здесь жителям остались хотя и загаженные, но все-таки дома. Полы будут отмыты, стекла вставлены, и из труб потянется дымок восстановленного очага.

Клин пострадал довольно сильно. Есть немало разрушенных домов. Но все-таки город существует. Вы подъезжаете к нему и видите: это – город.

Он был взят вчера в два часа утра. Сегодня это уже тыл.

Что сказать о жителях? Они смотрят на красноармейцев с обожанием.

– Немцы уже не вернутся сюда? Правда? – выпытывают они. – Теперь здесь будете только вы?

Красноармейцы солидно и загадочно поднимают брови. Они не считают возможным ставить военные прогнозы. Но по тому, каким веселым доброжелательством светятся их глаза, пострадавшим жителям ясно – немцы никогда не придут сюда.

К Москве никто никогда не подходил дважды.

Красная Армия не только взяла Клин. Она спасла его в полном смысле слова. Удар был так стремителен и неожидан, что немцы бежали, не успевши сделать то, что они сделали с Истрой, – сжечь город дотла.

И жители не знают, как отблагодарить красноармейцев.

Как только в Клин вошли первые красноармейцы, жители сразу же рассказали им, где и что заминировали немцы и где они оставили свои склады.

В одной из деревушек за Клином произошел случай, столь же героический, сколь и юмористический. Первыми о том, что немцы собираются бежать, пронюхали мальчишки. Они подкрались к немецким грузовикам и стащили все ручки, которыми заводятся моторы. Пришлось немцам бежать самым естественным путем, при помощи собственных ног. Как только в деревне появились наши войска, мальчишки торжественно поднесли им ручки. Машины были заведены и пущены в дело.

Побывал я и в домике Чайковского. Это была давнишняя моя мечта – увидеть то, о чем я столько раз читал: уголок у окна, где Чай-

ковский писал Шестую симфонию и смотрел на свои любимые три березки, его рояль, книги и ноты.

То, что сделали в домике Чайковского немцы, так отвратительно, чудовищно и тупо, что долго еще буду я вспоминать об этом посещении с тоской.

Мы вошли в дом. Встретил нас старичок экскурсовод А. Шапшал. Он так привык встречать экскурсантов и водить их мимо экспонатов музея, что даже сейчас, после первых радостных восклицаний, он чинно повел нас наверх по узкой деревянной лесенке и, пригласив в довольно большую комнату, сказал:

– Вот зал, принадлежавший лично Петру Ильичу Чайковскому. Здесь, в этой нише, был устроен кабинет великого композитора. А здесь Петр Ильич любил...

Но вдруг он оборвал свою плавную речь и, всплеснув руками, крикнул:

– Нет, вы только посмотрите, что наделали эти мерзавцы!

Но мы давно уже во все глаза смотрели на то, что было когда-то музеем Чайковского. Стадо взбесившихся свиней не могло бы так загадить дом, как загадили его фашисты. Они отрывали деревянные панели и топили ими, в то время как во дворе было сколько угодно дров. К счастью, все манускрипты, личные книги, любимый рояль, письменный стол, одним словом, все самое ценное было своевременно эвакуировано. Относительно менее ценное упаковали в ящики, но не успели отправить. Фашисты выпотрошили ящики и рассыпали по дому их содержимое. Они топили нотами и книгами, ходили в грязных сапогах по старинным фотографическим карточкам, срывали со стен портреты. Они отбили у бюста Чайковского нос и часть головы. Они разбили бюсты Пушкина, Горького и Шаляпина. На полу лежал портрет Моцарта со старинной гравюры с жирным следом немецкого сапога. Я видел собственными глазами портрет Бетховена, сорванный со стены и небрежно брошенный на стул. Неподалеку от него фашисты просто нагадили. Это совершенно точно. Немецкие солдаты или офицеры нагадили на полу рядом с превосходным большим портретом Бетховена.

Повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки из-под коньяку.

– Неужели вы не объяснили немецкому офицеру, что это за дом?

– Да, я объяснял. Захожу как-то сюда и говорю: «Чайковский очень любил вашего Моцарта. Хотя бы поэтому пощадите дом». Да меня никто не стал слушать. Вот я и перестал говорить с ними об искусстве. И то – придешь, а они вдруг и скажут: «А ну, старик, снимай валенки». Куда я пойду без валенок? Они тут многих в Клину пораздевали. Нет, с ними нельзя говорить об искусстве!

Я подошел к окну в том месте, где стоял письменный стол Чайковского и где он писал Патетическую симфонию. Прямо за окном, рядышком, стояли три знаменитые березки. Только это были уже березы, большие, вполне взрослые деревья.

Но сейчас было не до грусти. Была деятельная военная жизнь.

У начальника гарнизона собралось множество военного народа. Начальник быстро отдавал приказания, куда эвакуировать раненых, как получше и побыстрее разминировать дома и дороги, как восстановить электростанцию, баню и хлебопекарню. Не хватало штатских. Но тут мы услышали знакомый голос:

– Товарищи, надо принять меры. Для Клина еще не выделены фонды.

Мы обернулись. Конечно, это был он, председатель райпотребсоюза. На нем было странное по сравнению с военными полушубками, а в самом деле самое обыкновенное драповое пальто. На нем была барашковая шапка пирожком и калоши.

– А! – воскликнул начальник гарнизона, приятно улыбаясь. – Ну, вот и прекрасно. И давайте работать. Вы когда пришли?

– Да только что, – сказал человек в пальто. – Тут я, товарищи, уже кое-что наметил. В части организации торговых точек.

И работа началась.

Как будто ее никто и не прерывал.

1941 г.

Военная карьера Альфонса Шоля

Знакомство наше произошло под землей, на глубине трех метров. Было это в землянке, в очень хорошей землянке, являющейся состав-

ной частью целого подземного городка в густом еловом лесу, недалеко от Малоярославца.

Альфонс Шоль был в немецкой зеленой шинели с ефрейторскими нашивками, ботинках из эрзацкожи и пилотке из эрзацсукна. Альфонс Шоль плакал, размазывая слезы на своем грязном лице большой, грубой рукой с серебряным обручальным кольцом на указательном пальце. Я старался его утешить.

– Вы только на них посмотрите! – говорил Альфонс Шоль, в десятый раз расстегивая шинель и доставая фотографическую карточку. – Это жена и сын.

И я в десятый раз вежливо рассматривал карточку, а ефрейтор в десятый раз принимался всхлипывать и размазывать по лицу слезы.

На карточке были изображены очень некрасивая толстая молодая женщина, которую провинциальный фотограф (чего не сделаешь для искусства!) заставил окаменеть в чрезвычайно неудобном положении, и пятилетний мальчик – вылитый папа. У мальчика были такие же, как у папы, оттопыренные ушки и низкий лобик. Только у папы выражение лица было плаксивое, а у мальчика капризное. Когда видишь сына, похожего на отца, как две капли воды, отца почему-то становится жалко.

Альфонс Шоль рассказывал о себе охотно и торопливо, как человек, который боится, что ему не поверят, хотя и говорит чистейшую правду.

Взяли его сегодня утром. Красноармейцев поразило одно обстоятельство. В отличие от прочих немецких пленных, обычно заросших, грязных, вшивых, в разодранных шинелях и дырявых сапогах, Альфонс Шоль являл собою необычайное зрелище. На нем все было новое – шинель, пилотка, ботинки. Все это не только не успело пропитаться запахами войны: порохов, дымом и отработанным бензином, – но сохранило, правда, военный запах, но свойственный никак не передовым позициям, а глубокому тылу – запах цейхгауза. Только лицо и руки были у него грязные. И на грязном лице светлели пятна от слез.

Его взяли в семь часов утра. Он сидел в снежной яме и дрожал. Он поднял руки еще задолго до того, как к нему подошли.

На первом же допросе он сообщил, что прибыл на фронт три дня назад и еще ни разу в жизни не стрелял.

Военная карьера этого молодого человека началась два года назад. Ему посчастливилось: он попал в Краков, в караульную часть, и целый год занимался тем, что стоял на часах у солдатского публичного дома. Конечно, это не слишком почетная обязанность – охранять публичный дом. И сцены, которые происходят у входа в это почтенное, чисто германское военное учреждение, не так уж приятны. Но там никто не стрелял в Альфонса Шоля. Там было безопасно. И Альфонс Шоль был очень доволен. Он сказал мне, что считает краковский период своей военной деятельности наиболее для себя удачным.

– Там было хорошо, – добавил он, подумав, – там было очень хорошо!

Это существо в ефрейторской шинели, с мозгом овцы и мордочкой хорька, разговаривало с полной откровенностью. Оно старалось все рассказать, ничего не пропустить, раскрыть всю свою душу.

– Разве это хорошо, – сказал я, – что немцы на завоеванной земле сгоняют женщин в солдатские публичные дома?

Он очень хотел ответить так, чтобы это мне понравилось. Но он не понимал, какого мнения я от него жду. Поэтому он ответил неопределенно:

– Солдатский публичный дом – это как воинская часть. Меня поставили – я и стоял.

Следующий этап в деятельности Альфонса Шоля был менее удачным. Но жить еще можно было. Его перевели в польский город Ясло денщиком к старшему лейтенанту. Он чистил лейтенанту сапоги. Что он еще делал? Он еще чистил лейтенанту мундир.

Я спросил его, что он может сказать о польском населении.

– Поляки с нами не разговаривали, – ответил Шоль.

– Как? Совсем не разговаривали?

– Они с нами никогда не разговаривали. Если мы спрашивали что-нибудь, поляки не отвечали.

– Это, наверно, было неприятно?

– Не знаю. Я как-то не думал об этом. Они просто с нами не разговаривали. Они, наверно, не хотели с нами разговаривать. Потом началась война с Россией. И я все время боялся, что меня пошлют на

фронт. Но все было хорошо, и лейтенант оставался в Ясло. И только в декабре нас вдруг собрали и послали на фронт.

– Кого это – нас?

– Ну, нас. Денщиков. Писарей. Всяких, которые в тылу.

Это был, в сущности, первый интересный факт, который сообщил Альфонс Шоль. Германское командование в стремлении затянуть дыры кинуло под Москву писарей и денщиков.

– Что вы скажете о смещении Браухича? – спросил я.

– Мы услышали об этом в пути, на какой-то станции, по радио. Было сказано, что у Браухича большое сердце и что теперь будет командовать фюрер. А солдаты между собой говорили...

Ефрейтор испуганно оглянулся на дверь, как будто из нее мог появиться его хозяин – старший лейтенант, – и зашептал:

– ...Солдаты между собой говорили, что фюрер поссорился с Браухичем. Они говорили, что Браухич хочет дать солдатам с Восточного фронта отдохнуть и хочет заменить их свежими войсками. А фюрер, – ефрейтор снова оглянулся, – а фюрер говорил, чтобы их оставить на фронте, и вот они не поладили.

Это был второй интересный факт.

Я уже несколько раз слышал от германских солдат такое толкование. И дело не в том, что оно глупое, а в том, что действия Гитлера истолковываются его солдатами по-своему и не всегда в его пользу.

Вся сила Гитлера заключалась в том, что внешне все выходило так, как он говорил. Он сказал, что разгромит Францию и Польшу, – и он добился этого. Он говорил, что разобьет англичан в Греции и в несколько дней покончит с Югославией, – и он сделал это. Но в России его ждала неудача. Теперь в германской армии происходит интереснейшее явление: там есть еще дисциплина, там есть еще много оружия, армия еще очень сильна, но вера в победу подорвана.

Война будет продолжаться еще долго, но рана, нанесенная Гитлеру, не заживет.

Этими мыслями я не поделился с ефрейтором Альфонсом Шолем. Он попросту не понял бы их.

25 января 1942 г.

В феврале

– Сейчас я вам покажу его, – сказал генерал. Он повернулся к двери и крикнул: – Фриц!

Дверь отворилась, и в комнату живо вошла громадная немецкая овчарка. Она оглядела всех находившихся в комнате и остановилась перед генералом.

– Видите, какие мы берем трофеи, – сказал генерал. – Ну, садись. Как это по-немецки? Зецен зи зих!

Фриц сел, радостно глядя на окружающих.

– Молодец! – сказал генерал. – Заслуживает поощрения. – И он бросил Фрицу кусочек хлеба. – Теперь дай лапу. Черт его знает, не помню, как по-немецки лапа. Одним словом, давай лапу!

Он сначала потянул собаку за лапу. Потом дал ей кусок хлеба.

– Теперь понимаешь? Ну! Дай лапу!

Умная собака подняла лапу и тотчас же получила новый кусочек хлеба.

– Смотрите, понемногу приучается к русскому языку. Совсем ручная стала. Интересно: чья она была? Наверно, какого-нибудь интенданта. Мы взяли ее с немецким обозом.

Пошел третий месяц, как война вступила в новую фазу. Мы двигаемся вперед и забираем обозы. К этому привыкли и бойцы, и командиры. Неуклонное движение вперед стало не только военной задачей, но и бытом армии. Появилось множество новых бытовых черт, сопутствующих этому новому периоду войны. Произошло это прежде всего потому, что наступающая армия всегда узнает об отступающей армии очень много деталей, которых она не знала раньше.

Если раньше, до нашего наступления, мы знали немцев слишком общо, то теперь знаем их во всех подробностях. Это как с предметом, который мы видим сначала простым глазом и замечаем лишь общие его черты, а потом смотрим на него через микроскоп и видим неведомый нам до сих пор мирок микроорганизмов.

Мы узнали о немцах и значительное, и незначительное, и чудовищное, и юмористическое. И, что самое главное, узнали не только штабы (они и раньше знали, что собою представляют немцы), но вся масса красноармейцев. После первого же большого отступления гер-

манская армия открылась нашему взору во всей своей силе и слабости, со всеми своими обозами, штабами, приказами, складами, – со всякого рода нестроевиной, которая играет такую важную роль в жизни всякой армии.

Не в том, конечно, дело, что на командном пункте прижилась, так сказать, дважды немецкая овчарка или что красноармейцы курят немецкие эрзацсигареты и поругивают их (кисленькие и слабенькие, как солома). Дело в том, что вместе с фальшивым ореолом непобедимости с немцев сошел и сопутствующий ему ореол некоей загадочности. Слишком уж хорошо слаженным представлялся кое-кому организм германской армии. В этом было что-то непонятное. А в войне непонятное действует на войска гораздо сильнее, чем самое ужасное, но понятное.

Теперь немцы «понятны» и нашим обозникам. На днях на наш обоз возле деревни Б. неожиданно напали немцы. Они производили довольно серьезный контрманевр, от которого многого ожидали. И вот на их пути встретился наш обоз. Обычно столкновение передовых войск с обозом заканчивается быстрым разгромом обоза. Но наши обозники быстро организовали оборону (в обозе находился энергичный командир) и не только отбили атаку немцев, но далеко отогнали их и расстроили все их планы.

Это были самые обыкновенные обозники, которые не столько воюют, сколько погоняют лошадей. Но они прошли перед этим большой путь, видели много немецких трупов, сожженных немцами деревень, убитых немцами жителей, брошенных немцами автомобилей и орудий, немецких пленных и пришли к убеждению, что «немец» при всем своем зверстве не так уж силен, как это казалось раньше. И точно. «Немец» попятился от обозников, когда они проявили решимость и мужество.

Интересно, что немецкие обозники, до которых мы, наконец, по-настоящему дорвались, находятся в прямо противоположном психологическом состоянии, чем наши, и совершенно не выдерживают удара наших передовых частей.

Новое знание противника, которым обогатилась сейчас Красная Армия, дает возможность яснее увидеть, что представляют собою немецкие солдаты сейчас, в феврале.

Их можно условно разделить на две категории: старых фронтовиков, некоторым образом «ветеранов» войны, и резервистов, присланных на фронт в январе и начале февраля. Фронтовики сражаются упорно. Разумеется, не все они таковы. Но в основном это стойкие войска. Вероятно, по этой причине я видел их главным образом мертвыми. Их очень много на дорогах, на опушках, у снеговых окопов, возле изб, превращенных ими в укрепленные точки. Они сражались с ожесточенным отчаянием в своих подранных, вшивых шинелях, в худых сапогах, обмотанных тряпками, в краденых бабьих платках. В течение одной лишь короткой поездки я насчитал их несколько сот.

В тот же день я разговаривал с десятком резервистов, только что взятых, вернее, сдавшихся в плен. Это – главным образом солдаты, находившиеся раньше на нестроевых должностях. Все они были в совершенно новом обмундировании, правда, обыкновенном, не зимнем. Ни один из них не был на фронте больше двух недель. И были среди них такие, которых только три дня назад привезли на самолетах из Германии. Они были совершенно одинаковы не только своими новыми шинелями, но и своим внутренним содержанием. Говорили они примерно одно и то же. Они уверены, что Германия уже не может выиграть войну. Теперь у них одно желание – спастись. Спастись любой ценой. Не подумайте, что я видел классово сознательных рабочих или крестьян, понявших реакционную, империалистическую сущность гитлеровского режима. Нет. Это типичные тупые гитлеровские солдаты, почти неодушевленные существа, скорее предметы, чем люди. Для них жизнь сводится, как у животных, к еде и питью, и отличаются они от животных только тем, что животные не посещают солдатских публичных домов, не носят шинелей, мундиров и погон и не хранят в бумажнике рядом с порнографическими открытками фотографий жен и детей, так как они не сентиментальны.

Я был не совсем точен, когда сказал, что у этих резервистов не было зимнего обмундирования. Один из них – вахмистр Христоф Сайц – был обладателем роскошных эрзацваленок, недавно поступивших на довольствие германской армии и предназначенных ввиду небольшого количества лишь для солдат, идущих в караул или в разведку.

Христоф Сайц, очень аккуратный, подтянутый немец, стоял посреди кружка красноармейцев и сконфуженно смотрел на свои ноги. Красноармейцы просто помирали со смеху. Сооружение, построенное каким-то специалистом по русской зиме из германского интендантства, представляло собою следующее: войлочный верх и деревянные подошвы. Очевидно, основательно изучив русские морозы, специалист придал своим валенкам форму коротких дамских ботишков с широким, в два пальца, идущим сверху донизу разрезом спереди и с двумя дамскими пряжками.

– Когда в них стоишь, еще ничего, – сказал Христоф Сайц, – но вот ходить в них невозможно. Только сделаешь шаг – в разрезы сразу же набивается снег.

Вахмистр Христоф не стоял в карауле и не ходил в разведку. Жил он в тылу и занимался хозяйством роты прикрытия на одном из фронтовых аэродромов. Замысловатые ботики он получил «по благу». И теперь очень жалеет, что так много хлопотал, чтобы их получить. По его мнению, другие, более опытные, солдаты делают гораздо лучше, обматывая ноги поверх сапог разными тряпками и перевязывая их потом бечевками, так что, в конце концов, получаются два гигантских четырехугольных пакета.

– Я испытал меньше трудностей войны, чем те, которые на фронте, – сказал вахмистр, – и все-таки с декабря я стал думать о судьбе Наполеона. У нас в роту стали говорить, что, видно, нам не вернуться из России. Думали мы и о прошлой войне. Как-то так всегда получалось, что Германия вначале побеждала, а потом обязательно проигрывала войну. И с Наполеоном так было. Когда сместили Браухича, нам это показалось странным. Как это так? Все время был хорош, а потом вдруг сразу стал плох? Говорили о Гудериане и о других генералах. Все время были хороши, а потом вдруг стали плохи! То же самое, Клюге. Мы решили, что фюрер убрал его потому, что Браухич поставил его командовать Четвертой армией. Потом мы говорили, что раз всюду мы отступаем, то, наверное, и здесь будем отступать. Конечно, так оно и вышло, потому что ведь солдаты всегда все хорошо понимают.

Вахмистр Христоф прижился у нас. К нему привыкли. Он очень сентиментален. Если сделать для него что-нибудь приятное, он пла-

чет. Вид у него очень бравый, но вояка он плохой. Часть, которая взяла его в плен, все время двигалась вперед, и не было возможности отправить его в тыл. Он очень волновался, так как его мучила мысль, что немцы вдруг «выручат» его из плена, и все время просился, чтобы его поскорее отправили в лагерь.

– Этого если отпустить – сам назад придет, – говорят о нем красноармейцы.

Остальные девять были похожи на Христофа тем внутренним сходством, которое гораздо сильнее внешнего и которое позволяет говорить о типичности явления. Вся это нестроещина, которая отсиживалась в тылу, – потом была брошена в пехоту. Они сдались недолго думая.

– Дело плохо. Все надоело. Из этой войны ничего хорошего не выйдет.

Вот и все их мысли. Среди них есть бондарь, маляр, есть крестьяне.

– Мы политикой не занимаемся. Для этого есть офицеры.

О своей армии и о Германии они рассуждают так, будто нанялись куда-то на работу со сдельной оплатой и на хозяйских харчах. Хозяин оказался сволочь, харчи оказались плохие, и теперь они просто бросили эту невыгодную работу. Довольно! С них хватит. Если Гитлер хочет, он может искать себе других работников.

Нет! Те, другие, гитлеровские фронтовики сражаются за свою добычу с умением и упорством профессиональных разбойников. Они еще есть. Их немало. И борьба с ними предстоит долгая и кровавая. А эти. Эти уже начинают кое-что понимать.

21 февраля 1942 г.

«Учитель музыки»

У этого простого солдата тонкое, выразительное лицо, длинные волосы, спадающие на уши, и так называемые артистические пальцы. Они, правда, грязные и потрескавшиеся, но они сохранили нервность и подвижность. Солдат беспрерывно перебирает ими полы своей длинной не по росту шинели.

Он музыкант из города Касселя – Рейнгард Райф. Он молод. Ему всего двадцать восемь лет, но он успел в жизни: окончил консерваторию по классу рояля и скрипки и вскоре стал преподавателем теории музыки в той же консерватории, в том же Касселе. В тысяча девятьсот тридцать девятом году его взяли в солдаты, и с тех пор он выполнял всяческую тыловую работу. На днях его отправили на советско-германский фронт, и он сразу же сдался в плен.

– Война – это ужас, – сказал он, – я никогда ничего подобного не ожидал.

Это очень характерно. Они все ожидали найти в России то, что нашли во Франции. Захлебнувшись в собственной крови, они поняли, что ошибались. Рейнгарду Райфу не понадобилось много времени, чтобы решить для себя вопрос о мире и войне. Он просто выбрал мир. Он уже избавился от страха смерти и испытывает сейчас приятное чувство безопасности.

Я задаю вопрос:

– Как вы относитесь к гитлеровскому режиму?

– О, все это мало меня интересует! Это политика. Для меня в мире существует только музыка.

– Вы – молодой человек. Вы развивались и формировались в гитлеровские времена. Не может быть, чтобы у вас отсутствовало всякое отношение к гитлеризму.

– Представьте, это так, – говорит молодой человек, приятно улыбаясь, – у меня есть одна любовь – музыка. Все остальное для меня не существует.

Я стараюсь стать на его точку зрения. Может быть, и вправду он убежден в том, что музыка и политика – понятия несовместимые. Что ж, музыка так музыка! Немного странно говорить о музыке, когда неподалеку идет тяжелый бой, а стекла избы, где происходит разговор, время от времени дребезжат, потому что «юнкеры» имеют обыкновенные сбрасывать бомбы, когда никто их об этом не просит. Но музыка – все-таки хорошая тема для разговора.

– Давайте же поговорим о музыке, – говорю я.

– С величайшим удовольствием, – говорит он.

– Что вы скажете о французской музыке?

– Простите, о французской?!

– Да.

Он поражен. Он некоторое время смотрит на меня с искренним изумлением. Потом, очевидно, вспомнив, что находится в плену, очень мягко говорит:

– Но во Франции нет музыки.

– То есть, как это нет?

Он смотрит на меня с некоторым сожалением, потом объясняет:

– Нет французской музыки.

– Вы не знаете ни одного французского композитора?! Не можете назвать ни одной фамилии?!

– Н-нет, – говорит он, пожимая плечами и, видимо, пытаясь вспомнить. – Французских? Н-нет, не знаю.

– Хорош! – восклицает комендант – майор, который ходит по избе и, видно, не одобряет этого разговора о музыке. – А «Фауст» Гуно? А «Кармен» Бизе? Хорош преподаватель! Просто он врет. Никакой он не музыкант!

– Погодите, – говорю я, – еще минуточку, – и обращаюсь к пленному: – А русских композиторов вы знаете?

– Русских? Конечно! Кто их не знает! Чайковский!

– Еще бы! А что сочинил Чайковский?

– Пятую и Шестую симфонии. О! Это гениальные произведения!

– А вы знаете, что ваши солдаты и офицеры наделали в Клину, в домике Чайковского, там, где он писал эти гениальные произведения?

Я коротко рассказываю ему об этом.

– Это ужасно! – говорит он. – Вероятно, так оно и было.

Видно, он хорошо знает, на что способно гитлеровское войско.

– Ну, а что еще написал Чайковский?

Музыкант молчит.

– Неужели вы не знаете? Никогда не слышали?

Музыкант пожимает плечами.

– Врет он, – сердито бормочет майор, – никакой он не музыкант.

– А каких еще русских композиторов вы можете назвать?

Рейнгард Райф морщит лоб. Он силится вспомнить.

– Чайковский, – говорит он, – и еще этот... тоже очень гениальный композитор... Он шевелит пальцами, но вспомнить не может.

– Хорошо. Оставим французскую и русскую музыку. Как-никак, это музыка ваших врагов (умоляющий жест со стороны музыканта). Но вот ваш союзник – Италия. Любите вы итальянскую музыку?

– О! Итальянская музыка! Я очень люблю итальянскую музыку!

– Ну и прекрасно! Я тоже люблю. Расскажите мне об итальянских композиторах и назовите их сочинения.

– Верди, – сразу же вываливает он. – У него есть опера «Аида».

– Это правильно. А еще что написал Верди?

– «Аиду», – повторяет преподаватель теории музыки, – и потом. Он шевелит пальцами. Я уже знаю, что это означает.

– Верди написал несколько десятков опер, и половина их всемирно известны. Их может перечислить любой первоклассник из музыкального училища. Ну, ладно, оставим пока Верди. Ведь не только Верди есть в Италии. Назовите еще итальянских композиторов.

– Россини. У него есть одна опера... очень хорошая. Ну, просто выскочило из головы!

– В конце концов, это неважно, как она называется. Предположим, «Севильский цирюльник». Расскажите сюжет этой оперы.

Музыкант из Касселя молчит. Он красен. На лбу у него пот.

– Вы знаете, – говорит он, – на фронте так быстро все забывают.

– Как! И самая музыка забывается?

– Музыка никогда не забывается. Музыку Россини я отлично помню.

– Хорошо. Спойте мне любую мелодию из любого сочинения Россини.

Гнетущая пауза. Наконец музыкант из Касселя откашливается и говорит:

– Я, знаете, простудился на фронте. У вас тут в России такой мороз, что... гм...

Он показывает на горло: дескать, требуйте у него чего угодно, но петь он не может. Я беру листок бумаги, вычерчиваю пять линеек, бодро ставлю скрипичный ключ и протягиваю листок гитлеровскому музыканту.

– Пожалуйста, напишите здесь любую мелодию Россини.

Солдат багрово краснеет.

– Я не знаю, – говорит он, наконец.

– Вы, кажется, любите «Аиду». Запишите здесь любую мелодию из «Аиды».

– Я не знаю, – бормочет он.

– Хорошо. Запишите здесь любую мелодию любого иностранного композитора. Подавленное молчание.

– Я же вам говорил, что он не музыкант! – восклицает майор.

Но вот представьте, товарищи, что он все-таки оказался музыкантом. Он ни в чем не соврал. Он говорил чистейшую правду.

Весь разговор с этим молодым человеком записан мною со стенографической точностью. Дальнейшее показало, что молодой человек отлично знает немецкую музыку, что он действительно окончил гитлеровскую консерваторию, а потом стал в ней преподавателем.

Факт этот страшен. С юношеских лет музыкально одаренный человек попал в некий музыкальный концлагерь, где существует лишь одна немецкая музыка. От всего остального, от всего, что было создано человеком в области музыки, от всей красоты мира человек был отделен колючей проволокой. И Гитлер получил то, что хотел. Он воспитал невежду, который убежден, что в мире есть одна лишь Германия, что ни одна другая страна в мире не имеет и не может иметь своего искусства, что все страны могут быть лишь рабами Германии. Сейчас, в плену, он, конечно, поджал хвост. Видите ли, он любит музыку, а до политики ему нет дела. Ему нет дела до того, что шайка злых маньяков превратила даже такое мирное дело, как музыкальное образование, в орудие национального угнетения, а, следовательно, разбоя и грабежа.

В течение долгих лет в центре Европы хладнокровно готовились миллионы убийц. Их нужно было воспитать так, чтобы им ничего и никого не было жалко; им нужно было доказать, что только немцы – это люди, способные создавать культурные ценности. Весь остальной мир – это двуногие существа, ни на что не способные. Ведь этот молодой невежда совершенно искренне убежден в том, что во Франции нет музыки, подобно тому, как миллионы других немецких молодых невежд совершеннейшим образом убеждены, что и во Франции, и в России, и в Англии, и в Америке, и даже в Италии нет ни живописи, ни науки, ни театра, ни кино, ни литературы.

Мы долгое время не могли понять этого. Собственно, мы знали,

но не могли поверить в это, а потому не понимали. В своем воображении мы создавали немецкого молодого человека, которого не худо бы перевоспитать. Но у нас не хватило воображения, чтобы понять, что давно уже Гитлер превратил свою молодежь в человекоподобных обезьян, которых научили только лишь носить штаны, бриться, говорить «хальт» и «цурюк» и стрелять из автомата.

И ненавидеть все человечество.

15 марта 1942 г.

Май на Мурманском направлении

I

Эти строки пишутся в маленькой землянке, построенной на склоне горы, среди гранитных скал и мелкого, очень редкого лесочка. Сейчас ночь, но пишешь при дневном свете. Землянка обита внутри фанерой. Горит железная печка, в которую надо беспрерывно днем и ночью подкладывать дрова, иначе станет холодно. За маленьким окошком косо летит снег. После нескольких солнечных дней, во время которых вскрылись горные реки и ручейки, и стал было таять снег, температура снова упала. Начался буран. Он завалил снегом дороги, ложины, склоны гор, огневые позиции артиллерии, наблюдательные пункты, землянки и сложенные из камней пехотные окопы (окопы здесь не роются, а возводятся). Как видите, май на Кольском полуострове, за полярным кругом, имеет свои чисто местные особенности.

Фронтвики, прошедшие здесь всю кампанию, говорят, что такого обильного снегопада не было за всю зиму. Но война продолжается. На этом далеком фронте, прилегающем к Баренцеву морю (с крайней правой его точки видны не только финляндские, но и норвежские берега), идут ожесточенные бои.

Мурманское направление – один из серьезных участков войны с Германией. Отстоять Мурманск от немцев, которые рвались туда летом и осенью прошлого года, было задачей чрезвычайно тяжелой. В июне немцы, пользуясь, как и всюду, преимуществом внезапности, перешли границу и, оттеснив наши пограничные части, устремились к Мурманску. Немцы надеялись захватить этот единственный в Со-

ветском Союзе северный незамерзающий порт в течение нескольких дней. Немцы возлагали на эту операцию громадные надежды. В бой они бросили две прославленные горно-егерские дивизии (2-ю и 3-ю). Все солдаты ее носили на левом рукаве мундира серебряную табличку с лавровым венком и надписью: «Герою Нарвика». Кроме того, в наступление были брошены четыре батальона эсэсовцев, огромных молодцов, не ниже ста восьмидесяти сантиметров роста. Эмблемой этих людей, считавших состояние войны единственно нормальным состоянием человека, был череп с костями. Глупые молодые звери носили черепа на фуражках, на рукавах, на портмоне, портсигарах, кольцах, – одним словом, всюду, где только возможно. И вот все эти «герои Нарвика», с приданными им героями черепа, устремились на Мурманск. Егерями командовал генерал-майор Шернер. Пленные рассказывали, что во время Первой мировой войны он был командиром взвода в той самой роте, в которой Гитлер служил писарем. Достигнув власти, писарь проникся к своему бывшему командиру внезапной симпатией (это хорошо звучало для газет), сделал его генералом и всячески заботился об этих привилегированных дивизиях. Пленные рассказывали, что часто Гитлер сносился непосредственно с Шернером через голову его начальства.

– Шернер – жестокий человек, – сказал мне один из пленных, – солдаты не любят его.

В июне немцы несколько продвинулись по дороге Петсамо – Мурманск. Но дальше немцы пройти не смогли. Потеряв семьдесят пять процентов своего состава, горные егеря остановились. Множество егерей было уничтожено в одной из лощин, которая носит с тех пор название «Долина смерти».

Фронт стабилизировался. Немцы делали еще две попытки овладеть Мурманском, в августе и сентябре, но понесли полное поражение. В сентябре немцам удалось продвинуться еще немного, но последовал наш контрудар, и немцы были не только побиты, но и отброшены на десятки километров.

Последние дни я бродил по фронту (именно бродил, потому что здесь собственные ноги – наиболее популярный способ передвижения) и теперь имею некоторое представление о том, что собой представляет мурманский театр войны.

Театр этот состоит из почти сплошного нагромождения покрытых снегом невысоких гор и громадных, часто четырехугольных камней. Они черные, с малахитовой прозеленью. Между горами озера или лощины, по которым идут протоптанные в снегу скользкие тропинки шириною всего в одну подошву, так что идти по ним трудно, как по канату. Иногда из-под снега выступают кочки, покрытые сухим желто-зеленым мхом – ягелем. В трещинах между ними, среди синего льда, течет быстрая весенняя водица. По тяжелым дорогам идут к фронту те же люди, те же орудия и те же автомобили, что и на Западном фронте. Война, всюду война. Но здесь вы вдруг можете увидеть сделанное из снега стойло и гнедую лошадку, которая мирно жуёт сено, уткнув добрую морду в ледяную кормушку. Или, проходя в непосредственной близости от передовой линии, вы вдруг остановитесь перед зрелищем, от которого забьется сердце любого мальчика или любителя географии: с горы со скоростью мотоциклета спускается на лыжах человек в островерхой шапке и меховой малице. Он пронесется мимо вас, на мгновение обернув к вам скуластое, коричневое, морщинистое лицо без признаков растительности. Это погонщик оленей, ненец, который пришел со своими оленями за три тысячи километров из Большеземельской тундры, чтобы воевать с немцами. Потом вы видите стадо оленей. Они запряжены в длинные высокие нарты. Олени здесь подвозят разведчикам боеприпасы и увозят в тыл раненых. Но это не те олени, которых вы привыкли видеть на картинках. Это весенние олени. Рога у них уже отпали. Отрастут они только к осени. Лишь у одного сохранился на голове полный ветвистый комплект. У другого уныло торчит только один рог, покрытый на концах разветвлений нежным мехом. Пройдет два-три дня – и эти два оленя тоже лишатся своих прелестных украшений. Безрогие олени похожи на самых обыкновенных телят. Очевидно, поэтому вид у них немного сконфуженный.

Горное эхо далеко разносит выстрелы. Когда стреляет пулемет в трех километрах, кажется, что стреляют над самым ухом.

Здесь нет населенных пунктов. Бойцы живут в землянках и палатках. Их не видно, пока не подойдешь к ним вплотную: так похожи они на разбросанные повсюду камни. И только горький дымок от желез-

ных печек, снежные тропки да провода телефона напоминают о том, что здесь, в этом глухом краю, можно не только жить, но и воевать.

II

Метель продолжалась три дня. Военные действия не затихали. Они, конечно, потеряли в стремительности, но самый тот факт, что они велись, дает вам представление о неслыханном в истории ожесточении, с каким проходит эта титаническая война не на жизнь, а на смерть.

По утрам во время метели дежурный телефонист снимал в штабной землянке телефонную трубку и, нисколько не удивляясь, слышал строгий командирский голос:

– Откопайте меня. Я уже проснулся.

Командирскую палатку откапывали. Командир выходил из нее, низко согнувшись. Он разгибался и поводил богатырскими плечами. Он снимал гимнастерку и долго, с удовольствием тер лицо и шею свежим, сухим снегом. То, что это не декабрьский снег, а майский, даже веселило командира. Можно немного пошутить на этот счет. Собственно, командир был даже рад, что его палатку завалило снегом. По крайней мере никто его не беспокоил и можно было наконец вздремнуть часа два после шести бессонных ночей.

Красноармейцы раскапывали палатки соседей. Начинался боевой полярный день, ничем, впрочем, не отличающийся от ночи.

Разведчики в белых маскировочных халатах, с автоматами на шее отправлялись в разведку. В такую бурю можно подойти незамеченным хоть к самому генералу Шернеру. Олени увозили в тыл раненых. Артиллерия била по заранее пристрелянным целям. Пехота все больше смыкала кольцо вокруг небольшого горного пространства, где на вершинах среди камней сосредоточилась довольно крупная немецкая часть. Этот выступ командование для удобства назвало «аппендицитом».

Этот «аппендицит» требовал незамедлительной операции. И она была проведена с удивительным упорством. Немцев отрезали и уничтожили. Человек тридцать солдат во главе с обер-лейтенантом сдались в плен.

Сейчас еще трудно сказать, сколько немцы потеряли убитыми, так

как трупы завалены снегом. Но, судя по показаниям пленных, немцы потеряли не меньше батальона.

Всего же за первые дни мая немцы потеряли на этом узком участке фронта (он не превышает от берега Баренцева моря и сорока километров) больше четырех тысяч человек.

Интересно, что потери эти пали главным образом на 6-ю горно-егерскую дивизию, которая сменила разбитые части 2-й и 3-й дивизий. Она прибыла из Нарвика. После разгрома их увели в Норвегию на отдых и переформирование.

Интересна история 6-й германской горно-егерской дивизии. С наглостью и самоуверенностью бандитов, знающих, что они не встретят серьезного сопротивления, вторглись немецкие солдаты в пределы несчастной отважной Греции.

Во время парада в Афинах 6-я дивизия шла во главе войск. Она была признана лучшей среди лучших. Это были наглые здоровые парни. Я рассматривал фотографии, найденные в их карманах. Они любили сниматься на Акрополе, на фоне Парфенона. Надо видеть этих людей в стальных шлемах, с идиотски выпученными глазами рядом с классическими колоннами, под сенью которых прогуливались когда-то мудрецы и поэты!

Однако любовь к истории недолго занимала господ командиров и солдат знаменитой дивизии. Они занялись более существенным делом.

– В Греции очень хорошие и дешевые женщины, – деловито рассказал мне один из пленных, – их можно было брать за кусок хлеба. Но вот мужчины – сущие черти. Того и гляди, воткнут нож в спину.

Последняя операция, проведенная в Греции командованием 6-й дивизии, заключалась в том, что оно просто-напросто обокрало в Афинах королевскую конюшню. Взамен королевских коней поставили в королевские стойла потрепанных в походе немецких одров.

На наш фронт дивизия явилась с такой же самоуверенностью, как и в Грецию, да еще с королевскими лошадьми. Лошадки быстро подошли. Их новые хозяева были разбиты так же, как и их предшественники.

Сейчас, во время майских боев, Шернер бросил на фронт все свои силы. Но от дивизий осталась лишь одна сомнительная слава. Солда-

ты либо лежат в лапландских снегах, либо отлеживаются в норвежских госпиталях. Новый состав дивизий совсем не похож на старый.

«Весенний немец», как выражаются на фронте, – это не очень-то верящий в победу человек. Он еще далек от панического бегства. Он сражается в силу своей покорности и привычки подчиняться. Но среди пленных уже нелегко найти убежденных гитлеровцев (в свое время их было довольно много).

Я провел несколько интересных часов в землянке, где в ожидании отправок в тыл сидели человек двенадцать немецких солдат. Они хозяйственно растапливали печку, наслаждаясь теплом, и были очень словоохотливы.

Один из них, старший ефрейтор, тридцатилетний Бруно (фамилии его я не назову, так как это может повредить его отцу), так рассказал о своем пленении:

– Мне поручили отвести этого солдата в околоток, так как он был болен.

– Это меня, – широко улыбаясь, подтвердил солдат, стоявший рядом.

– Ладно. Помолчи, – сказал первый. – Значит, мы пошли. И когда мы шли, началась вьюга. И мы потеряли дорогу. Идем, а куда, не знаем.

– Мы все-таки думали, что идем правильно, – вставил второй солдат.

– Ладно. Помолчи, – сказал первый. – Вот идем мы, а тропинок уже никаких нет, все занесло снегом. Ну, думаю, кажется, мы заблудились. И холодно стало. Ветер. Вот, значит, мы идем и идем. Потом, смотрим: пробежала какая-то фигура в маскировочном халате. А он говорит (Бруно показал на второго солдата), что мы, наверно, правильно пришли к нашим тылам.

– Я так сказал, – подтвердил второй солдат, разевая рот до самых ушей.

– Он так сказал. А я говорю, что как будто так оно и есть. Потом смотрим: стоят за скалой несколько человек в белом. Спасаются от ветра. Мы пошли к ним, потому что вьюга была прямо в лицо и нам тоже хотелось укрыться от ветра. Вот, значит, мы подходим, и, когда до них оставалось пять шагов, мы увидели, что это русские.

– Выходит, мы шли как раз в противоположную сторону, – объяснил второй солдат.

– Ладно. Помолчи, – сказал первый. – Ну, только мы увидели, что это русские, мы сразу бросили винтовки и подняли руки. Я закрыл глаза и думаю: «Ну, наверно, сейчас застрелят». И иду дальше вперед с закрытыми глазами.

– Но они в нас не стали стрелять, – сказал второй солдат.

– Да, они в нас не стали стрелять! – торжественно подтвердил первый.

– Как же вас приняли? – спросил я.

– О! Herzlich! – воскликнул Бруно, приложив руки к груди. – Сердечно.

– Как же все-таки?

– Нас согрели, дали чаю, покормили.

– А мы думали, что они нас убьют, – объяснил второй солдат, – нам всегда говорили, что русские пленных убивают.

– Да, нам так говорили, – сказал первый, – и мы этому верили.

– Теперь мы видим, что это оказалось не так, – сказал второй.

– Мы не хотели сдаваться в плен, – сказал первый, – потому что мы были уверены, что нас убьют. Мы не нарочно пришли. Мы заблудились. Мы просто заблудились.

– Мы ничего не видели из-за вьюги, – подтвердил второй.

– Помолчи, – сказал первый и торжественно объявил: – Но это очень хорошо, что мы заблудились.

– Нам просто здорово повезло, что мы заблудились, – сообщил второй.

– Если б мы знали, что нас не убьют, – продолжал первый, – мы бы пришли раньше.

– Мы бы пришли нарочно, а сейчас мы пришли случайно.

– Да, мы бы пришли нарочно. И не только мы. У нас есть очень много солдат, которые пришли бы нарочно, чтобы сдать в плен. Хотя это трудно. Но они все равно пришли бы, если б только знали, что их не убьют.

– Они не хотят драться с русскими.

– Они не понимают, зачем им надо воевать с Россией. Пусть русские живут у себя, а мы будем жить у себя.

– Эту войну выдумал Гитлер, – сказал второй солдат.

– Это верно, – сказал первый. – Мой отец – очень умный человек.

Он кузнец. И, как сейчас помню, в тысяча девятьсот тридцать третьем году, когда Гитлер взял власть, отец мне сказал: «Ну, сынок, теперь ты не должен жениться, теперь, значит, Гитлер обязательно устроит войну». Так оно и оказалось. Я не женился. И теперь мне легче, что у меня нет жены и детей. Да. Мой отец все понимал.

– Жалко, что наши ребята не знают, что русские берут в плен, – сказал второй со вздохом. – Если б они знали...

– Им там здорово забили головы, – подтвердил первый.

Впоследствии оба эти солдата выступали по радио и звали солдат из своей роты сдаваться в плен.

III

Мы долго идем в гору, скользя по подтаявшей дороге. Иногда, желая сократить расстояние до вершины, мы идем напрямик и проваливаемся в снег до бедер. Иногда мягко ступаем по обнажившимся от снега островкам земли, покрытой сухим, пружинящим мхом. Он зеленоватый, с небольшой желтизной. Его очень любят олени. Среди мха попадаются вялые, полопавшиеся ягодки брусники.

Недалеко от вершины мы останавливаемся, чтобы немного передохнуть.

Конец мая.

С Баренцева моря дует свежий корабельный ветер.

Но моря не видно. Оно там, впереди. К нему ведет залив, похожий на широкую горную реку. Солнце в зените. От его отвесно падающих лучей залив так горячо блестит, что отсюда, сверху, на него больно смотреть, – огненная вода среди заснеженных гор.

На батарее готовность номер два. Это значит, что в воздухе тихо, но тем не менее надо помнить, что враг близко и появления его нужно ожидать каждую минуту. Стволы зениток торчат почти вертикально над землей. Люди сидят неподалеку. Один читает газету. Другой с ловкостью опытной хозяйки ставит латку на прохуdivшиеся рабочие брюки. Третий просто греется на солнышке, отдыхая после суровой полярной зимы. У него мечтательное выражение лица. Может быть, он думает о любимой девушке. Бойцы часто говорят о доме. Но вся-

кий разговор о возвращении домой начинают так: «Вот побьем немца – и тогда...»

Целая группа бойцов играет с оленем по имени Лешка. Русский человек любит покровительствовать. Вероятно, поэтому на кораблях или на батареях часто приживаются коты и собаки. С ними охотно возятся, дают им вкусные кусочки, обучают их разным веселым фортелям.

Здесь, на зенитной батарее, почти с самого начала войны завелся олень. Его нашли в горах. Он, видимо, отбил от стада, заболел, отошал и еле двигался. Бойцы привели его на батарею, вылечили и откормили, назвали Лешкой.

Олень для русского человека – весьма экзотическое животное, и то, что по батарее бегал большой отъевшийся олень с длинными ветвистыми рогами, веселило и радовало людей. С ним разговаривали так, как обычно человек разговаривает с собакой. И Лешка, если можно так выразиться, приобрел собачий характер: он прибегает, если его зовут, ласкается, как щенок, иногда в шутку делает вид, что хочет уку-ситься. Иногда он уходит в горы, бродит там, вспоминая свою оленью жизнь, разгребает копытами снег и жует олений мох; но к завтраку, обеду и ужину обязательно поспекает домой.

Война не нравится ему, но он привык. Как это ни странно, но, заслышав выстрелы, он мчится на батарею. Там, правда, грохот сильнее, но зато все свои, а на миру, как говорится, и смерть красна. Один раз его использовали по прямому назначению: когда замело дороги и автомобили не могли двигаться, его впрягли в сани, и он подвозил на батарею снаряды.

Есть на батарее также маленькая раздражительная собачка и жирный, совершенно апатичный кот. Зимой кот по целым дням сидел в землянке и грелся возле железной печки. Когда печка потухала, он мяукал, чтобы привлечь внимание дневального, на обязанности которого лежит подкладывать дрова. Сейчас он греется на солнышке, вытянув лапки.

Мне привелось посмотреть батарею в действии.

Была объявлена тревога.

Неприятельские самолеты еще не появлялись, а на батарее уже все было готово.

Дальномерщики прильнули к своему длинному, похожему на горизонтально поставленный пушечный ствол дальномеру.

Орудия были заведены в ту сторону, откуда ожидались немцы. Уже были известны их курс и высота их полета.

Приготовления были сделаны в течение нескольких секунд.

Командир и комиссар стояли с биноклями посередине батареи.

Олень Лешка пошел поближе к дальномерщикам (подальше от орудий) и остановился, опустив голову. Так он и простоял в течение всего боя – совершенно неподвижно, – не олень, а памятник оленю.

Кот, не дожидаясь первых выстрелов, брезгливо отряхнул лапки, потянулся (он знал, что в его распоряжении есть еще несколько секунд) и неторопливо пошел в землянку: там спокойнее.

Собачка томилась. Она тоже знала, что предстоит стрельба, но никак не могла к ней привыкнуть. Она присела на задние лапы и стала смотреть туда, куда смотрели все, – в небо. При этом она часто моргала рыжими ресничками. Как только раздался первый залп, она залаяла. Так она и пролаяла весь бой, суетливо и нервно, как лает подозрительная дворняжка, почуявшая чужого. Она облаивала «юнкеров» и «мессершмиттов» с такой же страстью, с какой ее деревенский двойник облаивает забравшуюся из соседского двора курицу.

Собачка была единственным существом, проявившим во время боя нервозность. Люди работали с поразившим меня спокойствием. Между тем они работали и с удивительной быстротой. Это вот соединение спокойствия с быстротой и есть высший класс работы артиллеристов. В какие-то секунды нужно было ловить в дальномер неприятельские самолеты, определять их меняющуюся высоту, направление и скорость. Потом наводка и, наконец, залп. Если бы эту сцену наблюдал глухой, ему, вероятно, показалось бы, что неторопливые люди делают какую-то спокойную работу. Только по непрерывным оглушительным залпам можно было судить, с какой быстротой велась стрельба.

Немцев не допустили до города. Зенитки стреляли очень точно, и немцы поспешили выйти из сферы огня.

Был объявлен отбой.

И тотчас же олень поднял голову и обвел всех повеселевшими телячьими глазами.

Из землянки медленно вышел кот. Он зевнул и, выбрав местечко посуше, растянулся на солнышке.

И только собачка никак не могла успокоиться. Она бегала от орудия к орудию, обнюхивала людей. Потом улеглась неподалеку от кота, закрыла глаза и сделала вид, что дремлет. Но по дрожащему кончику хвоста было видно, что она все еще переживает событие. Потом хвостик перестал работать, собачка и впрямь заснула; но и во сне она не могла успокоиться, рычала и повизгивала.

Вероятно, ей снились пикирующие бомбардировщики.

IV

Мы сидели в уютно обставленном кабинете бревенчатого домика, типичного домика в Заполярье, и говорили об авиации.

Здесь, на Мурманском направлении, трудно сказать, кто первенствует: наземные войска, флот или авиация. Участок фронта необыкновенно напряженный. Напряжение здесь никогда не уменьшается. Но особенно сильное напряжение, конечно, в авиации. Если, скажем, в пехоте решают дни, а в море часы, то в авиации решают секунды.

Нас было двое в кабинете. Но в наш разговор, который обещал стать интересным, вмешался третий голос. Это был твердый, довольно громкий, весьма официальный голос. И он сказал:

– Воздух. Ноль девять, пятьдесят два, двенадцать. По курсу сто тридцать пять. Высота три тысячи метров. Два «мессершмитта-109».

Командующий ПВО не обернулся на голос, который исходил из репродуктора за его спиной. Он мельком взглянул на карту и сказал:

– Обычная история. Это их классическая тактика. Поднять нашу авиацию, отвлечь ее, заставить погулять по воздуху, а когда она пойдет на аэродромы заправиться, сделать налет. Мы хорошо знакомы с этой ловушкой и стараемся в нее не попадаться. В воздухе совсем как в картежной игре – кто кого обманет!

И командующий засмеялся.

Мне всегда казалось с земли, что в воздушном бою есть много романтики, много личного героизма, но вовсе нет плана боя. Мне казалось, что тактика воздушного боя рождается сама собой, как бог на душу положит. Оказывается, с земли не только следят за ходом боя, но очень точно и быстро им руководят.

Минут через десять репродуктор снова сказал «воздух!» и назвал новые данные. На этот раз на Мурманск шли бомбардировщики с истребителями.

– Придется давать тревогу, – сказал командующий со вздохом.

Мне повезло. Я вовремя очутился в некоем месте с биноклем. Назовем это место: «Где-то в Заполярье». Рядом стоял командующий. Немного ниже, на уровне наших ног, сидела у радиотелефона весьма милая девушка в кокетливой пилотке и в наушниках. Она выслушивала приказания и говорила в трубку:

– Леопард! Леопард! Я Вишня. Я Вишня. Измените курс! Измените курс! (Она назвала курс.) Повторите приказание. Перехожу на прием...

«Леопардом» назывался один из истребителей в воздухе. Это не помешает ему завтра назваться «Сорокой». «Вишней» на этот раз были мы.

И в то же мгновение самолет, которого в голубом небе почти не было видно на высоте пяти тысяч метров, и находить его приходилось по белому следу, который он оставлял, – сделал то, о чем просила его симпатичная «Вишня»: повернул и пошел в том направлении, откуда (на земле люди знали это точно) шли немецкие бомбардировщики. За ним повернули еще несколько истребителей.

Я видел потом, как «юнкерсы» вываливались из легких, перистых облаков и камнем пикировали вниз, на залив.

Такого ясного и четкого, я бы сказал «сюжетного», сражения невозможно увидеть на земле в условиях современной войны. Трудно найти сравнение. Пожалуй, самым точным было бы сравнить такой воздушный бой с каким-нибудь наполеоновским сражением, когда полководец видит в подзорную трубу все перипетии боя, с той только поправкой, что сражение продолжается всего несколько минут.

За эти несколько минут действительно произошло все. Мы видели ход боя и в точности узнали его результаты.

– Bravo, зенитчики! – сказал командующий, не отрываясь от бинокля.

– Я не вижу, – пролепетал я.

– Смотрите, торчит труба, – сказал он, – возьмите чуть правее и выше.

Я увидел простым глазом падающий на землю бомбардировщик. От него отделились три парашюта. Они казались совсем маленькими:

– Посмотрите: немецкие истребители скопились слева. Они охраняют бомбардировщики при выходе из пике.

Он отдал несколько приказаний.

– Орел! Орел! – закричала под нами телефонистка взволнованным голосом. – Я Вишня, я Вишня!..

Над нашими головами с грохотом пронеслась семерка «харрикейнов». Они шли, чтобы отрезать путь бомбардировщикам.

Очень ясно было видно, как упал еще один немецкий бомбардировщик, сбитый истребителем.

– Черт побери! – крикнул вдруг командующий.

– Что? Что? – спросил я.

– Подбили нашего! – отрывисто сказал он, не отрываясь от бинокля.

Я увидел в бинокль, как один из наших истребителей быстро уходил куда-то в сторону и вниз. За ним тянулся дымок.

– Пошел на аэродром, – сказал командующий, – может быть, дотянет.

Бой отдалился. Бомбардировщики ушли. Их было семь. Ушло пять. Теперь на большой высоте сражались только истребители.

– Еще один немец, – сказал генерал. – «Мессер сто девятый».

Он упал на далекую снежную гору, и оттуда долго еще шел дым, как будто путники развели там костер.

Бой окончился. К командующему подошел адъютант.

– С аэродрома сообщают, что самолет сел на живот. Летчик жив. Легко ранен. Самолет требует ремонта.

– Соколов? – спросил командующий.

– Точно. Соколов, товарищ полковник.

– Хороший летчик! – сказал командующий. – Талант! Это не шутка – посадить горящую машину!

– С аэродрома сообщают, что Соколов не хочет идти в лазарет, – добавил адъютант, – просится в бой.

Еще через несколько минут доложили, что все немецкие бомбы попали в воду. Я вспомнил, что мы действительно не видели ни одного разрыва фугасок.

С постов ПВО подтвердили, что на земле обнаружены три сбитых немецких самолета. На поиски спустившихся на парашютах немцев была послана команда.

На другой день я собственными ушами слышал по радио немецкое сообщение об этом бое. Немцы сообщали, что произвели на Мурманск ужасный налет. По их утверждению, город разрушен, сбито двадцать два советских самолета, а немцы потеряли лишь один самолет.

Это была даже не ложь, а нечто совершенно непонятное, патологическое. Впрочем, противник, теряющий чувство юмора, – хороший признак!

1942 г.

Андрей Платонов

ОДУХОТВОРЕННЫЕ ЛЮДИ

Рассказ о небольшом сражении под Севастополем

В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое сердце, плачущее в разлуке.

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было покрыто кровью и потом, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.

Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от

смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь.

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинувшись необходимости боя, и пошел вперед. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрет на ходу.

Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулей в глаз – свет и жизнь в нем угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про него?» – подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрет за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память его. Ему стало легче, томительная слабость в его теле, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга, и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомянул, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим. Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошел до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сраженный Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперед на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку. Правый и левый фланги еще шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего под-

разделения была вся разбита и легла к земле под огнем; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал: поэтому он сам решил идти туда, и пополз по земле вперед.

Позади него был Севастополь, впереди – Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полыннее поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.

Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперед, вслед комиссару, пользуясь тишиной на этой еще не остывшей от огня смертной земле.

Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был веселый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мертвый, он остался уже позади бегущего вперед комиссара.

Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулеметов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жесткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли и сам залег впереди них.

Вдобавок к пулеметам начали бить минометы, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, – подумал Поликарпов. – Пугливо, без расчета бьют!»

Поликарпов осторожно обернулся лицом назад – к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжившись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.

До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.

Минометный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.

Поликарпов двинулся вперед.

– За мной! Вперед, на злодеев, мать их...

Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.

Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахла воздух низко над их сердцами, и души их хранили самих себя.

Поликарпов почувствовал удар ревающего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжелых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залег вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они все еще были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лежа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться – стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это все хорошо, – решил Поликарпов, – но нам пора вперед», и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:

– За мной! – и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.

Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.

В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсеченную осколком мины почти по плечо.

Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсеченной руки тоже еще шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.

Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:

– Вперед! За Родину, за вас!

Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чашу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.

Поликарпов поглядел им вслед довольными побледневшими от слабости глазами и лег на землю в последнем изнеможении.

Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей – окопов противника – и вьелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но еще живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мертвых немца.

Окопы были достаточно хорошо открыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.

– Ну, тут-то мы жители! – сказал Цибулько Одинцову.

– Тут-то что же! – согласился Одинцов. – Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!

– А ребята как там устроились? – спросил Цибулько. Одинцов смотрел наружу.

– Они вон в том блиндаже остались, – сказал Одинцов. – Там им удобней.

Цибулько и Одинцов помогали Красносельскому, и тот пришел в себя. Кроме ранения в щеку у него оказалась рана в грудь навывлет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах – возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.

– Ну как ты себя чувствуешь-то? – спросил Цибулько. – После боя в эвакуацию пойдешь или так обойдешься, под огнем отдышишься?

– Теперь мне много легче, – сказал Красносельский. – Плохо было, когда я в атаку шел, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошел – я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бойходишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего – я отошел от смерти.

Но дышалось Красносельскому тяжело, и пот шел по его лицу.

– Отдыхай! – крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. А мы пока без тебя повоюем.

Цибулько нашел место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мертвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.

Стало уже вечереть, – стрельба немцев стала редкой, они палили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.

– А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? – спросил Красносельский.

– Ночью уберем его с поля... – сказал Одинцов. – Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно.

– Это точно! – произнес Цибулько. – «Вперед, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.

– Он кровью истек? – спросил Красносельский.

– Точно, – сказал Цибулько.

На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжелая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мертвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся темный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.

Красносельский лег на дно окопа и задремал для отдыха. Он дремал, большое тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую бит-

ву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далекой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно – пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живет долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива – с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова – и вдовы есть ничего.

А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: ее лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и невинности, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нем – ей снилось, что война окончилась, и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро шивает мелкие разноцветные лоскутья, изготавливая красивый плат на одеяло...

В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до гибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить свое оружие, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.

Краснофлотцы, отходя через поlynное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти от поругания врагом. Чем еще можно выразить любовь к мертвому, безмолвному товарищу?

Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошел в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.

Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнем расстреливали на погашение наши зенитные пулеметы, но противник

бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности – море и сушу.

На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, все еще жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую белье возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выпалились днем, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошел к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище – четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.

– Ты теперь большую рой! – приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. – Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Еще рой, еще, побольше и поглубже – я тебе что говорю!

Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.

Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.

Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбочки.

– Не готово еще? – спросила она у трудящегося брата.

– Тут копать твердо, – сказал брат.

– Эх ты, румын-лодырь, – опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совком и сама начала работать.

Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног: они у них отгрохотались.

– Они плохие, такие не бывают, – с грустью сказал мальчик.

– Нет, такие тоже бывают, – ответила сестра. – Их танками пораздавило: кого как.

Фильченко пошел далее по своему делу. «И мои две сестренки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, – подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. – Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мертвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»

За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.

Одинцов перестал работать:

– Комиссар говорил, что мы для него – всё, что мы для него – Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.

Одинцов бросил саперную лопатку и сел в праздности.

– Это неудобно, это совестно, – говорил Одинцову Цибулько. – Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем – это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!

Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножья насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землей не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мертвую отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх нее, как на оружие, правую руку.

После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Паршин и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.

Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было еще далеко.

Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: все равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, – размышлял краснофлотец над спящими товарищами. – Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия: то

пьян напьется, то девушку покалечит, то в меня стрельнет. А нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал еще, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила – это наш страшный сон. В нем многие помрут, не очнувшись, но человечество проснется, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потому теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования, и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточенном беспокойстве.

Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперед, в смутную сторону врага. Он оперся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал все, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал все до конца.

Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнет сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясенное войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено новое священное время жизни.

Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин, спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жесткой земле: не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много еще работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевленным, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...

К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой

комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.

Лукьянов осмотрел позицию и увез с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец – это не работник на войне.

– Иди ляжь! – сказал Фильченко. – В шубе – не пловец, в рукавицах – не косец, а сонный – не боец.

Одинцов лег в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.

Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:

– Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.

Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять еще раз ее исхудавшее тело и поцеловать ее в плачущие глаза.

Наступила тишина. Далекие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бывшие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряженная скорая работа мастеровых войны – механиков, монтеров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.

Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

По-детски, открытым ртом дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в

тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» – сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочем не боюсь, – ответил Цибулько, – это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне ее жалко стало!» В своем колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, – эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в вареном виде одну траву, которая в его местности спокон века считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот – у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.

Цибулько обо всем любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.

Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! – сказал тогда Цибулько. – Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чем, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убежденно веря, что все они – за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.

Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; темные

волосы под бескозыркой слиплись от старого, дневного пота, и похулевшее лицо уже не выражало счастливой юности – щеки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя ее от своего народа.

– Живи, Вася, пока не будешь старик, – вздохнул политрук.

Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжелую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.

Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной – его хранила любовь к своей невесте, к далекой отсюда девушке на Урале, к странному тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, еще до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, – не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало, и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига – любви и мирной жизни.

Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, – он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.

Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.

Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, еще в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понятно, что он это делал нарочно – ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил много своих севастопольских друзей, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной веселости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нем настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил ее и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названной жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», – попросила она. «А надолго?» – спросил моряк. «Навсегда», – прошептала женщина. «Нельзя, я непутевый», – отказался Паршин и ушел навсегда.

Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нем, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки

оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчетливым разумом, и новое легкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.

Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и, в зависимости от фантазии, он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлургическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.

На войне Паршин чувствовал себя свободно и страха смерти не ощущал. Его сердце было переполнено жизненным чувством и сознание занято вымыслом, и это его свойство служило ему как бы заградительным огнем против переживаний опасности. Смерти некуда было вместиться в его заполненное, сильное своим счастьем существо.

Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедился, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу.

Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода, но улыбающегося неизвестному сновидению Паршина.

– Жалко вас всех, чертей! – сказал политрук вслух. – Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы Родина, родное место, где могут рождаться люди...

Фильченко представлял себе Родину, как поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы, и нет среди них ни одного, в точности похожего на другой, поэтому он не мог ни понять смерти, ни примириться с ней. Смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует, чего не было никогда и не повторится во веки веков. И скорбь о погибшем человеке не может быть утешена. Ради того он и стоял здесь, – ради того, чтобы остановить смерть, чтобы люди не узнали неутешимого горя. Но он не знал еще, он не испытал, как нужно

встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его.

Политрук оглянулся. К насыпи, к их позиции мчалась машина. Где-то далеко ударила залпом батарея врага; ей ответили из Севастополя. Начинался рабочий день войны. Солнце светило с вершины высот; нежный свет медленно распространялся по травам, по кустарникам, по городу и морю, – чтобы все продолжало жить. Пора было поднимать людей.

Моряки встали с земли, кряхтя, сопя, бормоча разные слова, и стали очищать одежду от сора и травы.

– Разобрать оружие и боеприпасы по рукам! – приказал Фильченко.

Моряки разобрали доставленное ночью оружие и снаряжение: винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью – и приладили их к себе; некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулько откатил в сторону новый пулемет и сел за его настройку в работу.

Полковой комиссар Лукьянов подъехал на машине. Краснофлотцы выстроились.

– Здравствуйте, товарищи! – поздоровался комиссар. – Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица и помолчал.

– Резервы подойдут позже, – сказал комиссар, – они выгрузились ночью и сейчас снаряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас – рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. Сумеете сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?

– Как-нибудь, товарищ старший батальонный комиссар! – ответил Паршин.

Комиссар строго поглядел на Паршина; однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждения краснофлотца.

– Надо сдержать и раскрошить врага! – произнес комиссар. – Позади нас Севастополь, а впереди – все наше, большая вечная Родина. Враг, как волосяной червь, лезет в глубь нашей земли, без которой нам нет жизни, так рассечем врага здесь огнем! Будем драться, как

спокон веку дрались русские – до последнего человека, а последний человек до последней капли крови и до последнего дыхания!

Комиссар поговорил еще отдельно с политруком Фильченко, сказал нужные сведения и сообщил инструкцию командования, а затем предложил краснофлотцам хорошо и надолго покушать.

– Еда великое дело для солдата! – сказал комиссар Лукьянов на прощанье и уехал, забрав две старые сменные винтовки.

Краснофлотцы взяли за пшеничный хлеб, за колбасу и консервы.

– После такой еды землю пахать хорошо! – выразил свое мнение Цибулько. – Целину можно легко поднять, и не уморишься!

– Щей не хватает, – сказал Одинцов, – и горячей говядины.

– Сейчас удобно было бы газу в сердце дать: водочки выпить, – пожалел Паршин.

– Обойдешься, сейчас не свадьба будет, – осудил Паршина Красносельский.

– Ишь ты! – засмеялся Паршин. – Он обо мне заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло: после войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять и тогда уже жевну из бутылки!

– У нас на Урале не из рюмок пьют и не из бутылок, – пояснил Красносельский. – У нас из ушатов хлебают, у нас не по мелочи кушают...

– Поеду вековать на Урал, – сразу согласился Паршин. После завтрака Николай Фильченко сказал своим друзьям:

– Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! – воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко.

– Есть таранить тирана! – крикнул Паршин.

Фильченко прислушался.

– Приготовиться, – приказал политрук. – По местам!

Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе – в окопах и щелях, открытых стоявшим здесь прежде подразделением.

По ту сторону шоссе, на полынном поле и на скате высоты, где гнездились немцы, сейчас было пусто. Но откуда-то издали доносился ровный, еле слышимый шорох, словно шли по песку тысячи детей маленькими ножками.

– Николай, это что? – спросил у Фильченко Цибулько.

– Должно быть, новую какую-нибудь заразу придумали фашисты... Погляди! – ответил Фильченко. – Фокус какой-нибудь, на испуг или на хитрость рассчитывают.

Шорох приближался, он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынное поле, прилегающее к взгорью, были по-прежнему пусты.

– А вдруг фашисты теперь невидимыми стали! – сказал Цибулько. – Вдруг они вещество такое изобрели – намазали им и пропал из поля зрения!..

Фильченко резко окоротил бойца:

– Ложись в щель скорей и помирай от страха!

– Да это я так сказал, – произнес Цибулько. – Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь... Техника не виновата: она наука!

– Пускай хоть они видимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково, – сказал свое мнение Паршин.

– Без ответа помирать нельзя, – сказал Красносельский. – Не приходится!

– Стоп! Не шуми! – приказал Фильченко.

Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты.

Краснофлотцы, стоя в рост в отрытой земле, замерли и глядели через бровку откоса, через шоссе, на ту сторону.

Паршин засмеялся.

– Это овцы! – сказал он. – Это овечье стадо выходит к нам из окруженья...

– Это овцы, но они идут к нам не зря, – отозвался Фильченко.

– Не зря: мы горячий шашлык будем есть, – сказал Одинцов.

– Тихо! – приказал политрук. – Внимание! Товарищ Цибулько, пулемет!

– Есть пулемет, товарищ политрук! – отозвался Цибулько.

– Всем – винтовки!

– Есть винтовки! – отозвались краснофлотцы.

Овцы двумя ручьями обтекли высоту и стали спускаться с нее вниз, соединившись на полынном поле в один поток. Стадо направлялось прямо на Дуванкойское шоссе. Уже слышны были овечьи напуганные голоса: их что-то беспокоило, и они спешили, семеня худыми ножками.

Одна овца вдруг приостановилась и оглянулась назад, на нее набежали задние овцы, получилось стеснение, и из овечьей тесноты привстал человек в серо-зеленой шинели и замахнулся на животных оружием.

«Это умная овца!» – подумал Фильченко про ту, которая остановилась, и решил действовать.

– Цибулько, пулемет по гадам среди нашей скотины!

– Вижу, – откликнулся Цибулько.

Теперь Фильченко увидел среди овец еще шестерых немцев, бежавших согнувшись в тесноте овечьей отары.

– Цибулько!

– Есть, ясно вижу цель, – ответил пулеметчик и затрепетал от нетерпения у пулеметной машины.

– Цибулько! – крикнул политрук. – Зря овец не губи, они племенные. Огонь!

Пулемет заработал. Струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей.

Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек пятьдесят. Некоторые били с ходу из автоматов по насыпи шоссе, другие молча стремились вперед.

Фильченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемета, а сам вместе с Паршиным и Одинцовым открыл точный огонь из винтовок по немецким автоматчикам.

Пулемет Цибулько работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Половина врагов уже легла к земле на покой, но еще человек двадцать или больше немцев были целы: они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там; теперь их пулемет

том или винтовками достать было невозможно. А тут еще набежали овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожа и жалобно, по-детски, вскрикивая от страшной жизни среди человечества.

«Э, харчи хорошие гонят немцы в Севастополь!» – успел подумать Паршин.

– Цибулько! – крикнул Фильченко. – Дай нам дорогу вперед – через шоссе! Огонь по овцам!

Цибулько начал сечь овец, переваливающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали, а бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам, в обход людей.

– Всем – гранаты! – крикнул Фильченко. – Вперед! – Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам; через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы, и немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых они взяли себе в прикрытие.

Моряки сработали гранатами быстро; они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих врагов.

Краснофлотцы вернулись на свою позицию.

– Ну как? – спросил Цибулько у Фильченко.

– Пустяк, – сказал политрук. – Больше с овцами дрались.

– Какой это бой! – вздохнул Паршин. – Это ничто.

– Кури помалу, – разрешил Фильченко.

Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу.

Из-за высоты по шоссе и по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били неспешно, не часто, но настойчивой долбежкой, не столь поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Но оборона не отвечала, и немцы изредка били опять, как бы допрашивая собеседника.

Комиссар Лукьянов короткими перебежками привел резерв – до полуроты морской пехоты – и расположил его на флангах подразделения Фильченко, оставив инициативу на этом участке за Фильченко.

Лукьянов выслушал сообщение политрука о небольшом бое с немцами среди овец и сказал свое заключение:

– Ну что ж. Это их боевая разведка была: бой будет позже.

Комиссар ушел. Вскоре немецкая артиллерия перешла на боевой, ураганный режим огня.

«Пустошь делают впереди себя, – понял Фильченко. – Значит, скоро будут танки».

Он увел свое подразделение в блиндаж, покрытый всего одним накатом тонких бревен, но здесь все же было тише. Сам же Фильченко остался у входа в блиндаж, чтобы посматривать через насыпь и следить за выходом танков.

Шоссе и его откосы выпаживались снарядами до материковой породы; трупы овец и немцев калечились посмертно, и то засыпались землей на погребение, то вновь обнажались наружу.

Левый склон высоты запылел у подножья, где высота переходила в полынное солончаковое поле. Артиллерийский огонь не ослабевал. Темное тело переднего танка вышло на полынное поле, за ним шли еще машины. Они шли вперед под навесом артиллерийского огня.

Фильченко укрылся в блиндаже от близкого разрыва, закидавшего его черной гарью и землей. «Надо уцелеть, – подумал он – сейчас артиллерия смолкнет».

Когда пушки умолкли, Фильченко вывел подразделение на позицию. Танки подходили к насыпи; их было пока что семь: по полторы машины, без малого, на душу бойца.

– Вася! – крикнул Фильченко в сторону Цибулько. – Пулемет по смотровым щелям первой машины! Красносельский, Паршин, бутылки и гранаты! Действуйте! Огонь!

Цибулько дал первую очередь, вторую, но танк бушевал всею своей мощностью и шел вперед на моряков. Паршин и Красносельский поползли через насыпь на ту сторону дороги.

– Точней огонь, пулеметчик! – вскрикнул Фильченко.

Цибулько приноровился, нащупал щель пулевой струей – всей ошутимостью своей продолженной руки, и впился свинцом в смотровую щель машины. Танк круто рванулся вполповорота вокруг себя на одной гусенице и замер на месте: он подчинился смертному судорожному движению своего водителя. Возле танка, встал на мгновение в

рост Красносельский и метнул в него бутылку; черный смолистый дым поднялся с тела машины, затем из глубины дыма появился огонь и занялся высоким жарким пламенем.

Цибулько бил из пулемета уже по другим танкам. Сначала он давал короткие прицельные, ощупывающие очереди, затем впивался в цель насмерть длинной жалящей струей. Красносельский и Юра Паршин действовали за шоссе насыпью. Они ютились в воронках, за комьями разрушенной земли, за телами павших овец, вставали на момент и метали бутылки и гранаты в ревущие механизмы.

Фильченко и Одинцов ожидали за насыпью своего времени. Сразу задымили густым дымом, а затем засветились сияющим пламенем еще два танка. Осталось в живых четыре. Но немцы скупы на потери, они свое добро не любят тратить до конца.

Четыре танка приостановились и развернулись на месте, обнажив за собой пехоту.

– Пора! – крикнул Фильченко. – Вася! По живой силе – огонь!

Цибулько вонзил струю огня в пехоту противника, сразу залегшую в землю.

Фильченко и Одинцов перебросились через насыпь. Но Красносельский и Паршин опередили их; они на животах уже подползали к залегшей пехоте врага и, чуть привстав, метнули в нее первые гранаты.

Четыре уцелевших танка молча пошли в отход: они не открыли огня, потому что немецкая пехота и русские матросы неравномерно распределились по полю и огнем с танков можно уложить своих.

Фильченко и Одинцов с ходу запустили гранаты по темным телам пехотинцев. Пулемет Цибулько не давал врагам возможности подняться. Когда они приподымались, Цибулько бил их точным секущим огнем; если они шевелились или ползли, Цибулько переходил на «штопку», то есть вонзал огонь под углом в землю сквозь тело врага. Но у пулеметчика была трудная задача: он должен был не повредить своих, сблизившихся на смыкание с противником.

Немцы, однако, тоже соображали кое-что; они поняли, что лучше на время отойти, чем до времени умереть. Человек тридцать сразу вскочили с земли, жалобно закричали и побежали вслед танкам. Фильченко и Одинцов бросили в них гранаты, потом добавили по ним

из винтовок, и человек десять пали обратно на землю. Остальные пехотинцы – с полсотни – подняться уже не могли никогда.

Цибулько дал последнюю долгую очередь по бегущим и выщелочил из них еще семерых врагов, и по ним еще били с флангов.

Краснофлотцы возвратились на свою позицию в дорожной насыпи, уже обжитую и привычную, как дом. Они возвратились утомленные, как после трудной работы, и тотчас задремали, пользуясь наступившей тишиной в воздухе и на земле. На посту остался один Фильченко.

Через полчаса над полынным полем и над шоссе дорожкой низко пронесли немецкие штурмовики. Они одновременно обстреливали землю из пулеметов и бомбили ее, и без того всю израненную. Дремавшие в окопе моряки не поднялись; бодрствующий Фильченко не стал их будить; день еще долго будет идти, и бой еще будет, пусть они отдыхают пока.

После ухода самолетов опять настала тишина. И в тишине кто-то окликнул Фильченко по имени.

Вдоль насыпи бежал корабельный кок Рубцов. Он с усилием нес в правой руке большой сосуд, окрашенный в невзрачный цвет войны; это был полевой английский термос.

– А я пищу доставил! – кротко и тактично произнес кок. – Разрешите угостить бойцов, товарищ политрук?

– Разрешаю, – значительным голосом сказал Фильченко.

– Благодарю вас, – поклонился кок. – Где прикажете накрыть стол, под горячий, огненный шашлык? Мясо – вашей заготовки!

– Когда же ты успел шашлык сготовить? – удивился Фильченко.

– А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел! – объяснил кок. – Вы же тут поспеваеете овец заготавливать, о вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, и то люди знают, ну – точно!

– Да откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем! – засмеялся Фильченко.

– А на фронте ж, как в деревне, на улице: чего не нужно – так все враз знают, а что надо – так, гляди, и забыли! – сказал кок.

Рубцов нашел ровное место возле самой насыпи, расстелил чистую скатерть, разложил на ней приборы, поставил тарелки – все на-

ходило в особом ящике при термосе, – а затем вынул из термоса алюминиевый сосуд, парующий и благоухающий мясом.

Краснофлотцы, дремавшие во время воздушной бомбежки, теперь проснулись и вышли из окопа наружу, на мясной запах.

– Это ты что за кафе на войне устроил? – строго сказал Фильченко.

– Кафе на фронте полезно, товарищ политрук, – объяснил кок Рубцов, – оно победе не помешает, нисколько, нет! Вот гроб – это лишнее, его я не захватил. А кафе – это великое дело, товарищ политрук: это мирное время на память бойцам!

Моряки внимательно рассматривали полевое кафе Рубцова, потом одновременно поглядели на кока и захохотали во все свои молодые, отдышавшиеся глотки.

– Бегаешь ты вот тут по переднему краю, шлепнут тебя, кок, по посуде на голове! – предупредил Паршин Рубцова.

– Нет, я чуткий, я буду живой, – отверг кок такое предположение.

– А я ж для вас стараюсь, чтоб тело ваше питать!

– Врешь! – сказал Цибулько. – Не бреш!

– Так я брешу, Вася, малость, – сознался кок. – Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить!

– Чего тебе надо на грудь схватить? – прохрипел Красносельский.

– Ну, так, – сказал кок, – пусть орден, пусть будет медаль, я бойцов под огнем кормлю, а чем кок хуже сестры?

– Вот кок-то мировой! – сказал Одинцов. – Он и герой, он и карьерист, можно медаль ему дать, а можно и плюху! Он имеет на две вещи сразу!

– Жрать давай! – не утерпел Цибулько.

– Пожалуйста, – пригласил кок, – у вас же во рту все время слова были, шашлыку места нету!

Подразделение Фильченко целиком уселось на траву за скатерть, а коку велено было стать на пост и глядеть вперед – следить за врагом.

Покушав, моряки решили, что кок Рубцов «может». Это слово означало на их дружеском языке высшую оценку какого-либо действия; сейчас они оценили таким способом шашлычную работу кока.

– Кок, ты можешь! – крикнул Рубцову Паршин.

– Знаю. Я же работник творческий! – равнодушно отозвался кок.

– Этот кок далеко пойдет, – сказал Одинцов, – у него и талант и нахальство есть.

После обеда моряки выстроились. Фильченко скомандовал: «Смирно! Равнение на кока!» Это было воинским выражением благодарности за шашлык, и кок ушел в тыл, вполне довольный своим героическим мероприятием по накормлению бойцов.

Моряки остались одни. Время было уже за полдень. Фильченко поставил часовым Одинцова, а остальным своим людям велел отдыхать. Бойцы легли по откосу снаружи, чтобы погреться немного на весеннем солнце.

– Фу ты, черт, я пить захотел! – обиделся Паршин на свою привычку пить после пищи. – Хорошо в бою: ничего не хочешь! А как только мирно живешь, так все время тебе чего-нибудь хочется: то кушать, то пить, то спать, то тебе скучно, то...

И Паршин подробно перечислил, что требуется мирно живущему человеку; такому человеку и жить некогда, потому что ему постоянно надо удовлетворять свои потребности. А живет, оказывается, счастливой и свободной жизнью лишь боец, когда он находится в смертном сражении, – тогда ему не надо ни пить, ни есть, а надо лишь быть живым, и с него достаточно этого одного счастья.

– Вижу танки! – сказал Одинцов с насыпи.

– По местам! – приказал Фильченко. – Принять танки огнем!

Он вышел на позицию и стал терпеливо считать танки, выходившие из-за высоты. Их оказалось пятнадцать: по три машины на душу бойца, а прежде было по полторы; стало быть, немцы удвоили порцию. И тотчас же началась скорая артиллерийская стрельба; немцы били сейчас беглым огнем, отвлекая внимание русских, чтобы занять их силы на широком фронте и внезапно прорвать оборону в одном месте, вонзившись туда танками.

– Уважают нас, – сказал Цибулько, сосчитав машины, – ишь, сколько выставляют против меня одного: пятнадцать, деленное на пять и помноженное на тысячу лошадиных сил! Я доволен!

Одинцов задумался. Приближающийся грохот бегущих танков, артиллерийский огонь, беспокойная, шумная и какая-то нарочитая настойчивость врага – все это словно не серьезно, все это хотя и опасно,

но похоже на действие человека, который нападает от испуга, стараясь спастись от гибели посредством злости и суеты.

Мощные танки шли напрямую; возможно, что немцы хотели теперь выйти на Дуванкойское шоссе и по шоссе рвануться сразу на Севастополь – так оно было бы более парадно.

Цибулько вслушался сквозь скрежет гусениц и дребезг стальных кузовов в частое мелодичное дыхание дизель-моторов и произнес самому себе: «Эх, и все это против меня! Здравствуйте, инженер Рудольф Дизель! Я на вас не обижаюсь, я уважаю вас за великое изобретение двигателя, я, Цибулько, простой краснофлотец, но великий человек!»

Фильченко сказал, обратившись ко всем:

– Товарищи!

Хотя он говорил тихо, а на земле сейчас было шумно, однако все слышали его.

– Товарищи! Я хочу сказать вам, что нам будет трудно. Я хочу сказать, что мы отойти не можем, мы будем биться здесь до самых своих костей...

– И костями можно биться, – произнес Паршин. – Рванул из скелета и бей. Комиссар товарищ Поликарпов хотел же биться своей оторванной рукой!..

– Товарищи! – говорил Фильченко. – Я говорю вам – друзья, у меня такое же сейчас чувство на сердце, как у вас, поэтому вы меня понимаете ясно. Приказываю вам стоять на этой земле и не умирать, чтобы драться долго, пока мы не поломаем здесь машины и кости врага!

Цибулько подошел к Фильченко и поцеловал его. И все, каждый с каждым, поцеловали друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в лицо.

С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на свое место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе. Они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, – на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали

себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, – отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее; лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить.

На фланги подразделения Фильченко вышли из-за танков автоматчики; их приняли огнем моряки и краснофлотцы Фильченко и та полурота, которую привел комиссар Лукьянов. Значит, у флангов Фильченко была своя забота, на помощь их рассчитывать было нельзя. Да и фланги Фильченко, справа и слева, имели всего по тридцать бойцов, а противник давил на каждый фланг силою полубатальона.

Там, на флангах, разгорался частый стрелковый бой, но в центре, на линии хода танков, Фильченко велел прекратить стрельбу, чтобы не обнаруживать своих слабых сил.

Битву моряков с танками должен начать Василий Цибулько. Фильченко приказал ему выждать, дав машинам приближение метров на сто.

На подходе ведущий танк рванул вперед прыжком, и все танки за ним резко увеличили свою скорость.

И тогда Цибулько начал битву; он давно уже насторожил пулемет и следил прицелом за движением танка, теперь он пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно: первая же очередь пуль ушла в щель головного танка, машину занесло в сторону, и она стала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссе на насыпь, наехав почти в упор на подразделение Фильченко. Мгновенно, опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк.

Цибулько забыл о себе и товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно от собственного веса сполз юзом по

противоположному откосу, на котором еще оставалась на весу половина его туловища. Поднявшись, Цибулько ударил своей левой рукой о камень, чтобы из руки вышла боль, но боль не прошла, и она мучила бойца; из разорванных мускулов шла густая сильная кровь и выходила наружу по кисти руки; лучше всего было бы оторвать совсем руку, чтоб она не мешала, но нечем было это сделать и некогда тем заниматься.

Два танка сразу появились на шоссе. Цибулько забыл о раненой руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их в служебные скважины брони. Но пулемет затих, питать его больше стало нечем: прошла последняя лента. Тогда Цибулько, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу, евшую землю на ходу, связку гранат. Раздался жесткий, клопочущий взрыв – огонь стал рвать сталь, и разрушенный танк умолк навечно.

Цибулько не слышал пулеметной стрельбы из этого танка; однако теперь он почувствовал, что в теле его поселились словно мелкие посторонние существа, грызущие его изнутри: они были в животе, в груди, в горле. Он понял, что весь изранен, он чувствовал, как тает, исходит его жизнь и пусто и прохладно становится в его сердце; он лег на комья земли и сжался, как спал в детстве у матери под одеялом, чтобы согреться.

Иван Красносельский не дал другому танку хода на Севастополь; он выбежал к нему наперерез и бросил в него раз за разом три бутылки с жидкостью. Танк занялся пламенем и, пройдя еще немного, остановился догорать. Красносельский обернулся к товарищам; еще четыре танка вырвались и били, устрояя, с ходу из пушек и пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул с земли бутылку в танк, горячая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд с воем пронесся мимо головы Красносельского; боец ожесточился, что его может убить фашист, и закричал на машину страшным голосом, забыв, что ему внимать там не будут, потом резко и точно запустил бутылку в смертоносное тело машины и обрадовался пламени пожара. У Красносельского осталась еще одна бутылка со смесью; он бросился в яму, потому что свежий танк, обойдя горящий, шел на человека. Сейчас Красносельский узнал чув-

ство хозяйственного удовлетворения: он уже уничтожил две машины, можно уничтожить еще одну, от этого все-таки убудет смерть на свете и жить людям станет легче; уничтожая врага, Красносельский словно накапливал добро, и он понимал пользу своего труда.

Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед, низкий, упорный и мощный.

– Стой, стервец! – крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.

Машину обдало огнем; верхний люк танка откинулся, и оттуда показалось смутное лицо врага. Красносельский вскинул винтовку, но враг опередил его скорострельным пистолетом, и Иван Красносельский пал на землю с сердцем, разбитым свинцом. Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил; он закрыл глаза, полные слез, и больше они не открылись у него.

Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся по шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дым и огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой, но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина: они рванули его гранатами по ходовому механизму, так что из него брызнул металл, и машина, поворочавшись на месте, омертвела. Однако Паршин уже не мог справиться с собой и добавочно дал жару машине, метнув в нее бутылку, чтобы смерть врага была вернее.

На шоссе горели танки, но новые, свежие машины, изменив курс, мчались по полынному полю и стремились выйти на поворот шоссе, минуя горящие и омертвевшие танки. Остерегаясь огня врага, бывшего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж.

В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей, не ранены ли они и не тронуты ли робостью их души. Одинцов и Паршин часто дышали, лица их покрылись гарью и земляной грязью, но в глазах их был свет силы и неутоленное ожесточение боем.

– Что, Юра? – спросил Фильченко у Паршина.

– Ничего! – хрипло сказал Паршин. – Давай их остановим всех – не страшно, я видел смерть, я привык к ней!

Паршин в волнении, не зная, что ему делать и как остановить себя, погладил почерневшей ладонью земляную стену блиндажа.

– Давай их крошить, командир! А то я один пойду!.. Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели: я зверем стал!.. Сыпь мне в рот порох из патронов – я пюзом их взорву!

– Ты сам знаешь, патронов больше нет, – произнес Фильченко и снял с себя винтовку.

Одинцов дрожал от горя и ярости.

– Пошли на смерть! Лучше ее теперь нет жизни! – пробормотал он тихо.

Враг гремел близко. Фильченко молча и надежно подвязал себе к поясу одну гранату, а две гранаты оставил товарищам; кроме этих последних трех гранат, больше у них не было никаких припасов на врага. Поэтому теперь нельзя было промахнуться или ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза.

Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа и исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и в скрежете их механизмов, гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту шоссе и замер на время в ожидании.

Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, залегшего у поворота дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего пробыть живыми еще хоть несколько минут, и берегли себя пугливо и осторожно.

Фильченко тоже волновался: он тревожился, что ошибся в расчете – и танки не выйдут на шоссе, а пойдут по обочине с той стороны. И пока он перебежит через шоссе и доберется до машины, его рассекут из пулемета и он умрет, как глупая кроткая тварь, – на потеху врага. Он томился, вслушиваясь в приближающийся ход машины по ту сторону дорожной насыпи, и боялся, что это последнее счастье минует его. Стреляли теперь с машин реже и только из пушек, направляя огонь по тому рубежу обороны, который находился ближе к Севастополю, позади моряков. На флангах, в удалении все время слышалась

стрельба из винтовок и автоматов – там небольшие подразделения черноморцев сдерживали въедающихся вперед немцев.

Передний танк перевалил через шоссе еще прежде поворота и начал сходить по насыпи на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине.

Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно свергалась с откоса земли; водитель, должно быть, не желал гнать ее, как попало, и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшая овца и чьи-то давно иссохшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли.

Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить этот танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни. Но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя, и так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле – смыслу и счастьем жизни или вечному отчаянию, разлуке и гибели.

И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним, возле него было его счастье и его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилии на землю по воле одного его сердца. И с него, быть может, начнется освобождение мирного человечества, чувство к которому в нем рождено любовью матери, Лениным и советской Родиной. Перед ним была его жизненная простая судьба, и Николаю Фильченко было хорошо, что она столь легко ложится на его душу, согласную умереть и требующую смерти, как жизни.

Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу, поперек ее хода. Он прицелился точно – так, чтобы граната, привязанная у

его живота, пришлась посредине ширины ходового звена гусеницы, и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти.

Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко, они видели, как остановился на костях политрука потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сжевал ее, не помня себя.

– Коля умер, – сказал Одинцов. – Нам тоже пора. Пять свежих танков появились на шоссе и стали медленно спускаться по откосу, обходя подорванную машину.

Двое моряков поднялись.

– Даниил! – тихо произнес Паршин.

– Юра! – ответил ему Одинцов.

Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти.

– Эх, вечная нам память! – сказал, успокаиваясь и веселя, Паршин.

Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Но Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов, умирая, силой одного своего еще бьющегося сердца напряг разбитое тело и пополз навстречу танку – и гусеница раздробила его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва.

Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень и успел прокатиться немного на чужой машине, а затем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. А затем, подождав, когда танк приблизился к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу.

Остальные, еще целые танки приостановились на шоссе и на склонах с него. Потом они заработали своими гусеницами одна навстречу другой, и пошли обратно – через полынное поле, в свое убежище за высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником. Но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы погубить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось.

И вот все окончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов место боя танков с моряками, утихли еще раньше: одни были перебиты, а оставшиеся жить окопались.

На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались видимыми лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цибулько: он понимал, что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе в стороне от места боя танков со своими товарищами и видел почти все, что было там совершено.

Теперь он увидел, как с рубежа обороны подходила к шоссе рассыпным строем наша воинская часть. От кровотечения и слабости Цибулько то видел все ясно, то перед ним померкал свет и он забывался.

Очнувшись, Цибулько рассмотрел возле себя людей и узнал среди них комиссара Лукьянова. Люди перевязали Цибулько, потом подняли на руки и понесли его к Севастополю. Ему стало хорошо на руках бойцов, и он, как мог, начал рассказывать им и Лукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Рассказ

Ранней весной, накануне света и тепла, бывают в природе печальные дни, они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреть ее сквозь серый холодный покров облаков, и земля прозябает в унылом терпении. В эти дни, кажется, что весна и лето еще будут нескоро, и до них не доживешь.

В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, открытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж.

Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, открытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем

свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведая об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, мы начинали иногда пользоваться ими.

Командир роты старший лейтенант Юхов наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревушие удары пушек. Никого не было сейчас на земле меж нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха, однако она была уже не жилица на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхов всмотрелся в отдаление. По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь. Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды, и огонь разрывов блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разглядел двигающуюся лошадь. Глаза ее были полузакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп иссечен в полосы высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанное оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой, истертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животное брело меж пушек, бьющих встречным огнем поверх ее изнемогшего тела.

Один немецкий снаряд разорвался меж нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть.

К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров.

– Скоро на дело пойдём, товарищ старший лейтенант? – спросил старшина Петров.

– Жду сигнала, старшина, – сказал командир. – Как у тебя люди?

– Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант... Это что же там, фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?

– Стало быть, так, старшина, – ответил Юхов. – Она ослабла, и немцы отпрягли ее при отступлении, а бывает, что и отпрягать неког-

да, тогда рубят построшки, лошадь падает, и ее затапывают. Видал такое?

– Все видал, товарищ старший лейтенант, на войне живу, – произнес старшина. – Жалко скотину.

Пушечная стрельба стала замедляться, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушивались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью.

Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей, – сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте.

Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не прилегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза.

День теперь обеднялся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из окопов за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего: у врага здесь был только артиллерийский заслон, да жидкая пехота из старых возрастов – тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему и все добро мира он еще не снес в одно место, к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов – жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны.

И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится при деле, ей тоже есть тут своя обязанность: где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдату, он поглядит в добрую морду лошади, скажет ей: «И

ты со мной терпишь? Давай вместе до победы», – и тогда легче станет солдату.

– Еще не вовсе старая скотина! – сказал боец Никита Вяхирев соседу Ивану Владыко. – От нее еще польза должна быть.

– Пожилая только, – ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь. – Работать бы сполна можно на ней, если тело ей дать и ласку добавить: у лошадей сердце большое, они все чувствуют.

Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе:

– Нету, с этой скотиной делать боле нечего – с ней забота не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил и жилы в ней посохли.

– Беда с фашистами, – сказал усатый красноармеец Свиридов, добровolec с начала войны. – Ишь, как скотину работой выколотили, аж остья костей из нее наружу выпирают. Им что – лошадь же наша, русская...

– Им все нипочем, – сказал Иван Владыко. – Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тягловых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху, под корень надо фашиста кончать, гной из него вон!

Солдаты умолкли и задумались, стоя в земле лицом к противнику, освещенные робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое рабочее сердце в одиночестве билось сейчас против смерти. И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает; иногда она приподнимала голову и затем вновь поникала ею, иногда дрожь страдания проходила по ее телу, и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле.

Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась в половину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать, она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь в тяжелой, сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна; она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти.

Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу.

– Не понимает, оттого и мучается, – сказал Свиридов. – И пахарем была, и на войне служила, а все ж не человек и не солдат.

– Она душой не мучается, она только телом томится, – сказал Иван Владыко.

– Мучается, – подтвердил Свиридов, – потому что смерти боится, в ней сознания мало. А без сознания всякое дело страшно.

– Довольно тебе, – строго сказал старшина Петров. – Сколько там в ней сознания, мы не знаем, ты видишь – она кончается, а раньше землю в колхозе на нас пахала... А что нам полагается знать? А ну, кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать?

– Важное, товарищ старшина? – переспросил Владыко. – Нам тут коня стало жалко...

– Коня пожалели? – произнес старшина. – Верно, жалеешь, солдат. Это наш конь и земля наша, повсюду тут наша Родина, жaley и береги ее, солдат... А что-то здесь птиц наших не слышать – весна уж, а птиц нету?... Чего-то я птиц не слышу!

– Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине и птицы объявятся, товарищ старшина, – сказал Никита Вяхирев. – А то мы огнем дюже шумим.

Иван Владыко знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное, но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная.

Командир роты Юхов теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни.

В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыко. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе – она ведь не убита и только замерла от слабости; может быть, она еще жива, и тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстелив под ее тело рогожки и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона – пусть еще повоюет нам на помощь.

– Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню, – попросился Иван Владыко. – Как завечерет

вовсе, я к нему доползу и послушаю, есть ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму.

– Действуйте. Это лучше, – согласился Юхов.

Как ночь стемнела, Иван Владыко осмотрел автомат, взял гранату и пошел припадающей перебежкой к лежащей лошади.

Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться.

Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыко снова явственно расслышал его томящийся стон. Иван вслушался и различил долгое, трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов.

Иван взялся было за гранату, но раздумал ее метать: он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь.

Желая точнее понять обстановку, Владыко осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, ослепивший его. Над его телом, вновь приникшим к земле, пошли очередью длинные пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали замертво от его автомата два немца, а третьего он сразил вручную ложем своего оружия, находясь уже в тесноте навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть; однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыко вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата в то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине.

Иван Владыко, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, вскочил в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошади. Они кратко без веры выстрелили во мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой.

– Кидай оружие туда, в ночь! – приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их автоматы прочь во тьму.

– Иван, – тихо сказал один немец.

Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван.

– Я Иван Владыко! – ответил он пленникам. – Сидите пока что смирно.

– Иван Великий, – произнес немец неправильно фамилию.

Владыко склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое редкое тепло исходило из его ноздрей, он еще был при жизни.

– Выходим его обратно, – решил Владыко.

Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте, на шее, шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда.

Владыко понял, что враги начали драть коня на шкуру и оттого конь застонал, чувствуя жизнь от боли.

– Зачем же вы коня живого драть начали? – сказал Владыко немцам. – Везде вы свою пользу ищите. Смотрите, как бы убытка вам кругом не нажить...

Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед.

– Наша атака, – помнил Иван Владыко. – Теперь коня тревожить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны, жив будет, на подсобную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся...

Иван Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще неостывшая глубокая теплота.

Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав; Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь.

«Воины! – подумал Владыко, спрятав трофейные ножи за голенище. – Двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им что ж: смысла нету! А без смысла на войне нельзя».

1944 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было – не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша – дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, навещаясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен отсюда увезти домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой, гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь, и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии, ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним, и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость – и тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

– Я чуть-чуть, – сказал Иванов, – а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

– Только поэтому, что поезд опаздывает? – спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванову.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять, кожа на лице его, обдута ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет,

серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином – теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу.

– Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

– Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

– Вон как... Так вы позволите?

– Отцы у дочерей не спрашивают, – засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час

свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, может быть потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша проводила его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

– Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

– Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

– Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть: ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездом, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стальных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей – Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно

бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех – где нужно, там заштопано, где potrebno, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

– Ты отец, что ль? – спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. – Знать, отец.

– Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

– Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

– Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

– Нормально, – сказал Петр. – Сколько у тебя орденов?

– Два, Петя, и три медали.

– А мы с матерью думали – у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей – одна сумка?

– Мне больше не нужно.

– А у кого сундук, тому воевать тяжело? – спросил сын.

– Тому тяжело, – согласился отец. – С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

– А я думал – бывает. Я бы в сундуке берег свое добро – в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась – не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем, у него есть такая привычка – являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей – конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсе-

евич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами: обождав немного, он сказал:

– Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

– Настька! – окликнул ее Петрушка. – Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками – они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку: стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома – тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвою, незнакомой заросшей дорогой, не домом,

а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша – дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

– Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печь, в которой Петрушка уже разжег огонь.

– Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! – командовал Петрушка. – Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, станковка!

– Сейчас, Петруша, я сейчас, – послушно говорила мать. – Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

– Он ел его, – сказал Петрушка. – Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села – в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугунок со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

– Чего горишь по-лохматому, ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу, как попало, в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по толстому, а надо чистить тонко – зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

– Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, – кротко произнесла мать. – Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очи-

стить, и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

– Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

– Люба, – спросил Иванов жену, – ты что же мне ничего не говоришь, как ты это время жила без меня, как твое здоровье, и что на работе ты делаешь?..

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

– Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном работаю, на прессу, ходить туда далеко...

– Где работаешь? – не понял Иванов.

– На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие выросли? Сами все умеют делать, как взрослые стали, – тихо произнесла Любовь Васильевна. – К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

– Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся – что хорошо, что плохо...

– При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю – что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

– Так, значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

– Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

– Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

– Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

– Ты что, Настенька моя?

– А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

– Чего вы все?.. Настроеным заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось – поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя – с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем – вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставле-

ния матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги и помочь жене правильно воспитывать детей, – тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогаком у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

– Что ж ты, Петр, – обратился к нему отец, – крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

– Поесть все можно, – нахмурившись, произнес Петрушка, – а мне хватит.

– Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, – простосердечно сказала Любовь Васильевна, – а ему жалко.

– А вам ничего не жалко, – равнодушно сказал Петрушка. – А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

– А ты что плохо кушаешь? – спросил отец у маленькой Насти. – Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

– Я выросла большая, – сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

– Ты зачем так делаешь? – спросила ее мать. – Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

– Не хочу, я сытая стала...

– Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

– А дядя Семен придет. Это я оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

– А кто этот дядя Семен? – спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

– Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.

– Как играть? – удивился Иванов. – Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

– Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? – спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

– Они книжки-игрушки, – сказала Настя отцу, – дядя Семен мне вслух их читает, вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрыть, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

– Он старей тебя – Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там, на небе, плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

– Чтой-то облака, – проговорил Петрушка, – свинцовые плывут, из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима станет? Ведь что ж

тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит – к Насте или к его миловидной жене, – но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

– Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай – завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его – дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугунок со щами:

– Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом есть, – указал всем Петрушка. – А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет – скорей карточки на тебя получим.

– Я схожу, – покорно согласился отец.

– Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.

– Нет, я не забуду, – пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

– Как у вас, Люба, с одеждой – наверно, пообносились?

– В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, – улыбнулась Любовь Васильевна. – Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твоё перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать.

– Правильно сделала, – сказал Иванов, – детям ничего не жалеи.

– Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

– Ватник у нее короткий, она ходит – простудиться может, – высказался Петрушка. – Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил, приценился, есть подходящие...

– Без тебя, без твоей получки обойдемся, – сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, уже холодно стало, осень во дворе. Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

– Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..

– А я через очки гляжу, а не в них.

– Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же, я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки – забыла уж, когда занималась!

– А Настя что – учится? – спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету; складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь, и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули, и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро

еще утомился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрапел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться, и он не услышит – пожар, залезут вору-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени – полночь или уже под утро – он не знал, а отец с матерью не спали.

– Алеша, ты не шуми, дети проснутся, – тихо говорила мать. – Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

– Не нужно нам его любви, – сказал отец. – Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, – зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

– Что ты, Алеша, что ты говоришь! – громко воскликнула мать. – Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

– Ну и что же!.. – говорил отец. – У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка, что за человек вырос – рассуждает, как дед, а читать, небось, забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, – подумал он, – пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».

– Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! – сказала мать. А от грамоты он тоже не отстанет.

– Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, – серчал отец.

– Он добрый человек.

– Ты его любишь, что ль?

– Алеша, я мать двоих детей...

– Ну, дальше! Отвечай прямо!

– Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобой только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

– Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

– А кто он по должности, где работает?

– Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

– Понятно. Жулик.

– Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

– Неважно, он взамен другую, готовую семью получил – и бабу еще не старую, собой милovidную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

– Он детям о тебе рассказывал, Алеша, – заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. – Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? – а он отвечал им, потому что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

– Вот он какой у вас – этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

– Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

– Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

– Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, поэтому он такой. А почему же?

– Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

– А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились – размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его – это не так, как ты думаешь...

– Все это чепуха какая-то! – сказал отец. – Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

– Живи с нами, Алеша...

– Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

– Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

– Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

– А вы какие? – с обидой спросила мать. – Что значит – все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет... Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет – и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, – спрашивает меня, – я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала – ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

– Ну, дальше, дальше что? – поторопил отец.

– Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

– Ну что ж, хорошо, если так, – сказал отец. – Пора спать.

Но мать попросила отца:

– Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся, – думал Петрушка на печи, – помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет, обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

– А этот Семен любил тебя? – спросил отец.

– Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать – спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

– Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я, разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

– Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, – по-доброму произнес отец...

– Ну, вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

– Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

– Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

– А он на меня тоже похож?

– Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

– Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

– Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

– Это все равно – куда.

– Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

– Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...

– Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

– И я не стерпела жизни и тоски по тебе, – говорила мать. – А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

– Это кто, опять Семен-Евсей этот? – спросил отец.

– Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

– Ну черт с ним, что он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», – прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

– Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

– Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? спросил отец.

– Один только раз, – сказала мать. – Больше никогда не было. А сколько нужно?

– Сколько хочешь, дело твое, – произнес отец. – Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

– Это правда, Алеша...

– Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

– Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было – пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей не пожалею!..

– Обожди! – сказал отец. – Ты же говоришь – ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

– Я не пропала, – прошептала мать, – я живу.

– Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

– Не знаю, – шептала мать. – Я мало чего знаю.

– Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, – проговорил отец. – Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

– Ну вот я и дома, – сказал он. – Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, пошмищище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

– Четыре часа, – сказал он сам себе. – Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

– Алеша! – добрым голосом сказала мать. – Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал, и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, – догадался Петрушка, – стекол нету нигде».

– Ты руку себе порезал, – сказала мать. – У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

– Замолчи! – закричал отец на мать. – Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась:

– Мама! – позвала она. – Можно, я к тебе?

Настя любила приходиться ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:

– Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

– Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, – ответила мать. – И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

– А вы чего говорите? Чего отцу надо? – заговорил Петрушка.

– А тебе какое дело – чего мне надо! – отозвался отец. – Ишь ты, сержант какой!

– А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, масло Настьке отдает.

– А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? – жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

– Алеша! – кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

– Я знаю, я все знаю! – говорил Петрушка. – Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

– Да ты еще не понимаешь ничего! – рассерчал отец. – Вот вырос у нас отросток.

– Я все дочиста понимаю, – отвечал Петрушка с печки. – Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

– Большую волю дома взял, – сказал отец. – Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

– Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойдешь завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он все говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденным был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

– Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, – сказала мать.

– А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом умирался, не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот

у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была, и еще надобавок Магдалинка была». А сам смеется, и тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась – Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смиренно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было – ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было, и Магдалинка надобавок не было, солдат – сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! – размышлял отец о сыне. – Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлым, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

– Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! – сказал Петрушка сестре. – Где мать-то, на работу ушла?

– На работу, – тихо ответила Настя и закрыла книгу.

– А отец куда делся? – Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. – Он взял свой мешок?

– Он взял свой мешок, – сказала Настя.

– А что он тебе говорил?

– Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

– Так-так, – сказал Петрушка и задумался. – Вставай с пола, – велел он сестре, – дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где оставил Машу, что-

бы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно: значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, – думал Иванов. – Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети: не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед – далеко

ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не попевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у большего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, наполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

1946 г.

Виктор Астафьев

СВЯЗИСТКА

Рассказ

Никакое большое военное сражение не утихает разом. От него, словно от свалившейся в омут булыжины, еще долго расходятся по сторонам волны.

Танковый бой, произошедший в районе Крисановки, южным флангом раскатился аж до Буга, готов был и его перехлестнуть, но по правую сторону реки, на россыпи холмов, русское командование сосредоточило такое количество артиллерии, что она выхлестала и танки, и стрелковые соединения, и все, что шевелилось за рекою.

Остановив отступающие войска на Буге, наши части отбивались от шальных наскоков, налетов и сдерживали так называемую активную оборону противника. Попутно замысливалось не просто остановить, но и обуздать гитлеровцев. Удар на Крисановку они наносили двумя армиями – танковой и общевойсковой с приданными им моточастями, авиацией и всеми средствами, необходимыми для наступления. Крисановку все же немцы взяли на третий или четвертый день, узловой станцией овладели, но развить успех не смогли. И противостояние было уже организовано не так, как в сорок первом году, и непогода захоронила на просторах Украины все, что можно захоронить. Изнеможенные, усталые войска двух армий остались в мешке, заваленном метелью, скорее даже какой-то по-сибирски дикой снежной бурей.

А какие командиры, хоть советские, хоть немецкие, не возмечтают воспользоваться благоприятной обстановкой и отрезать, окружить противника, да и уничтожить! Но после Сталинграда немцы держали ухо остро, вот и стерегли, обороняли фланги изо всех имеющихся сил.

Сказать о Буге в этом месте «река» – язык не повернется. Предчувствие гор, так называемое Прикарпатье, всхолмило землю и задрало ее, отложив по оподолью серую луду, а по руслу реки в беспорядке вымытые камни разной величины. Под скатами берегов и шевелилась черная лента речки с неустойчивыми забережками, перехваченная кое-где бляшками льда, неохотно и как-то совсем вяло шевелясь на перекатах и в шиверах.

Здесь стояло, точнее, рассыпано было по холмам по обе стороны реки село, бесприютное, не по-украински сиротливо-нагое, безрадостное. Оно наполовину выгорело, и лишь по разложинам кое-где темнели кусты да возле остовов еще недавно белых хат там и сям темнели садовые деревца, чудом выжившие, но, может, и обгоревшие до черноты. Правая, более сохранившаяся сторона села смотрелась приветливой, хотя тоже большей частью была голой и зябко ежилась по холмам и пригоркам, выстроившись подобием улицы вдоль Буга. В середине села реку перехлестывал, скорее серой гусеницей переползал, мостик, шибко разбитый снарядами, ошестинившийся ломьем плах, нетолстых скрепов и кривых брусьев из чуть отесанного леса. По мостику густо, разрозненно виднелись бугорки, прикрытые снегом, – это наши убитые солдаты, в основном связисты.

Бригада, в которой воевал связистом Федя Скворцов, поперед многих частей просквозила по тому мостику в ночное время, заняла оборону и утром уже бойко и дружно вела огонь по еще шевелящемуся в снегах немецкому войску. Пурга, снег, густо веявший, временами хлещущий, сугробы наметавший вдоль оград и по-за хатами, да еще пугающе обрывистый Буг помогли нашим частям затормозить противника, затем и остановить. Взвод управления дивизиона ста двадцатидвухмиллиметровых гаубиц, лучших на ту пору орудий на русском фронте, имел и вояк достойных. Ночью же управленцы хитро оборудовали наблюдательный пункт возле хаты со сгоревшей соломенной крышей, сплошь выбитыми окнами, сделав ход сообщения под стеной к бедному, нищенски на бугре скрючившемуся садику из десятка яблоневых, вишневых деревьев и стенкой терновника. Топили печь, сделанную из каменных плит вроде камня, ящиками из-под снарядов, ход сообщения под стенку и сразу к стереотрубе завесили плащ-палаткой, окна тоже загородили, чем могли, и не ахти

что, но все же маленько обогреться можно и горячей водой брюхо повеселить.

Командир отделения связи, большой дока в своем деле, еще за Днепр представленный к званию героя, и, если б не эта зимняя боевая и природная кутерьма, давно бы получил Звезду Героя, ночью же велел проложить две линии, запасную через мост, вторую, через Буг к батарее, выставленной на прямую наводку. «Промочимся же!» – заняли связисты. «А что лучше – мокрым быть или мертвым?» – взвился сержант, и по его вышло, на мосту набито народу вон сколько, да еще славяне, выбегающие на порыв, из линии вырезают куски, чтобы починить свою связь, и нитка через мост почти не работает, разве что в ночное время.

Федя и посейчас явственно помнил, как схватило в груди, когда он с безжильного кислого льда шагнул в воду и быстро, быстро, но чтоб, Боже упаси, не упасть, вовсе не вымочиться, семенил по жгущейся воде, ощущая ее стремительное тут течение икрами, перетянутыми обмотками, подошвами ботинок чутко нащупывая острые, пуще того – гладкие камни.

Когда, буцкая мерзлыми ботинками, звеня льдом обросшими штанами и обмотками, они с напарником ворвались в хату с телефонами энпэ, командир отделения товарищ сержант Ряжов помог им быстренько раздеться, бросил сухое обмундирование и, главное, нагретые валенки, выпить дал, пусть и понемножку. Потом и отдохнуть приказал. Федя с напарником, слепившись спинами, хорошо придавили на ящиках, сделанных вроде нар, с расплющенной на них соломой и сверху прикинутой палаткой.

И ничего, даже кашля не было, сопли только и текли, ну а как здесь, при сопливой зиме, да без всяких вовсе последствий существовать? Батарея за рекой, и не одна, крушила остатки крупного немецкого соединения, вся бригада из села поддерживала ее огнем и всем, чем могла. Снаряды и заряды возили, но чаще на себе таскали солдаты, хлеб, горячий харч – тоже, обратно волокли раненых и связь непрерывную, добрую связь держали с боевой батареей, которая несла большие потери: за трое суток в ней сменилось едва ли не по три расчета.

Сержант Ряжов, человек, конечно, боевой, но уж и беспокойный. Нитка связи через мост давно и безнадежно изорвана, надежда на ту лишь линию, что легла через Буг. И тут отделенный проявил дальнорзоркость, повелев положить на дно речки не наш хиленький провод, который он нехорошо называл советским гондоном, но кусок трофейного провода, добытого в боях. У немцев провод давно уж в прочной оболочке, непромокаемой и жесткой, по нему слышимость что надо, а наш в сырости быстро вянет, промокает, шипенье по нему да всякий треск, как от льняной костры, и больше ничего.

Отделенный держал телефониста на наблюдательном пункте или сам садился к телефону, линейного же связиста гонял как сидорову козу по линии, чтоб батарея за рекой ни на минуту не оставалась без связи.

Метель уже унималась, и бой утихал, когда Федя Скворцов вышел на линию. В селе там и сям догорали хаты, на пути к мосту дымили две подбитые машины, с них порскали горящим порохом артиллерийские гильзы. Тут же на спуске сиротливо темнел остов тридцатьчетверки, на которую и за которой намело снегу. Башня, сорванная рвавшимся боезапасом, лежала почти рядом с покалеченной машиной, до краев набитая снегом, и даже в дуле орудия ватной затычкой белелся снег. Феде Скворцову всегда почему-то было жалко, ровно живое существо, наш подбитый и почти обезглавленный танк. Башня у него в глубоком пазу, ничем не закрепленная, способная вращаться и работать вкруговую. Оно, конечно, хорошо, вкруговую-то, но если б в танке во время боя сидели его творцы, то было б не только хорошо, но и справедливо.

Сержант Ряжов человек, конечно, героический, но, как уже говорилось, очень беспокойный, и никому от него покоя нету. Вот гоняет и гоняет по линии солдат, а чего гоняет? Порыва ж нету. По его же приказанию линию, что проложена через реку, протянули в стороне от дороги, чтобы буксующие машины ненароком не смотали провод на колеса или танки или тягачи не изорвали ее; там, где все же вынуждены были перехлестнуть линией заметенную снегом дорогу, провод глубоко закопали, ладом притоптали, сам товарищ сержант выходил на линию и проверял, хорошо ли закопали, плотно ль притоптали, но вот по работающей связи носись, подсоединяйся, делай проверку.

Оно, конечно, на войне береженого Бог бережет, а разинь смерть пасет, но все же уж и в хате за ветром посидеть охота.

Так вот нехитро рассуждая, связист Скворцов катил по линии и на спуске к Бугу, в наметенном за каким-то хилым заборчиком сугробе увидел копошащегося своо брата связиста. При ближайшем рассмотрении связист оказался девкой. Она держала в руках оборванные провода и пыталась стянуть их вместе.

В рукавички и за ворот ее шинели набило снегу, в обувь, стало быть, в валенки, начерпано. Девушка, чуть подвывая, взнуздывала себя иль еще кого-то: «Н-ну, н-ну-у, ну!». Отдавленный снегом провод в порыве разошелся. Сугроб-то уж больно уютно и плотненько лежал за вкривь и вкось набитыми досками, палками, жердочками, поверху которых и в дырках темнела зябко дребезжащая колючка – от коз проклятых. Здесь, в предгорье, этой скотины было много, солдаты переловили коз, наварили мяса; скотины, которые попрытче, разбежались, а иных и хозяева с собой от войны угнали.

Федя свернул в сторону и сразу увяз в сугробе, но мужик же, воин же, быстро он выбил себя из снега, взял у девушки концы провода, потянул, крикнул: «Помогай!», и вдвоем они чуть даже стянули провода, но не соединили, и тогда Скворцов еще глубже попер в сугроб, рванул колючую проволоку с забора и стал ее ломать. Проволока не ломалась, рвала рукавицы, царапалась. Федя еще раз рванул уже со злом и оторвал одну нить, приступил ее ботинком, вертанул туда-сюда и, отделив конец метра в три, подал его девушке, коротко и властно приказав:

– Делай вставыш. Слышимость, конечно, будет не та, но все же. На обратном пути изладим все ладом, отроем провод.

– Ой, дяденька, у меня руки замерзли.

Пока они возились в снегу у рахитного забора, не сожженного в печке только потому, что здесь, на спуске к реке, много стреляли, рачочка уж три в сугроб плюхались и подбрасывали снег мины, по-злему скрипуче рвущиеся на холоду. Один раз, когда близко засвистело и разорвалось, Федя даже и на девушку упал, вдавил ее в снег, как бы героически прикрыв собою.

– Ну, действуй, я сейчас до моста слетаю, проверку сделаю, если обрыва нет, мигом вернусь.

– Ладно, хорошо, дяденька, – пискнула связистка, держа конец ржавой проволоки в рукавице и ничего, однако, не делая.

В это время опять над ними просвистели мины, и где-то поблизости хрястнуло по мерзлой земле иль грудой развалившейся хате.

– Давай! Давай! – уже на ходу крикнул Федя и ринулся со всех ног по склону.

На мосту валялись клубки изорванной связи, но запасная линия родного дивизиона была в порядке. Подключившись ненадолго, Федя сделал проверку и, зацепив ногой из-под снега оборвыш провода, ринулся назад. По мосту, выбивая щепки, шаркнул пулемет из-за реки, и это прибавило связисту резвости.

Девушка все же сделала вставыш, который Федя тут же отсоединил и бросил подальше, срастив порыв подобранным на мосту концом провода, и только тут он подумал, куда же делась связистка-то? И увидел ее, распоясанную, открыто и как-то безвольно тащившуюся вверх по дороге, по-за нею тянулись темные извивы и кляксами разбившиеся о дорогу пятна крови.

Он ее быстро настиг, подставился, она обняла его за шею, они ускорили ход. Глянув в раскид шинели, Федя увидел, что девушка пыталась перевязать себя, но лишь перехлестнула поверху гимнастерку своим индпакетом, больше у нее ничего не было.

– Как же ты, а? Как же... – задышливо твердил Федя, почти на себе уже волоча связистку. – Неужто не слышала?

– Слышала, но порыв проклятый, – медленно выбивая из себя слова, плаксиво пожаловалась девушка.

– Порыв в порядке. Все я залатал. И счас. Счас вот тебя тоже обходим, тоже, понимаешь...

Он заволок ее в подкопанную избу энпэ, согнал с лежанки ночью дежурившего, дрыхнувшего телефониста и осторожно опустил на солону девушку. Телефонист спросонья начал материться – мол, ногу чуть не оторвал, босяк, но, заметив раненую, буркнул: «Так бы и сказал, а то дергает, дергает», – и вальнул в уголке на остаток пола из мелких, кривых половиц: здесь, в Прикарпатье, не как на остальной Украине, уже были деревянные, не земляные полы в селах.

– Где ее тебе Бог дал? – расстегивая сумку, угрюмо заворчал са-

нинструктор Яшка. – Своих раненых не знаем, куда девать и чем перевязывать.

– Давай уж как-нибудь постарайся, – виновато потупился Федя, а девушка в поддержку ему прошелестела:

– Пош-жа-пош-жа...

Яшка начал раздевать ее, она, загородившись слабой рукой, попросила:

– Бойцы... пу-пусть выйдут... бы-бы-цы...

– Ну, милая, тут не до деликатностей, тут работа идет, война...

Долго возился с раненой Яшка, она все пыталась загородить ладонями живот, Яшка отводил, один раз и отбросил раздраженно ее руки. Федя кочергой выдвинул из непрерывно топящейся печи чугунок с кипящей водой, налил для Яшки кипятку в рукомойник, кружку с горячей водой поднес к губам девушки. Они у нее были обветрены, шелушились остью, их успело когда-то обметать грязно-коричневым налетом. Жадно припав губами к кружке, девушка ожглась, но от кружки не отлепилась.

– Спа-си-бо! – отстраняясь и опадая на лежанку, слабо выдохнула раненая.

Федя оторвал кусочек бинта от Яшкой брошенного на стол белого свертка. Тот от рукомойника покосился на него, но ничего не сказал. Обмокнув кусочек бинта в кружку с горячей водой, Федя вытер губы связистки, стараясь мокрым клочком вычистить грязь из уголков ее аккуратненького рта, попутно и по лицу легонько прошелся, вроде как освежил его, и девушка еще раз, вроде чтобы никто не слышал, шепотом молвила:

– Спа-си-бо.

Приподняв палатку, из-под стены возник начальник штаба, заменивший днями раненного командира дивизиона. Был он в солдатских однопалых рукавицах, под телогрейкой рыжела кем-то, скорее всего сержантом Ряжовым, уделенная безрукавка, но все равно озяб, приморозил руки о железо стереотрубы и, подсунувшись к челу печи, почти сунул их в нагоревшие уголья.

– Это кто? – спросил он у Яшки, кивнув в сторону раненой.

– Да вот Скворцов на дороге напарницу себе подобрал.

– Откуда она?

– Не говорит. Военную тайну сохраняет. Но связисты, трепачи, давно уж подслушали: отдельная это спецчасть, обслуживает штаб танкового корпуса.

– Ну, которые обслуживают, те по линии не бегают, – скривил синевшие от холода губы капитан. – Ты вот что, подготовь раненых, и ее тоже. Из тылов к нам пробивается колонна санитарных машин.

– Есть, товарищ капитан.

Яшка ушел, капитан, кашляя, налил себе кипятку в кружку, достал из кармана таблетку или кубик сахара, пил мелкими глотками и все время косился на Федора Скворцова, дежурившего у телефона, по всему было заметно, хотел к чему-нибудь придраться и кого-то распушить. Но связист в порядке и хитер, бродяга: пока капитан выпил кружку кипятку, раза три проверку сделал, выявляя радение, поругался со связистами на промежуточном пункте, к девушке же, тише мышки лежащей на соломе, не придерешься, телефониста, с ночи храпака задающего, никакой руганью не проймешь, и, высморкавшись в таз под рукомойником, капитан натянул рукавицы, на всякий случай приструнил свое воинство: «Ну, смотрите у меня тут!» – и опустил под стену, нарочно, видать, оставив ход приоткрытым, чтобы не одному ему мерзнуть.

Федя палатку над входом поправил, придавил ее с боков комками земли и катушкой со связью, про себя старчески ворча: «Иди уж, иди, ругай своих разведчиков, оне у тебя рожки поотъедали и от спанья опухли». После чего подвинулся вместе с ящиком телефона ближе к раненой девушке, деловито, как Яшка-санинструктор, пощупал ее лоб ладонью и спросил на всякий случай:

– Ну как ты тут, болезная?

– Ни-ничего. Дайте еще кипяточку, если можно. – Девушка понимала, что на чужом она подворье находится, проявляла скромность в поведении.

Федя вспомнил, что в кармане шинели у него, завернутый в тряпочку, хранится кусочек сахара, он его развернул, обдул и, бросив в кружку, помешал в ней запасным заземлителем. Девушка попила с удовольствием, причмокивая, и даже чуть порозовела лицом, еще раз поблагодарила Федю и прижмурила глаза, начавшие плыть от поднимающегося жара.

– Слышала, санмашины к нам идут?

Девушка чуть внятно что-то ответила и стала впадать в забытье, чем напугала Федю, и, чтобы не дать ей забыться и, как казалось связисту, незаметно и тихо умереть, он начал тормозить ее разговорами:

– Тебя как зовут-то?

– Вика, – последовал едва слышный ответ.

– Это как?

– Ну, Виктория, – уже внятней и даже как бы сердито пояснила девушка.

– А-а, имя городское. Я тоже городской, но с окраины, с рабочей, Мотовилихой она зовется, пермяк я – солены уши.

– Как это? – в свою очередь спросила связистка.

– Ну, слышал я, что в древности ушами звались у нас грибы. А ты чё думала, людям, что ли, уши солили?

Девушка не ответила. Федя склонился над нею, она вся мелко дрожала, и из губ ее, неплотно закрытых, вместе с перекаленным воздухом вырывался птичий звук: «Фик-фик-фик».

Федя снова поднес кружку с уже теплой водой к этим пляшущим и свистящим губам, снова девушка отпила воды, на этот раз почти жадно. «Где этот Яшка, распаскудник, где те долбаные санмашины?» – затосковал Федя и на всякий случай решил проверить, слышит ли чего девушка и вообще какова ее жизнеспособность.

– Та-ак, – протянул он, – имя мы узнали, а фамилия у тебя какая будет?

– Си-си... фик-фик-фик... Синицына, – собравши силы, молвила девушка и, трудно приподняв руку, показала на нагрудный кармашек, заметно оттопыренный, там у нее была красноармейская книжка, догадался Федя и нарочно громко воскликнул:

– Ну прямо птичник какой-то собрался, я-то ведь Скворцов. Ты Синицына, я Скворцов. Ну и молодцы мы с тобою, птахи небесные.

Наговаривая так, Федя стянул с себя шинель и, оставшись в телогрейке, бережно прикрыл раненую, заботливо подтыкав с боков, поискал еще бы чего теплое и содрал шинель со спящего на полу товарища, тот подогнул ноги почти до самого подбородка, пошарил рукою вокруг, невнятно сказал: «Топаз слушает», – и на этом угомонился.

И под двумя шинелями девушка не согрелась, все фикала, все выдувала изо рта жаркую, грудь давящую тяжесть. «Может, мне лечь к ней спиной? – подумал Федя. – От меня теплее». Но в это время в хату ворвался Яшка с двумя бойцами и закомандовал: «Быстро, орлы, быстро, аллюром!»

Связистку не очень бережно сгребли с лежанки, перекатали на носилки. Яшка вынул из кармана девушки красноармейскую книжку и заполнял какую-то бланку, меж делом прикрикивая на помощников:

– Ну чё стоите как пни! Тащите раненого в машину.

Федя, сделав предупреждение по линии, выбежал следом из хаты, помог водвинуть носилки на нижнюю подвеску и еще подумал, что холодно будет Синицыной от пола. Но машина была набита до маковки, по боковым железным скамейкам и на полу хохлились так и сяк сидящие или полулежащие, второпях перевязанные раненые, сплошь в кровавых, где и в грязных бинтах. В машину запрыгнул Яшка, застегнул на девушке шинель и сунул под твердый от грязи отворот шинели заполненную бланку.

– Ну, с Богом, – сказал санинструктор, – тут обстреливают.

И они с Федей и двумя солдатами еще и подтолкнули сзади машину, пробуксовывающую в плохо прикатанной колее. Так вот, буксуя и вихляясь, машина поднялась на холм и, пуская густой дым, исчезла за высотой. Вослед ей припоздало полоснул пулемет. «И ведь видят же, как-то вот видят или слышат?» – недоумевая, сердился Федя и вслух спросил у Яшки:

– Ты-то чего не поехал с ними?

– Много работы, не велено отлучаться. Сопровождающий от санбата есть.

– Один на все машины?

– Да, один на пять машин. Ну ничего, вместе они скорее пробьются, а там уж... – Там уж, верили все бойцы и санинструктор тоже, там спасение и рай земной.

– А не выкинут?

– Чего?

– Девчонку раненые не выкинут из машины? Скажут, померла дорогой, и высвободят место, лежачее.

– Не должны, я предупредил, что проверю, и санбрату наказал,

чтобы доглядывал. А вообще кто знает, не любят окопные землеройки фронтовичек. Пэпэже их зовут.

– Одна-две в части пэпэже, а страдать и отвечать всем, так, что ли?

– Все в руках Божьих, товарищ Скворцов, все в его милостивом веденье. Пойдем-ка чаю попьем и картошки порубаем, я ставил чугунок в печь, заваркой и сахарком у медбрата разжился. Они не чета нам, живут не тужат.

* * *

Картошка выкипела и уже начинала пригорать к стенкам чугуна. Высыпали ее на стол, размяли прикладом карабина крупную соль и только собрались поесть, еще и единой картошки не облупили, как на полу взнялся телефонист, широко зевая, с претензией, чего, мол, не будите, одни себе жрете. Картошка, почти непрожеванная, катилась горячим комом по нутру до самого до низу и уютно располагалась в брюхе. Хорошо!

А назавтра в этой самой хате, где располагался командный пункт, на той самой лежанке, с совсем уже расплющенной соломой лежал, дожидаясь санобоза, и Федя Скворцов. Ранило его на той самой запасной линии, что пролегалась по мосту и которую связисты неприязненно звали пожарной линией. Мост был избит, развален, перила его там и сям болтались и под ветром скрипели на гвоздях и скобах. Трупов за последние дни на мосту прибавилось, будто замерзшее болото в неровных кочках был тот мостик. Никто мертвых не убирал и не хоронил даже ночью. Некогда. Все делом заняты. И не уберут. Кинут на мирное население: коли кто-то сюда вернется, по весне вынужден будет вытаскивать, разбитые трупы закапывать.

И у боевой бригады артиллеристов вот-вот перемены наступят, новое движение начнется, на этот раз на юг. Военная тайна, конечно, великая штука, но от связистов никак ее не убережешь. Радист получил сообщение, что совсем и недалеко наши войска загнали в голостепье и зажали там вражескую группировку. С осени замешкались немцы на Днепре и начали отступление почти зимою и вот попали в ловушку. Войска сосредоточиваются вокруг котла добивать противника, и тут уж никак без гаубичной бригады эргэка не обойтись. А и хорошо оно, уйти надо с этого неприятного, заваленного

трупами моста, который немцы прошивают днем и ночью длинными очередями иль дорубают его минами и снарядами. Сколько и сколько этот дежурный пулемет подавляли и докладывали, что все, капут, подавили, а он снова вдруг заявит о себе, прихватит парней на мосту, ладно, если на исходе его, тут мигом вались вниз, в сугроб, но коли на середине прихватит, тогда, куда деваться, ложись и молись, если Бога не забыл. А пулемет у немцев не наше горе, не таратайка на колесах со времен кинофильма «Чапаев» прославленная. У немцев пулемет на сошках, стволице в оглоблю, в ленте пятьсот патронов, и он как врежет очередь, так уж очередь получается, а не бабий пердѣж врассыпаловку, что выдает прославленный «Максим» иль «Дегтярев» с диском в пятьдесят патронов. Из них, из наших пулеметов, хорошо стреляют – врага, что траву косят – только в кино.

Вот так вот примерно размышлял Федя Скворцов, мчась по «пожарной» линии связи на очередной порыв, и прихватило его очередью аккурат посереде моста. Он видел, как шла эта очередь по мосту, всплескивая султанчиками белого снега синие огоньки, которые, будто с лесной герани, лепестками осыпались, если на пути пуль встречались скобы, гвозди, костыли и всякое крестьянину доступное железо, которым он постепенно облепляет старый мост, починяя и укрепляя его каждую весну, видел Федя, как из трупов, давно здесь покоящихся, выбивало серое лоскутье и что-то багрово-белое, мясо, должно быть, и косточки человечьи. «Господи! Спаси и помилуй!» – взмолился Федя и упал брюхом на бревешки, попытался вдавиться в пролом. Как ударило снарядом, так три бревешка проломилась и просели на крестовины моста. Вот в этот пролом и вдавился тощим брюхом, головою, грудью связист Скворцов. Но ноги-то куда девать? Ноги и руки, нужные в деле, в работе, под пулями лишние – некуда их девать. В ногу и попало Феде, слава Богу, пока в одну. Сперва его раза два дернуло за взгорбившуюся на спине шинель, в крошку разбило ящичек телефонного аппарата, съехавшего на спину же, потом вот и ногу дернуло. Феде помстилось, что кто-то из связистов, балуясь, накинул на ногу провод петлею и дернул его, шуткуя. Блажь, конечно, нелепость, но чего с испугу не войдет человеку в голову.

Федя Скворцов, боец опытный, битый – до этого два легких ранения получил, убитых и раненых навиделся – не запаниковал, не

задергался, хотя в ботинке начало жечь, нога перестала шевелиться и слышать себя. Он дождался, когда уймется пулемет. Вылез из своей нечаянной, ненадежной ухоронки и пополз, стараясь прижиматься ближе к бревенчатому брусу, под которым и которым скреплялся настил моста, но уж из бревешек потоньше. В одном месте уцелел пролет перил. Федя взял себя, перебираясь руками, заспешил к своему берегу, да не больно спешилось, как-то неловко вывернулась и не шла, волоклась нога, оставляя за собой красную борозду.

Привыкший бегать по линии, а мост даже и пролетать, он долго сползал к дороге, какое-то время еще и по дороге полз. Как нарочно, никакой нигде твари нету, ни тебе несчастного, одинокого связиста, ни тебе посыльного иль шалого, всегда вроде бы пьяного разведчика. Он увидел под забором торчащий из сугроба кончик колючей проволоки. Былинку пустырной травы она напоминала с двумя острыми лепестками. Узнал это место Федя, заполз во двор разбитой хаты, потом и в хату влез, точнее, в короб стен, оставшийся от хаты.

Здесь велся народ, чей-то энпэ располагался, но чей – разузнавать времени не было. Он попросил молодого лейтенанта послать кого-нибудь к мосту, где под первым пролетом, настелив под задницу будыльев, на промежуточном пункте дежурили два связиста, пусть один прибежит и ему поможет. Ребята, тоже артиллеристы, но малокалиберные, на скорую руку перевязали Скворцова, дали глоток водки из фляжки глотнуть. Тут и связисты примчались. Оба. Радехоньки, что причина нашлась смыться хоть на время от гибельного моста и погреться возле печки, может, и пожрать чего-нито. Тем более, что они слышали, будто ночью к нашим пробился тягач, на нем хлеб, водка, концентраты пшеничные, ну все, чего душа ни пожелает.

Тягач в самом деле приходил с каким-то пакетом и попутно привез несколько мешков сухарей, ведро сахара и рюкзак махорки, насчет водки, концентратов, других всяческих разносолов и разговору не велось.

Яшка долго возился с Федей Скворцовым, укол от столбняка сделал, ботинок порезал, штаны до колена располосовал, со словами «больше не понадобятся» брезгливо бросил скомканные, грязные обмотки в печку. Связисты с промежуточной во всю силу, будто кони овес, хрумкали сухари, устроившись возле чела печки. Яшка принес в

кружке горячего чаю, разломил напополам сухарь об колено и сказал Феде:

– Поешь и попей маленько. Тебе это необходимо.

Потом появился сержант Ряжов. Покачал головой:

– Совсем людей мало осталось. Опытных – единицы. – И попер связистов, швыркающих кипятков возле печи, на свою, на законную, точку. Затем капитан из-под стены возник, снова грел руки и косился на Федю Скворцова.

– На мосту? – спросил, чтоб хоть о чем-нибудь говорить.

– На мосту, товарищ капитан.

– Ах, этот проклятый мост, сожгли б его уж, что ли. – И обратился к Яшке, кивнув в сторону Скворцова: – Что у него?

– Да и ранение вроде бы невелико, но препакастное, перебито сухожилие, тронута лодыжка. Парень, считай, что выбыл от нас навсегда.

– Ну что за место клятое? И боев-то настоящих не было, а народу потеряли дополна. Скоро санитарная-то будет?

– После обеда обещали, товарищ капитан.

– После обе-езда, они там все обедают и водку пьют.

– Нашу, – поддакнул сержант Ряжов.

– Может, и нашу. Яков, всех раненых сопроводить, в целости доставить. – И подал руку Феде: – Ну, Скворцов, прощай, хорошим ты связистом и помощником был. – И, увидев, как бледный лицом раненый, недавно переживший потрясение, проливший кровь, заплакал и закрылся рукою, растерянно потоптался возле лежака: – Ну, ну, чего ж плакать-то? Не маленький и не из рая, а из ада выбываешь. – Хотел еще что-то добавить.

Феде показалось, капитан хотел покаяться за то, что крут бывал, орал, не подбирая выражений, разика два по голове трубкой бацкнул, один раз пинкаря под жопу дал. Горячий, еще молодой человек, а ответственность на нем какая – тут и заорешь, и запинаешься. Ничего более не сказал командир дивизиона, махнул рукой, натянул рукавицы и опал в подкоп, прошуршал плащ-палаткой и на этот раз не оставил вход полукоткрытым, тщательно прикрыл палатку. «Это чтобы мне, раненному, не дуло», – подумал Федя и снова заплакал от умиления и жалости к себе. Сержант Ряжов приказал не раскисать, держаться и

катнул на лежанку облупленную горячую картофелину, да еще самолично и посолил ее.

– Ох-хо-хооо, доля солдатская, – молвил он в пространство и какое-то время смотрел неотрывно вдаль, вроде бы как сквозь стену. В эту минуту полного отрешения своего командира Федя подумал, что сержанта скоро убьют, но впоследствии, на встрече ветеранов артбригады, узнал он, что сержант Рязов погиб не скоро, погиб уже в Германии при штурме Зееловских высот.

* * *

В санбате Федя Скворцов пробыл недолго и в каком-то отдалении от себя, как бы в полусне. Перед эвакуацией в тыл вдруг попросил сестричку, что ставила ему уколы и давала порошки, нельзя ли узнать что-нибудь про Вику, Викторию Синицыну.

– Ой, тут такой поток раненых был, такой поток. А она кто тебе?

– Напарница по телефону.

Сестричка была сообразительна, просмотрела журнал с регистрацией умерших в санбате и похороненных поблизости.

– Средь умерших Синицына не числится, а к эвакуации назначенных такие списки, такие бумажные дебри, что в них не вдруг и разберешься, но я постараюсь. Как ночное дежурство выпадет, так разузнаю.

Но поток раненых – поток! – слово-то какое жуткое, никто его и не осознает до конца – не прекращался. Санбат работал с большим напряжением и перегрузом. Мест не хватало. Связиста Скворцова метнули в ближайший госпиталек, тоже переполненный. Там ему сделали рассечение на ноге, обиходили, прибрали, костыль дали, чтобы сестрам его не таскать на носилках. К этому времени Федя совсем очнулся, вышел из какого-то вялого, полусонного состояния. Но, как погрузили в поезд, он под стук колес, качаемый будто в люльке, снова начал спать беспробудно. Нога «отходила», и весь он отходил и начал слышать боль не в чужом как будто теле, но в своем, родимом, ему велели поменьше шевелиться, ходить в туалет только по большой нужде, но скоро он ни по какой нужде не мог слезть с полки, шибко его, как и всех парней, угнетало, что девушки, сплошь ладные и красивые,

вынуждены убирать из-под него. Будучи человеком стеснительным, он старался все свои неуклюжие дела справлять ночью.

А ехали долго, в настоящую заснеженную зиму въезжали, в глубь России двигались. Дорогой раненых распределяли по госпиталям, понемногу разгружались, и, когда подъехали к Уралу, Федя Скворцов набрался смелости на обходе, попросив врача:

– Меня, если можно, выгрузили бы на Урале, если, конечно, можно.

– А где именно на Урале-то?

– Хорошо бы в Перми, я оттудова родом, и все наши там живут: отец, мать, сестры.

Но с Пермью ничего не вышло, Федю на носилках перенесли в другой поезд, и оказался он в Соликамске, аж на севере области, зато на родном Урале, где и воздух, и виды природы, и даже дымящие трубы были привычны, целительно действовали на человека.

Приезжала в Соликамск мать, плохо одетая, с чернью металла, впившегося в руки, привезла скудные гостинцы.

Его оперировали, и не раз, но, видимо, дело не шло на поправку, и отвезли его все-таки в Пермь, большой город, где профессор в позолоченных очках осматривал Федю, больно давил беспощадной рукой раненую ногу и назначил его на операцию.

Уж тополя городские в лист пошли и под застрехой госпиталя суетились и щебетали ласточки-белобрюшки, творя потомство, когда профессор, Матвеев по фамилии, откровенно сказал раненому Скворцову:

– Все возможное мы сделали. Комиссуем тебя домой и на нашей госпитальной машине отвезем в родную твою Мотовилиху. Будешь какое-то время ходить с палкой, потом, даст Бог, и выбросишь ее.

Нет, не выбросил, то ли привык к своей опоре, то ли хромая нога так до конца и не излечилась, но и жил, как инвалид, и работал, как инвалид, в инструменталке военного завода, прыгая около стеллажей с разными необходимыми производству инструментами и железяками. Тут и женился на местной девушке, перешел жить в ее дом, от которого по пологой луговине в овраг спускался огород.

Ох, если б не этот огород, не баба крепкой рабочей кости и ее суровые, но дельные родители, пропадать бы пришлось и Феде, и двум

его девчонкам, которые как-то сами собой изладились и выскочили на свет белый невесть откуда.

И везде: в санпоездах, в госпиталях, среди инвалидов, толкущихся в приемных разных комиссий, даже будучи в доме отдыха, в Краснокамске, – Федя Скворцов осторожно интересовался насчет Синицыной Вики. Очень ему хотелось узнать, жива ли она, и если жива, то как ее судьба сложилась. Один большой, много знающий человек надоумил Федю написать в Москву, в медицинские архивы, и оттуда пришел радостный ответ, что да, такая Синицына Вика, Виктория Александровна, излечена и проследовала на местожителство в Ярославль. «Вот и хорошо, вот и славно», – думал Федор Скворцов, и одно только сомнение было в нем, Яшка-санбрат говорил, что рана у Вики широкая, но не очень опасная, сбросило вместе с мясом кожу с ребер, задело живот, так вот, как она, бедная женщина, будет таить такие шрамы от жениха, не поморгует ли он, не отвернется ли, не обидит ли бедную женщину с таким красивым именем.

На этом и сошла с колес память о войне. Казалось, кто-то другой там был и действовал. Лишь в каком-то туманном полусне, опять же в отдалении, виделся ему иногда белый сугроб с полосами от пожара и пороха, девушка, роющаяся в снегу, и парень, молодой, бравый, хотя молодым он бывал, но бравым никогда, тем паче в тех изнурительных боях, но как виделся, так и виделся. Парень тот бравый с шутками-прибаутками помогал раскрасавице связистке починить линию, и она исцарапала все руки колючей проволокой, пока соединила порыв, а ведь у него приструненный к поясу под шинелью был конец провода, прихваченный на всякий случай. Отчего же он не отдал свой провод-то в беду попавшему человеку, тогда, глядишь, и не поувечило бы ее, и не мучилась бы она под чужими мужицкими глазами.

Вот этого Федор Сергеевич Скворцов, сколь ни тужился, ни понять, ни простить себе не мог.

Ноябрь – декабрь 2000 г.

Академгородок

Константин Воробьев

НЕМЕЦ В ВАЛЕНКАХ

Рассказ

Тогда в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте – близ проволочных изгородей проклеывалась трава, и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, кого-то выискивал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.

Мы – сорок шесть пленных штрафников – сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, – эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову и кого и для чего он тут ищет! Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят... Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов, – он был доходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки, – окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее, меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.

Я уложил Ивана и полез с нар. Там и пространства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел отки-

нувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановился слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул – выругался, наверно, – и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженными пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, – мы знали, что охранники и конвоиры особенно усердно били доходяг, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонал.

– Шмерцт ништ?¹ – спросил немец и посмотрел на меня странно: в голубых глазах его, опущенных белесыми ресницами, было неверие, удивление и растерянность. – Ду люгст, менш!² – сказал он. Я понял, о чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, – я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого – если ты в плену и тебе двадцать два года – главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и чем закончится, и я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, о чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддерживая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез рукой в правый карман брюк. Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился, – начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и, когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, и я побарахтался сам с собой и сел на край нар. В бараке было очень тихо и холодно. Наверно, Воронов видел, как я подходил к немцу, и теперь сам двигался к нам тем же приемом, будто плыл. Он глядел мне в лоб, – может, ориентир наметил, чтоб не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешанно-блестящие. Немец не замечал Воронова, пробуя склеить

¹ Не болит? (нем.)

² Ты лжешь, человек! (нем.)

сигарету, – я поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел, табаня то правой, то левой рукой. Я не знал, что замыслил мой друг доходяга. Управившись с сигаретой, немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукой, как кот лапой, – перед своим носом, а затем уже крикнул:

– Цурюк!

– Иди назад! – сказал я Ивану.

– А... ты? – за два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами.

– Я тоже приду, – сказал я.

– А он? Чего он?

– Форт! – крикнул немец и махнул рукой перед своим носом.

– Иди к себе! Скорей! – сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала, – наверно, камушек истерся или бензин иссяк, и он все клацал и клацал, не упуская из вида Ивана, – опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по-собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким – на исходе – голосом сказал: – Хрен тебе... в сумку.

– Вас вюншт дизер феррюктер?³ – спросил немец. Возможно, он произнес не эти слова, – я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свой кадык:

– Он просит пить.

Немец наморщил лоб, глядя на мой рот, и понял:

– Вассер?⁴

– Да, – сказал я.

– Бекомт ир денн кайн вассер?⁵

– Нет, – понял я.

– Шайзе! – негромко и мрачно выругался немец, а Иван попросил меня рвущимся подголоском:

– Саш, скажи ему... хрен, мол, в сумку!

³ Чего хочет этот сумасшедший? (нем.)

⁴ Вода? (нем.)

⁵ Вы не получаете воды? (нем.)

Он сулил ему не хрен, а совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой, я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась, потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на ней надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умалилась до половины, а я подумал, что Ивану хватит «тридцати», и затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было – осел там, во мне. Барак, нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаваясь, прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта:

– Саш! Двадцать... Ладно?

– Ецт вилл эр раухен?¹ – спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удивленно выругался. Я решил, что проход – в нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага! – надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговой темп и меня не уведет в сторону. Воронов ожидал меня не меня позы, только растопырил указательный и средний пальцы правой руки – приготовился. Я вложил между ними окурки и подождал. Иван затянулся и зажмурился, – поплыл, наверно, вместе с баракком, и тогда я оглянулся на немца. Он некоторое время смотрел то на мой лоб, то на ноги, потом позвал, но не пальцем, как раньше, а в голос.

– Алле зинд да флюхтлинге?² Ком-ком? – спросил он и посеменял по доскам нар короткими пальцами, поросшими медным ворсом.

– Все, – сказал я и сел на свое прежнее место. – Только не в одно время и из разных лагерей.

Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, наверно, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, а ступни обжать ладонями, чтобы затушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул.

– Шмерцен? – спросил немец.

– Ну, болят, болят! – со злостью сказал я. – Тебе от этого легче, да?

Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него.

¹ Он хочет курить? (нем.)

² Все здесь бежавшие? (нем.)

– Теперь тебе легче, да? – спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках, не опуская ног, и сказал торопясь:

– Их бин бауэр, ферштеест? Ба-у-эр. Унд ду?³

Из военного словаря мне было известно, что такое «бауэр». Ну конечно! Он должен быть этим бауэром, и никем другим. Они дуют пиво – «нох айн маль»⁴, – жрут желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой!.. Я не знал, что он задумал по теплыни, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос.

– Их бин ба-у-эр! – как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец. – Унд ду?

Может, потому, что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком.

– Шумахер? – догадался немец.

Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал, моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина: пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица. Оно было тяжелым и напряженным.

– На, аллес, – сказал он. – Цайт цу геен!⁵

Пленному полагалось двигаться впереди конвоира, шагах в шести. Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать, – не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь. Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если несся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и примерно в двадцати, если кидался в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определяла залагерную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и не бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести, и ясно, почему беглец выбирал правую сторону, если не счи-

³ Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? (нем.)

⁴ Еще раз (нем.)

⁵ Ну все, пора идти! (нем.)

тать, что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком...

Я так и пошел к выходу, – впереди немца, но он сказал: «Момент», и я задержался, а оглядываться не стал, чтобы не видеть глаза Ивана. Немец поравнялся со мной, и мы пошли рядом, – я, табаня то правой, то левой рукой, а он врозваль, морщась и глядя на мои ноги. У дверей в цементном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропой доходяг. Мы там споткнулись одновременно, и немец выругался резко и коротко, а я длинно и, наверно, заклинаяще, потому что он притих и прислушался. Мне нужно было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распрямились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых.

– Что ты там бормочешь? – подозрительно, вполголоса спросил немец. – После этого не болят, да?

Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было не к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болезненно, и, наверно, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе оглядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего я не понял.

– Их хайсе Вилли Броде, – сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь. – Унд ви ист дайн наме?¹

Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и не торопясь, врозваль ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спросил:

– Чего он хотел, а?

– Не знаю, – сказал я. – Может, вернется.

– Хрен ему... В сумку.

Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь день и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступить колдобину и встал у дверей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьем

¹ Меня зовут Вилли Броде. А тебя? (нем.)

приемом – спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нар загородил меня от немца. Он и загородил, но немец в это время по складам сказал: «Алек-шандр», и я уложил Ивана и полез с нар. Немец стоял у дверей – коренастый, неподобранный и рыжий, как одуван в запретной черте нашего лагеря. Наверно, ему хотелось зачем-то, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте, – смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать.

– Моен, – невнятно и мрачно сказал немец. Я не понял, что это значило, и промолчал. Он оглянулся на дверь – крадучись и опасно – и сунул правую руку в карман френча. Теперь трудно сказать, что из того вышло б, если бы я сделал то, о чем подумал в эту минуту: у немца отсутствовали глаза и правая рука; в колдобину он упадет плашмя и я тоже, но сверху, на него...

Но это не случилось.

Он дважды сказал: «Нимм»², а руку держал перед собой, – видно, хотел, чтобы я полез через колдобину, как вчера. Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался.

– Ду хае гут гефрюштюкт, я?³

Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и протянув ко мне руку, и я различил маленький квадратный пакет из серой бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важность хлеба, его скрыто-живую телесную теплоту. Немцу б надо было уйти тогда, чтобы я отнес хлеб на нары и там посидел бы и как-нибудь сладил – справился с собой, со всем нашим пленным обруганным миром и с ним – охранником-бауэром в наших валенках без голенищ. Ему б уйти, но он обиженно-ожидающе смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака – недаром же он сам оглядывался туда!

– Ах, менш!

Он по-кошачьи махнул рукой в сторону дверей, перешагнул колдобину и подтолкнул меня к пустынным нарам, – пленные ютились в

² Возьми (нем.).

³ Ты хорошо позавтракал, да? (нем.)

глухом конце барака, дальше от дверей. Мы сели и разом подобрали ноги. Я ощущал изнурительный запах хлеба, край пакета высовывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему.

– Нун, вас вартест ду нох? Ис дайн фрюштюк!¹ – сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону дверей.

Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять. Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык.

– Шмект эс?²

Ему не надо было это спрашивать: не мог же я раболепно соглашаться, если ел так безразлично и лениво.

– Гут? – не унимался немец.

– Ну гут, гут! – сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе.

– Не дури там! Я помню! – сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подравнял еще немного углы и, когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман.

– Цу миттаг?³ – недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван.

– Да. На абенд.⁴ Мне! – подтвердил я, поторкав себя в грудь. Немец сказал: «Зеер гут», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда.

Нам пора было идти – немцу к себе, а мне к Ивану: тому хватало

¹ Ну чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак! (нем.)

² Вкусно? (нем.)

³ На обед? (нем.)

⁴ На вечер (нем.)

окаянства и без этого ожидания. Но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, – и царапно-кошачий взмах руки, и соломенная желтизна волос, и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохой стрелок: при нем, если броситься вправо, можно остаться живым...

Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам лет, – немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно пробираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они и не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя парами глаз больших, исступленных и гневных, как у святителей на церковных картинах, не потолкуешь!

– Чего он опять, а? – спросил у меня Воронов.

– Не знаю. Хлеб вот дал, – сказал я. Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, уткнувшись лбом в нары, будто молился. С этой минуты я стал ждать конца дня и исхода ночи: очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части, следующий снова на четыре, потом опять и опять...

Вилли Броде пришел в свое время. Он позвал меня от дверей и проворчал: «Моен». Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд – не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съел ленивей вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги.

– Поставь их сюда, – показал я на нары. Он понял и уселся, как я: составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями.

– Теперь легче, да?

Он отрицательно качнул головой, снял с левой ноги опорок, затем стащил серый, под цвет френча, шерстяной носок, и я различил там белесую копошащуюся россыпь.

– Лойзе⁵, – объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно.

– Ничего страшного, – сказал я. – У меня тоже есть.

– Филь? – оживился он.

⁵ Вши (нем.)

– Хватает, – сказал я.

Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливы.

– Тебе их отрежут, – сказал я, потому что тут ничего нельзя было поделывать. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли опять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал, – может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал:

– Тебе их оттяпают к чертям собачьим! И мне тоже оттяпают, мать его в плен, в войну, в стужу и в бурю!

Наверно, он по-своему понял этот мой причет, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы расползлись в улыбке, и он лапнул и потерял мое плечо. Ушел он бодрей, чем вчера, – может, перестало щемить? Я проводил его до колдобины у дверей, и он кивнул мне и что-то сказал, – возможно, обещал приход назавтра.

Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю – половину вчерашнего а остальное понес в конец барака. Тут дело было не в «святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении», – для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче – просто я знал, что после разового укуса хлеба доходяга оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего. Я это знал и нес хлеб – по разовому укусу – первым двоим доходягам. Возможно, так нужно было сделать сразу, вчера еще, но... все ведь видели, как это получилось у немца, у меня и у Воронова – моего напарника по побегам и нарам. Вчерашний день поминать нечего. Нынешний, тоже не в счет. А завтра хлеб получают «свежие» четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще, – мало ли сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку!..

Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почему-то на ладонях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военинженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин – в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, на-

зывался военинженером и ютился немного обособленно, в углу, – мы так захотели сами. Он сидел опершись на руки, подавшись к краю нар, и сумасшедшими святительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, срывным западающим голосом крикнул пленным:

– Товарищи! Помните, что я сказал... Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить! Крепитесь, товарищи!

Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял хлеб.

– К охранникам подлизываешься... Сволочь!

Это сказал не староста, а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мне в лоб.

– Ну чего ты? – спросил я и разломил хлеб на две части. – На! Ешь! Ну чего остолбенел?!

Он зажмурился и взял хлеб.

Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустынно. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он даже простился со всеми, кроме нас с Иваном, но этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Вилли Броде, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни «Вы жертвою пали» и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил за чем-то Ивана и полез с нар. К Тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде «смирно».

– В нечаянные мученики собрался, товарищ военинженер? Или в посмертные герои? – спросил я. – Ничего у тебя не выйдет... Остаешься тут! С нами! Выше старосты не подымишься!

– Иди и делай свое черное дело! – шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел унтера Бенка и фельдфебеля Кляйна из комендатуры, – кто ж их у нас не знал! Между ними, в середине, шел Вилли Броде. Мундир на нем был распахнут, и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли:

– Дизем?¹

Вилли поспешно и громко сказал: «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам.

– Дизем? – показал Кляйн на Тюрина. Я не услышал, что сказал Вилли: Бенк шагнул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрин упал на нижний ярус нар и по инерции проехал вглубь, к стене.

– Брот брал я! Их! – сказал я фельдфебелю Бенку, и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. – Тот человек не ел! Это я один! Их!

Кляйн брезгливо, тыльной стороной ладони ударил Вилли – и тоже по рту, – а на мой затылок Бенк обрушил что-то тяжелое и кругло-тупое, как бревно. Я упал на пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, как уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, а они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижатыми к бокам...

Вот и все.

Между прочим, Иван Воронов остался жив.

Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отмороженные пальцы ноют по весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя слева и справа...

1966 г.

¹ Этому? (нем.)

Виктор Некрасов

МАМАЕВ КУРГАН НА БУЛЬВАРЕ СЕН-ЖЕРМЕН

Рассказ

Начало – более чем идиллическое. Весна. Апрель. Первое после дождей запоздалое солнышко. Зеленое кружево платанов на бульваре Сен-Жермен. Парижане высыпали на улицу, расселись за столиками кафе. Что-то потягивают. Среди них и я. Греюсь. Тяну пиво. Разглядываю прохожих.

Друзья из родных краев, кое-кто и осуждает. Развалился, мол, на соломенном стульчике, покуривает. В Москве за такую кружку пива битву выдержать надо, настоявшись в очереди, если удастся где-то на окраине бочку обнаружить. А потом – никакой тебе не стульчик, а отходи в сторонку, сдувай пену, ругай себя, что сразу две не взял.

И мне чуть-чуть совестно. И все же сижу себе и посасываю, покуриваю, млею на солнце.

Происходит это в кафе «Аполлинер», в двух шагах от древней колокольни Сен-Жермен-де-Прэ, когда-то, в мушкетерские времена, большого монастыря, от которого сохранилась только церковь. Я люблю это кафе не только потому, что оно носит имя любимого французского поэта – его маленький и очень некрасивый бюстик, изваянный Пикассо, стоит в скверике возле церкви. Люблю еще и потому, что на противоположной стороне бульвара стоит милый моему сердцу дом под номером 137. Гранитный его фасад с пилястрами словно перенесен из Ленинграда, с Каменноостровского проспекта, ныне Кировского. Таких там много, с красно-коричневыми каменными фасадами, такими же пилястрами, гирляндами, женскими головами. Начало века, первые работы прославившихся потом Щуко, Белогруда, Лидваля.

Такой, лидвалевский, дом чудом сохранился и на Крещатике. На первом этаже контора АПН, которую «держал» всеобщий любимец Сева Ведин, «хозяин Крещатика», как звали его друзья. Там всегда можно было застать и их и побаловаться рюмочкой-другой, отведать селедочки – рядом магазин «Рыба», куда Сева, как свой, заходил со двора. Вот и его, приветливо улыбающегося, с вечной шуткой на устах, увы, покойного, вспоминаю, сидя за мраморным столиком, покуривая, вздыхая...

Весна... Пожилой небритый садовник меняет круглые решетки у молоденького, недавно посаженного платанчика. Работает старательно, что-то прилаживает, как будто не для фланирующих бездельников, а для самого себя. Что-то не получается, потащил тяжеленный сегмент решетки через улицу, лавируя между машин. Приволок другую. Бросил на землю. Я не отрываю от него глаз, поражен добросовестностью. Обеденный час, парижане жуют свои салаты, запивают панаше, а он все трудится. Опять куда-то ушел. Вернулся...

Приволок откуда-то – и я обомлел – киркомотыгу! Стал землю разрыхлять.

Киркомотыга... Милая, дорогая, сколько же лет я тебя не видел? Тридцать, сорок? А если не полениться, подсчитать, то сорок четыре, со времен Сталинграда.

Не было в Сталинграде ничего более ценного, чем она. Не автомат, не диск, не патроны, не даже ушанка, валенки или заячьи рукавицы, а именно они – лопата, топор и киркомотыга – бесхитростное счастье сапера. Их воровали друг у друга, за ними охотились, хранили как нечто самое дорогое.

Саперную большую или малую лопату знали больше по картинкам из наставления по инженерному делу – их было только две на всю дивизию – в штабдиве и, чудом, у меня, полкового инженера 1047-го полка. Как я ее раздобыл – умолчу.

Главное дело полковых саперов – землянки, блиндажи. Дела посерьезнее – минные поля, проволочные заграждения, это уж обязанность дивизионных саперов. Впрочем, кроме спирали Бруно, ни одного классического проволочного заграждения на кольях я ни разу за всю войну не видел. Даже у немцев, таких аккуратистов.

Землянок же и блиндажей нарыли мои саперы за зиму и не считаешь. И в крутом волжском берегу, в виде штолен, обложенных бревнами, и полегче, в откосах оврагов, в один, иногда в два наката, в зависимости от каприза начальства.

Топоры были на особом счету. Лопаты в основном колхозные, непрочные, ломкие, ржавые, с левого берега. Настоящая, большая, саперная, с удобной, длинной, гладкой, без заусенец ручкой, с крепким стальным полукруглым, чуть изогнутым лезвием как некий раритет – кстати, она была немецкой, трофейной – хранилась в углу нашего с командиром взвода блиндажа и выдавалась только для особо важных заданий, под расписку – головой отвечаешь.

А вот с киркомотыгами происходило всегда что-то непонятное. Они то появлялись, то исчезали, и вечно из-за них происходили скандалы.

Один из них до сих пор в памяти, как будто вчера произошел. Утром того дня командир взвода Кучин – ловкий, хитрый пройдоха – раздобыл для нас аж пять киркомотыг. Это было великим событием. Как всегда, разведчики пронюхали, где и когда разгружается катер «Ласточка» с инженерным имуществом, и Кучин оказался там первым. Набрал противопехотных мин, спирали Бруно, но главное – пять киркомотыг. Подарок!

Штолен, как в первые дни обороны, мы уже не рыли, нас перебросили в овраг Долгий, но грунт был мерзлый, колхозные лопаты ломались. Кучин сиял.

К вечеру еще один подарок – пополнение. И тоже он оказался первым, отобрал ребят пожилистей. Среди них запомнился мальчонка Федя, фамилию забыл. Совсем молоденький, розовощекий, похожий на девочку. Но работник, землекоп оказался на диво – неутомимый и безропотный.

Взвод наш к тому времени – стоял январь, морозный, скрипучий, последний месяц сталинградской войны – малость поредел. Пополнение, пять человек, было в самый раз. Стало нас двенадцать – давно такого не было.

Вечером Кучин выстроил новичков перед землянкой. Их приодели, выдали телогрейки, стеганые штаны, валенки, меховые ушанки.

Вид стал вполне боевой. Кучин, заложив руки за спину, ходил важный взад-вперед, читал нотацию:

– Бойцы Красной Армии, а вы сейчас бойцы не какой-нибудь, а прославленной 62-й армии, которая насмерть стоит на этом берегу Волги, должны помнить с утра до вечера, и ночью тоже, что вверенное вам имущество священо. Это государственное имущество, и беречь его вы должны, как собственную голову. Выдается вам сейчас каждому по киркомотыге. И расставаться с ней вы не имеете права никогда. Кто потеряет, лучше на глаза мне не показывайся. Убью. На месте. И домой отпишу, старикам, что не оправдал надежд сын ваш. Погиб бесславно. Ясно? Вопросы есть? Нет? Получайте по инструменту и берегите, как невесту ненаглядную. А теперь – кругом, шагом марш в расположение.

Насмерть перепуганные мальчишки затопали, крепко вцепившись в рукоятки своих «невест».

Прошло какое-то время, недели две, пожалуй. Сидим мы как-то с командиром пешей разведки Ванькой Фищенко, пьем. В последние дни на передовой стало совсем тихо, заданий новых нет, все нужные НП для командира полка сделаны, можно и расслабиться. Расслабляемся.

Вдруг в дверях появляется усатый помкомвзвода Казаковцев. Встревоженный.

– ЧП, товарищ начинж. Лейтенант Кучин просит вас в расположение срочно прийти.

Иду. Фищенко тоже пошел. В землянке саперов накурено, не продохнуть. Кучин, красный, злой, сидит в кресле – раздобыли солдаты где-то в руинах барское, с гнутыми ножками, очень им гордились. Бойцы вдоль стен, на корточках. Посередине стоит весь белый, никакого румянца, руки по швам, тот самый, похожий на девочку солдат Федя. Моргает глазами.

– Поглядите, товарищ капитан, – прохрипел Кучин. – Видали разгильдяя? Мало сказать разгильдяй, преступник. Киркомотыгу потерял! В боевых условиях, когда враг не дремлет, государственное имущество не уберег. Хорош боец? Ну что с ним делать, а, товарищ капитан? В штрафной, что ли послать?

Бедный Федя стоит ни жив, ни мертв, слова выдавить из себя не может.

– Как это произошло? – спросил я, чтобы что-то спросить.

– Не знаю, товарищ капитан, – заикаясь, начал Федя. – Сам не знаю. Никогда с ней не расставался, ни днем, ни ночью, ни на минуту. – Смотрит на меня круглыми, испуганными глазами. – А вчера после задания пришел, НП для артиллеристов кончали, завалился, а ее под голову положил, а утром, хватъ, нету...

– Вот так вот нету? – перебил Кучин.

– Нету...

– Украла, что ли? Товарищи твои? Можешь указать? Или так, растаяла сама по себе?

Федя молчит, еще больше побелел.

– Так вот, товарищ боец, – изрек Кучин. – Товарищ капитан, я думаю, того же мнения. Если к утру не найдешь инструмент, пеняй на себя, кара будет такая, что и во сне тебе не снилась. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Мне жалко было парнишку, никогда никаких замечаний не имел, но на фронте железный закон: потерял – найди, другого выхода нет. Я молча кивнул головой.

– Понятно тебе, а? – заключил Кучин. – Кровь из носу, но чтоб утром явился с инструментом. Иначе... Выполняйте, товарищ боец!

Федя стоял недвижимо, и вдруг по щекам его потекли слезы. Большие, детские, одна за другой. Потом повернулся рывком и в дверь.

Когда мы с Фищенко возвращались ко мне, не доходя до землянки, он вдруг остановился.

– Не нравится мне что-то это. Иди к себе, капитан, а я через минуту... – и побежал в сторону Волги.

Минут через двадцать ввалились оба. Федя весь мокрый, с головы до ног. Дрожит. зуб на зуб не попадает.

– Видал? – Чубатый Фищенко ткнул в него пальцем. – Топиться пошел. Я точно почувствовал. Поймал его на берегу Волги. Полынью нашел. Еле вытащил его оттуда... Ох и герой...

Выдали мы ему полстакана водки. Малость оклемался. Размазывая по щекам слезы, говорит:

– Главное, что он старикам бы написал. Грозился... Ну, как это пережить, как?!

– Ладно, – рассмеялся Фищенко. – Посиди, погрейся, потом со

мною пойдешь. Помогу я твоему горю. Чтоб навек запомнил, что такое разведчики. Ну, давай еще по одной.

Утром, ни свет, ни заря, явился сияющий Федя. На щеках опять румянец. В руках «бесценное государственное имущество».

А где-то в это же время, в другом полку, другой комвзвода распекал своего такого же Федю, грозился штрафным батальоном. Пошел ли тот топиться? Этого мы не знаем.

В конце февраля, бои давно уже закончились, наш полк грузился на машины – нас вроде отправляли в тыл, отдыхать. Отдыха не получилось, оказались мы на Украине, но в тот солнечный февральский день все были веселы. У подножия Мамаева Кургана стояли разбомбленные железнодорожные составы. Один с солью, другой почему-то с синькой. Бойцы старательно нагружались и тем и другим. На Украине затем это превращалось в сало, сметану, а то и в самогон.

Проверяя, что взято, что забыто, мы с Кучиным шли вдоль машин. – Глянь-ка туда, – ткнул меня в бок Кучин. – Видал героя?

В одном из могучих «Студеров» сидел наш Федя, и за спиной его болталось, как винтовка, то самое «государственное имущество» – заветная киркомотыга.

– Я же велел, дурень, помкомвзвода ее сдать. Под расписку. Чего ж ты?

Федя улыбнулся во весь рот.

– Нет, ученый я теперь. Никаких расписок... Так вернее...

Много лет спустя, в Киеве, мы с Фищенко вспоминали иногда нашего несостоявшегося утопленника.

Где он, как он, не знаю. Если жив, демобилизовался, не расстался, думаю, со своей «невестой», киркомотыгой, долбаёт землю у себя в огороде.

Вот что вспомнилось мне в тот весенний день на бульваре Сен-Жермен, у кафе «Аполлинер». А ведь думал, что никогда уже о войне писать не буду. И еще подумалось мне. Ведь Феде сейчас столько же, сколько этому небритому садовнику. Один где-то у себя в Сибири, другой – в Париже, а киркомотыга вроде одна и та же.

Париж, 1987 г.

Алексей Симонов

ВСПОМИНАЯ ОТЦА

В 1965 году отцу исполнилось 50. На юбилейном вечере, в набитом битком Центральном Доме Литераторов, в ответ на многочисленные славословия и поздравления Симонов произносит речь с шокирующими аудиторию словами покаяния, которые запомнились всем присутствовавшим, а через них стали одной из самых часто упоминаемых вех отцовской биографии. На собственном юбилее говорить о том, что в жизни есть эпизоды, за которые он испытывает стыд, и он постарается, чтобы в дальнейшей жизни такое не повторилось – почему вдруг, да еще во время, клонящееся к реабилитации Сталина, с которым и были в основном связаны все поводы для покаяния предшествующей симоновской биографии? Я был в тот день в ЦДЛ. Это прозвучало резким диссонансом в симфонии похвал.

Понимаю, что большинство публики на юбилейном вечере – это друзья: болельщики, сочувствующие читатели, редко до кого – и то не сразу – дошел не пафос, а смысл сказанного, и небезупречность формулировки покаяния. Да и те вспомнят об этом через пару лет – не раньше, когда будут решаться какие-нибудь очередные «судьбоносные» литературные дела.

А отец не мог этого не сказать. Он как раз вступил в полосу шквального встречного ветра, когда что бы он ни делал, все наталкивалось на ватную стену начальственного равнодушия, а уж как умели в стране советов гримировать это равнодушие, даже он понял не сразу. Верил, потом надеялся, потом опомнился и самое пронзительное, на грани резкости, если брать отцовы градации оценок, письмо в ЦК не послал.

Середина 60-х. Главная книга отца «Живые и мертвые» вышла,

вторая часть трилогии «Солдатами не рождаются», где Сталин – не только часть общественно-политического пейзажа, но и реально действующий персонаж, тоже вышла. Третья книга еще обдумывается и неизвестно пока, где закончится его эпопея – в Белоруссии в 44-м или в Берлине в 45-м. В 64-м уже вышла экранизация «Живых и мертвых» и имеет шумный всенародный успех, но атмосфера вокруг заметно ожесточилась, и те, кто еще совсем недавно стеснялся излишнего пристрастия к покойному вождю, вдруг, расправили плечи и стали снова обрубать все живые ветви в книгах и фильмах, надеясь вернуть железный каркас единой идеологии и истории, и литературе.

И едва ли не первой жертвой их усердия становится отец. Практически параллельно он ведет оборонительные бои по трем направлениям: за художественную целостность документального фильма «Если дорог тебе твой дом», сработанного в Экспериментальной студии Мосфильма под руководством Григория Чухрая, идея которого принадлежит отцу, и он же – один из трех сценаристов.

За выход в свет военных дневников 41-го года, откомментированных и собранных в книжку «100 суток войны».

И, наконец, проблемы с экранизацией «Солдатами не рождаются» – второй части отцовской трилогии – возникли у режиссера Столпера.

Что касается фильма, то в феврале 68-го, подводя итоги почти трехлетней компании, отец пишет:

«...Насколько мне известно, фильм смотрели все, или почти все члены Политбюро, и вопрос о нем обговаривался на Политбюро. Причем, при наличии ряда замечаний и предложений, решение было однозначным – фильм необходимо выпустить на экран.

Однако даже после этого, и после ряда внесенных нами поправок, уточнений, дополнений – где-то по-прежнему дело продолжало тормозиться.

Тогда я обратился с телеграммой на имя Брежнева. После этого фильм смотрели, насколько мне известно, еще раз. Оценили положительно, предложили выпустить на экран.

Но, несмотря на это, кто-то еще продолжал тормозить его выход, давил на Кинопрокат, на Комитет, откладывалась премьера.

Пришлось принимать дополнительные меры к тому, чтобы премьера все-таки состоялась в намеченные сроки, хотя бы в одном кинотеатре, в конце октября 1967 года.

После премьеры, после статьи о фильме в «Правде», высоко оценивавшей фильм, после статей по всей прессе страны, «Красная звезда», тем не менее, так и не выступила с рецензией на фильм. И ни один экземпляр, ни одна копия фильма до сих пор не заказана Политуправлением Армии для Армии.

Таким образом, фильм до сих пор не разрешен к демонстрации в воинских частях.

Этот факт дополнительно характеризует ту атмосферу, которая создавалась вокруг фильма, и в течение девяти месяцев не давала ему выйти на экран.

Но это, так сказать, «похабная ничья». Фильм покалечен, но все-таки вышел, увидел свет.

А литературная кампания была проиграна: «Новый мир», где Твардовский готов был напечатать «Сто суток», после нескольких месяцев ожидания, вышел без отцовских дневников, собрание сочинений, где для книги было подготовлено место, пришлось переверстывать, а последнее письмо Брежневу, о котором я уже здесь упоминал, написанное в феврале 68-го, которое числится в отцовом архиве, как «не отправленное», звучит так:

«...Год назад, после моего вторичного обращения к Вам, Вы обещали мне решить затянувшийся вопрос с моей книгой «Сто суток войны», лично прочтя ее.

Я хорошо понимаю всю меру Вашей занятости, но все же, как мне быть?

Со времени моего первого обращения к Вам пошел третий год.

Со времени моего второго обращения к Вам и посылки Вам экземпляра моей работы со сделанными мною купюрами, дополнениями и поправками – пошел второй год...»

Эта книга увидела свет в 1990 году, через 11 лет после его смерти.

Ну и, наконец, в мае 68-го окончательно проигран бой за киноверсию романа «Солдатами не рождаются».

Из письма Симонова директору Мосфильма Сурину:

«...поправки, которые Столпер собирается сделать в четвертом варианте фильма (подчеркнуто мной А.С.), а именно ту их часть, в которой намечается исключение из фильма линии романа, связанной с письмом Серпилина Сталину (...) я считаю входящими в противоречие с содержанием и направлением моего романа. (...) Никакого отношения ни к дальнейшей работе над фильмом, ни к его выпуску на экран, я, в сложившихся обстоятельствах, не могу и не хочу иметь».

Этот фильм лишился имени автора, названия, и вышел под нейтральным, никакого отношения к Симонову не имеющим, заголовком «Возмездие».

Теперь вернемся к поздней осени 65 года, к отцовской речи в ЦДЛ. И тогда, и много лет спустя я честно думал, что смысл сказанных отцом, необычных для юбилейного заседания слов, рожден его прошлым. Компанией по выявлению и избиению космополитов, компанией по обузданию не смирившегося с Постановлением Жданова – Сталина, Зоценко, инициативой по собиранию коллективного письма редколлегии «Нового Мира», отказывающего «Доктору Живаго» в праве печататься в Советском Союзе – очевидных грехов не так много, их все знают в том зале, где только что звучали юбилейные славословия.

И только сейчас, когда совсем недавно прошел столетний юбилей отца, прошел в том же зале, где отмечался полвека назад, и тех, кто и пятьдесят лет назад своими ушами слышал эту странную для писательского юбилея речь, остались единицы, мне – одной из этих немногих единиц, вдруг пришло в голову, что не прошлое он имел в виду, а будущее, не каялся он в совершенном, а строил моральную баррикаду, ожидая в ближайшем будущем фронтальной атаки на свою версию истории войны, формированию которой он уже посвятил полжизни и намеревался посвятить и оставшуюся.

Он уже приходил к пониманию, что роман «Живые и мертвые» вышел в свет в пик оттепели и проскочил цензуру без ущерба для формы и содержания. Он рассказывал, что при переизданиях не готов делать даже мелкие, но заметные поправки в этом романе, потому что они могут снова привести роман в лапы цензуры, и тогда от него только полетят пух и перья. Это его собственные слова, вот

только не помню, когда я их от него слышал – до или после 50-летия. Скорее после. Но смысл сказанного от этого не меняется.

Он набирался мужества и публично сжигал за собою мосты, чтобы помочь себе выстоять. Может быть так? Думаю – может.

Начиная со второго тома трилогии, он собирал материал, готовясь к встрече с вождем. Он хотел понимать, насколько велика разница между тем, каким мы (он не считал себя умнее других) его видели, и тем, каким он был на самом деле. Вот на эту тему и собраны предлагаемые читателю «беседы и размышления». И, в соответствии с двойным названием, здесь с одной стороны собраны апокрифы времен сталинского правления и тексты самого Симонова, подводящие некоторые итоги его работы над теми или иными характерными чертами личности И.В.Сталина.

Тут необходимо уточнить смысл слова «апокриф». Согласно словарю русского языка, апокрифом называется библейский сюжет, содержащий отступления от официального вероучения, а потому отвергнутый церковью. При всей верности Симонова коммунистическому вероучению, собранные им материалы – это сплошные апокрифы верноподданнической истории сталинского правления. В том числе беседа о Сталине с Василием Прохоровичем Прониным, бывшим председателем Исполкома Моссовета с 1939 по конец 1944 года, то есть практически всю войну. У этой беседы есть одна особенность и, поскольку она отражается на форме записи беседы, она требует объяснения. В подготовительный период, готовясь к съемкам фильма «Если дорог тебе твой дом», встречались с десятками людей, пытаясь понять, насколько полезными для съемок могут оказаться сведения, которыми они располагают, поэтому не со всеми, естественно, беседовал сам Симонов. На разведку часто посылались сотрудники Экспериментальной студии. В данном случае беседовать с Прониным был отправлен редактор фильма Лазарь Израилевич Хволовский. А результаты его визита к Пронину так заинтересовали Симонова, что он записал свою беседу с Хволовским, который рассказывает, что говорил ему Пронин или, что он сам думал о Пронине, когда тот говорил. Насколько я знаю, сам Симонов с Василием Прохоровичем не встречался. Но в материалах архива беседу сохранил.

И буквально несколько слов о «размышлениях».

Не сразу пришел отец к этой чеканной логике. На пути к ней были война и вера в неразрывную связь между понятиями Сталин и Победа. Было послевоенное время – время личного знакомства со Сталиным на заседаниях Комитета по Сталинским премиям в литературе и кино. Был даже опыт писания пьесы по сюжету подсказанному Сталиным на одном из этих заседаний и переделки ее финала по прямым указаниям вождя в телефонном разговоре. А потом были годы отрезвления страны и ее писателей, и это отрезвление давалось отцу непросто. С тем большим уважением читал я эти, где-то в середине шестидесятых написанные страницы.

Честно признаюсь, что именно они, вроде бы почти случайные или почти случайно сохранившиеся заметки, привели меня к пониманию того, каким умным человеком был мой отец. Никто и никогда не объяснял мне феномен Сталина в отдельных его проявлениях с такой жесткой последовательностью, как отец в этих заметках. Как хорошо, что дата его столетия подвигла нас лишний раз пересмотреть отцовский архив.

Декабрь 2015 г.

Константин Симонов

РАЗГОВОРЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Из неопубликованного

О Белове

Вдова командарма I-го ранга Белова – Александра Лаврентьевна Белова – рассказала мне несколько подробностей, связанных с жизнью и гибелью мужа, на которые стоит обратить внимание.

В конце двадцатых годов Белов не то кончил, не то стажировался при Академии Генерального штаба в Берлине. А после этого несколько лет оставался там военным атташе. Это несомненно сыграло роль в его последующем аресте.

Сыграло роль – это уже мой личный домысел – и следующее обстоятельство, если оно действительно имело место. По рассказу Александры Лаврентьевны, в 31-м или в 32-м году, когда Белов стал военным атташе, а Гитлер еще только приходил к власти, он, ощущая всю ту опасность, которая связана с приходом Гитлера, и ту переменную всего политического баланса, который произойдет, если Гитлеру удастся захватить власть, написал Сталину, очевидно, в зашифрованном виде, что он берется решить этот вопрос, убрав Гитлера, т.е. просто физически уничтожив его, и что он имеет к этому возможности.

Сталин на это не пошел, и, когда Белов то ли по этому поводу, то ли вообще, по другому служебному поводу был вызван в Москву, Сталин сказал ему: «Что это у Вас за предложения, что это за монархические замашки?» Так эта фраза звучит в передаче Александры Лаврентьевны. Допускаю, что Сталин сказал, не «монархические замашки», а «эсеровские замашки», или, может быть, не «монархические замашки», а «анархистские замашки», это еще вероятнее.

Я задал Александре Лаврентьевне вопрос сложный и щекотливый, что ведь Белов был в группе людей, которые были трибуналом, судившим первую группу военных – Тухачевского и других, и которые впоследствии все, за исключением Буденного, погибли тоже. Она сказала, что, насколько она помнит из разговоров с Беловым, который вообще мало говорил с ней об этом, процесс велся в крайне быстром темпе. Все это заняло буквально несколько дней.

Проводивший процесс Вышинский страшно торопил всех, кто в нем участвовал в качестве членов трибунала.

По ее словам, после процесса, на ее вопрос о том, в чем виноват Тухачевский и другие, он бросил ей странную фразу: «В том, в чем они виноваты, я тоже виноват», или «также виноват, как они».

Вскоре Белов был снят с Московского военного округа и переведен в Белоруссию. Тучи над ним сгущались. Они были старые друзья с Ворошиловым, и он любил Ворошилова. Однажды Ворошилов вызвал его к себе в Москву, он был у него дома, и Ворошилов стал прощупывать Белова, не скажет ли он чего-нибудь о нем, Ворошилове, если подойдет тугая. Видимо, Ворошилов считался с такой возможностью в отношении самого себя. А Белов его очень хорошо знал и мог многое о нем рассказать. Когда Ворошилов прямо спросил его: «Слушай, если будут обо мне спрашивать, что-нибудь скажешь на меня?» На это Белов ответил: «Лучше я мышью проглочу, но не скажу».

Эта фраза имела свой смысл, потому что Белов, вообще человек очень сильный физически, громадного роста, могучий, истерически боялся мышей. Эта фраза свидетельствует о его высшей готовности заслонить грудью Ворошилова, если понадобится.

Когда Белов был в Белорусском военном округе, стали одного за другим сажать его людей. Петля стягивалась все туже. Наконец его вызвали в Москву, вызвали с решением арестовать. И в общем, он это чувствовал. Он приехал в Москву, но его сразу не арестовали, он поехал в Метрополь, остановился там и с горя напился. Это было поздно вечером.

Этой же ночью за ним приехали и отвезли его на Лубянку, в кабинет к Ежову. Как только его привезли или уже к этому времени, туда, в кабинет явились Сталин и Ворошилов.

Насколько я понял из рассказа Александры Лаврентьевны, Бе-

лов, когда его привезли туда, к Ежову, еще не протрезвел, был пьян. Сталин обрушился на него с криком: «Белов! Ты мне веришь?» «Да, верю, товарищ Сталин». «Ах, ты мерзавец! Смеешь говорить, что веришь мне, что идешь за мной, а хотел меня убить. Почему ты хотел меня убить?» На этом кончился разговор.

Мое примечание: Это первый случай, когда я из чьего-то разговора услышал о том, что Сталин с кем-то пошел на очную ставку, с кем-то из обвиненных лично увиделся. Если все рассказанное соответствует действительности, то, очевидно, это свидание Сталина с Беловым в кабинете, когда очевидно, все в голове у Сталина было предreshено, было результатом ходатайства Ворошилова. Иначе я себе не представляю.

А теперь еще одно мое примечание. Мне кажется, что обвинение Белова в том, что он хотел убить Сталина, могло быть странным рикошетом от предложения убить Гитлера, сделанного Беловым за пять или шесть лет до этого. Особенно учитывая, что перед тем, как его отправили в Белоруссию, он какое-то время был командующим Московским военным округом и имел относительно большие возможности доступа к Сталину, чем другие военные.

Вскоре арестовали и Александру Лаврентьевну. Она была на 15 лет моложе Белова, и у них было трое маленьких детей в возрасте что-то два, три и четыре года. Она происходила из рабочей семьи, с Путиловского завода. Отец ее старый путиловец, нес ответ перед партийным собранием. Выступая у себя на заводе, давая объяснение, как это он выдал дочь за врага народа, он сказал, что «я не верю, что Белов оказался врагом народа, он хороший человек, коммунист, это ошибка какая-нибудь». Тогда его стали снова обвинять в том, что он продал дочь врагу народа и так далее, и потребовали отказаться от своих слов. Он не отказался, его исключили и потребовали у него партбилет. Он партбилет вынул и, отдавая, сказал: «Ну, если у простого рабочего за то, что он высказал то, что у него было на душе, вы отбираете партбилет, – отбирайте, что с вами сделаете».

Арестовать его не арестовали, он остался работать на заводе и умер там же, на заводе во время блокады Ленинграда.

Следователь, который допрашивал Александру Лаврентьевну, не

разрешил ей, несмотря на все ее просьбы, увидеться с детьми. Она его просила, умоляла, говорила о том, что дети маленькие, но он отвечал: «Нет, нет, нет». И она была переполнена ненависти к нему, ей это казалось пределом бесчеловечности. Но, когда очередной раз ее повели к нему на допрос, то пока за ней ходили во внутреннюю тюрьму, все перевернулось, и, когда ее подводили к дверям, его вывели из этих дверей – без ремня, с сорванными знаками различия и под конвоем. Следователь сам был арестован.

Остановившись на теме о том, как происходила, если можно ее так назвать, смена кадров в самом НКВД, она рассказала, очевидно, с чьих-то слов: когда уже Ежов пошатнулся, а Берия был назначен его заместителем, Берия требовал, чтобы каждый документ, который выходит из наркомата, шел через него, чтобы он был осведомлен о каждом документе, даже о тех, которые были подписаны наркомом. Вот здесь работники почувствовали, что над Ежовым сгущаются тучи. А потом, когда он был снят, однажды тот человек, который рассказывал это Александре Лаврентьевне, присутствовал при следующей сцене. Уже Берия был наркомом. Ежов, арестованный, растерзанный, без ремня, находился в его кабинете, и в его присутствии Берия из одиночек внутренней тюрьмы вызывал одного за другим людей и делал им очную ставку с Ежовым, требовал от него документов, протоколов, письменных распоряжений, на основании которых были арестованы эти люди.

Таких протоколов, документов и распоряжений не было, или они были уничтожены, и, видимо, Берия это знал заранее. В общем, это, видимо, разыгрывалась комедия обвинения Ежова в самоуправстве, в том, что то, что он делал – он делал по собственной инициативе.

Два эпизода, рассказанных Евгенией Владимировной Серебровской, вдовой Александра Павловича Серебровского, заместителя Орджоникидзе

Незадолго перед арестом ее мужа, они были как-то в Кремле, навещали вдову Орджоникидзе. Возвращались поздно ночью. Вдруг сзади голос:

– Здравствуйте.

Повернулись. Гуляющий Сталин. Сталин говорит:

– Счастье ваше, что узнал вас все-таки. А то вы, так нежно обнявшись, шли, что я мог бы подумать, что ваш муж с какой-нибудь девушкой идет, и было бы недоразумение.

Я ответила на это:

– Иосиф Виссарионович, муж с девушкой мог встретиться где угодно, но только не в Кремле. Сюда вы пускаете только по пропускам и только с женами, так что здесь это исключено.

Он в ответ посмеялся. Посмеялся, а потом сказал:

– Ну, что касается вас, Серебровская, это я пошутил. Что касается вас, вы всегда с ним будете вместе, даже на луне...

Тогда мне этот разговор понравился, а потом он уже вспоминался по-другому, когда сначала Серебровский, а потом и я оказались в тюрьме.

Ровно за 10 дней до ареста мужа – он лежал в это время в Кремлевке с резекцией ребра, ко мне на квартиру на улице Грановского, позвонил Сталин:

– Здравствуйте. Что вы такая печальная? Говорят, что вы печальная.

Я на это ответила, конечно, я печальная, потому, что вы же знаете, Иосиф Виссарионович, что муж мой, Александр Павлович, на операции.

– Нет, – говорит он, – вы такая печальная, что можно подумать хуже.

Я ничего на это не ответила ему.

– Говорят, вы пешком ходите? Где машина ваша?

Я ответила, что наша машина на ремонте, а мне особенно-то и ходить некуда. Кремлевка напротив.

– Завтра пришлю вам машину, чтобы пешком не ходили, чтобы не создавалось впечатление, что что-то случилось.

На этом мы расстались. А через десять дней после операции, мужа с высокой температурой взяли прямо из Кремлевки в тюрьму.

(продиктовано 10 сентября 1968 года)

Рассказ посла в ФРГ

Во время пребывания в Германии наш посол в ФРГ Смирнов, рассказывал мне о своих встречах со Сталиным. Среди этих рассказов было несколько интересных деталей.

Ему после другой работы было поручено ехать в Иран, тут он впервые встретился со Сталиным и в разговоре повторял «Да, Иосиф Виссарионович. Я согласен, Иосиф Виссарионович. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович» и так далее. В какой-то момент ему показалось, что он что-то сказал не так. И хотя, перебирая в памяти, что он говорил – у него было ощущение, что он говорил именно так, – но, не то выражение лица, не то какое-то движение подсказало ему, что все-таки он что-то говорил не так. А это было в присутствии Молотова, и, когда они с Молотовым вышли, Молотов ему сказал: – «Товарищ Смирнов, вы не обращаетесь так к товарищу Сталину – Иосиф Виссарионович. Мы все его называем – товарищ Сталин, мы его не называем – Иосиф Виссарионович».

И тут Смирнов понял, что именно было не так в их разговоре: Сталин не любил, когда его называли Иосиф Виссарионович.

Потом Смирнов был в Австрии, назначен туда политическим советником. И вот дело обстояло так, что наши войска уже заняли Вену, и, в сущности, вся власть там была в наших руках. Его вызвали в Москву, он докладывал об обстановке и потом сказал, что, по его мнению, можно бы и не пускать в Вену контрольного совета, что вся власть в наших руках, и мы можем вполне не делать этого и не делить Австрию на зоны. Сталин помолчал, посмотрел на него, а потом сказал: – «Смотри, какой мудрец нашелся. Нет, мы будем делить на зоны. Будем устанавливать контрольный совет. Надо подумать о будущем, о тех зонах, которые они займут раньше нас в Германии. Надо показать пример в выполнении союзнических обязательств. То, что вы предлагаете, не так уж мудро».

Рассказ писателя Шелеста

Георгий Иванович Шелест рассказывал мне о событиях сорок второго года. Он уже к этому времени четыре или пять лет находился в

лагерях, работал в строительной бригаде. Их отправили в какой-то из районов Колымы, достраивать, дооборудовать новый лагерь. Это было не то летом, не то осенью. Во всяком случае, когда они достроили лагерь, вдруг туда прибыла громадная партия заключенных. Причем прибыли они странно, в небывалом виде: во всем своем, гражданском, довольно еще не обтрепанном, не тюремном, некоторые в плащах, с орденами, партийными билетами, со всеми документами. Это были немцы Поволжья. Главным образом, немецкий партийный и советский актив.

Как выяснилось, Берия, по указанию Сталина, провел следующую операцию. Был объявлен добровольный набор в национальную дивизию немцев Поволжья, и все, кто записался, были собраны. Главным образом – коммунисты, советский актив, секретари райкомов, члены бюро райкомов, не призванные в армию командиры запаса, начальники и работники районных НКВД и так далее, и так далее. И вот всех этих людей погрузили в эшелоны и заявили им, что их везут в один из сибирских районов для формирования дивизии. А вместо этого, разобщив поэшелонно, разослали по разным лагерям. Изобразив дело так, что люди эти откликнулись на призыв сформировать дивизию в целях дальнейшего перехода к немцам.

Они приехали в ужасном состоянии, были очень тяжелые разговоры. Люди вырывали и бросали ордена, не знали, как быть с партийными билетами и говорили – что ж теперь остается делать? Умереть? Вообще это было, как говорил мне Шелест, самое дикое и страшное воспоминание его жизни в лагерях, хотя он видел достаточно страшного и без этого.

Председатель Моссовета Пронин В.П.

пересказ беседы

В Связи с работой над фильмом «Если дорог тебе твой дом» к бывшему председателю Моссовета Василию Прохоровичу Пронину был послан на беседу редактор фильма Лазарь Израилевич Хволовский. Запись рассказа Хволовского (Л.Х.) и своей с ним беседы Симонов (КМС) практически не редактировал.

Л.Х.: Наш разговор начался с того, что я рассказал ему о студии, о замысле фильма. Он сказал, что фильм такой очень нужен, особенно для молодежи.

– Но фильм будет ценен лишь в том случае, – заметил он, – если там будет сказана правда. Только – правда. А то подумайте, ну что сейчас говорят о начале войны? Фактор внезапности. Ерунда все это. Никакой внезапности не было. Было чистое поражение. Ну, во-первых, весь народ был подготовлен ворошиловскими речами к войне на территории противника. Во-вторых, во главе армии стояли эти «конногвардейцы» Ворошилов, Тимошенко и Буденный. Все они в военном смысле люди ограниченные, а, в общем – так и подавно.

И, наконец, в-третьих, вооружением и, главное, тактикой немцы нас превосходили. У нас ведь тактика, была какая? Фронтальная. Кавалерийская. Вот немцы нас и били.

А внезапности никакой не было. Мы все, вплоть до Сталина, знали, что война будет. Помню, я еще в тридцать девятом году, еще перед Финской, был как-то на заседании Политбюро. Речь, кроме всего прочего, шла о противовоздушной обороне и, в частности, о противовоздушной обороне Москвы. Сталин вдруг меня спросил: Как у вас дела в этом плане? Ну, я ему ответил, что, мол, неважно, опыта нет, варимся в собственном соку. Сталин тогда сказал, что он даст указание разведке собрать данные об опыте противовоздушной обороны.

Прошло какое-то время; Сталину, сами понимаете, я не напоминал, – как вдруг приходит мне в Моссовет огромный пакет. И там надпись Сталина: «Материалы для Пронина». Это были данные нашей разведки об организации ПВО в Лондоне и в Берлине. Тридцать девятый год, там уже всю войну шла, или даже сороковой это был.

Нам все это, кстати, впоследствии очень помогло.

Потом помню другой случай. Это уже во время Финской было. Сижу я у себя как-то, перед самым новым годом. Вдруг звонок. Сталин.

– Что делаете? – спрашивает.

– Да вот, – говорю, – собираюсь новый год встречать.

– А вас не интересует, как в Ленинграде поставлено дело противовоздушной обороны?

– Очень, – говорю, – интересует.

– А когда бы вы могли туда поехать?

– Дня через два, – отвечаю.

– Нет, говорит, поезжайте сейчас.

Ну, я и поехал. И провел там десять дней. А вы говорите – внезапность.

Да что там говорить. Двадцать первого июня вечером вызвал он нас с Щербаковым. Приехали мы к нему в Кремль. Было девять часов вечера, как сейчас помню. У него уже сидели Ворошилов, Тимошенко и Молотов.

Сталин сказал нам, что по данным разведки, по словам перебежчиков, сегодня должна начаться война. Он спрашивал о нашей готовности к этому.

Потом Ворошилов, Тимошенко и Молотов ушли. А мы с Щербаковым остались и сидели у Сталина до трех часов ночи. В три часа ночи, когда уже стала светло, – 22-е июня, – Сталин посмотрел на часы, подошел к окну и сказал:

– Ну, сегодня, кажется, войны не будет. Вы где отдыхаете?

Мы сказали, что в Барвихе, двадцать минут езды от Москвы.

Он говорит:

– Ну, поезжайте.

Вышли мы от Сталина, сели в машины, поехали к дачам. Только подъехали, даже в ворота не заехали. Чекисты стали нам ворота открывать и говорят:

– Война.

Мы развернулись – и обратно, в Москву.

К этому рассказу Пронина мне хочется сделать некоторые добавления. Я абсолютно верю в достоверность этого рассказа о встрече 21-го июня, потому что в воспоминаниях Кузнецова рассказывается, что Тимошенко, бывший тогда наркомом обороны, вызвал Кузнецова к себе 21-го июня в одиннадцать часов вечера и дал ему указание о боевой готовности № 1. Это указание могло последовать лишь после разговора со Сталиным о перебежчиках, о котором рассказывал Пронин. Так что показания Кузнецова и Пронина друг друга подтверждают.

Л.Х.: Дальше у нас с Прониным зашел разговор о начале войны. Я спросил, что было со Сталиным до 3-го июля? Потому что ведь был

же такой разговор, что до 3-го июля первые десять дней Сталин вышел из строя и ничего не делал. Когда я его спросил об этом, Пронин сказал:

– А-а, знаю. Это Хрущев пустил слух о Сталине. А вы давайте посчитайте. Значит, 21-го июня я у него был, а 24-го июня в шесть утра мне Сталин звонил и вызывал к себе, и я у него снова был. А был я у него вот по какому поводу. Помните, самую первую тревогу московскую, в ночь на 24-е июня? Откуда эта тревога взялась? А вот откуда. Тогда в газетах появилось сообщение, что тревога учебная. А на самом деле это была никакая не учебная тревога.

Летели наши самолеты, а посты ВОС дали донесение, что летят немцы. Начали стрельбу, от зенитных орудий, при разрыве снарядов получают такие белые облака. Только что война началась, никто ничего не знает, – приняли эти штуки за парашютистов. И пришло сообщение от Краснопресненского райкома и от Киевского райкома, что немцы десант высадили за Киевским вокзалом. Мы сразу по тревоге – раз – дивизию внутренних войск бросили туда. Пальба идет, страшное дело. Выскакиваю я с командного пункта обороны Москвы – он в Моссовете был, – меня не пускают. Но я кое-как с трудом пробился. Приезжаем туда, на Киевский. Конечно, никаких парашютистов, ничего нет.

Потом я вернулся в Моссовет, мне докладывают, что, мол, ошибка вышла.

В шесть часов мне звонит Сталин, вызывает к себе. Прихожу к нему.

– В чем дело? – говорит.

Я говорю: – Вот, обмишулились, товарищ Сталин.

– Как же так?

– Да вот, говорю, приняли за парашюты разрывы снарядов, обстреляли своих.

– А ваше мнение по этому вопросу?

– Я говорю: – Не беспокойтесь, товарищ Сталин, все убеждены, что это была учебная тревога.

– А вы – точно?

Я говорю: – Проверю и доложу снова. Через час я ему позвонил и докладываю: – Точно, товарищ Сталин. Все считали, что это учебная тревога.

– Ну что ж, так и дадим сообщение в газете.

Так появилось сообщение в газете о том, что 24-го была учебная тревога.

К.М.С. – А откуда самолеты, он не уточнял?

Л.Х. – Он не уточнял.

«И, наконец, третьего июля Сталин уже выступал. Значит, прошло восемь дней. Ну, я его в течение этих дней не видел, – сказал Пронин. – Был ли он в состоянии протрации в эти дни, не знаю. Я рассказываю факты...»

К.М.С. – В каком состоянии он был 24-го?

Л.Х. – 24-го – в нормальном.

Потом я рассказал, как мы собираемся делать начало фильма. Начать с парада 2-го мая сорок первого года в Москве, на котором Тимошенко подошел после своего выступления к немцам, к военным атташе и очень любезно с ними раскланялся. На что Пронин мне сказал:

– Это все дипломатия. Вот я вам расскажу такой случай. В тридцать девятом году, когда Риббентроп приехал в Москву, он был у Сталина. Значит, присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, я и еще некоторые товарищи. За столом сидел Ворошилов, Риббентроп, Молотов и Сталин. И получилось так, что Сталин сидел рядом с Риббентропом. А ему не хотелось, видеть, сидеть с Риббентропом. Он мне говорит:

– Пронин, поди сюда.

И посадил меня рядом – между собой и Риббентропом. Велись переговоры, разговоры разговаривали. Переводили немецкий переводчик и Павлов. А потом, когда кончились переговоры, Сталин предлагает Риббентропу идти посмотреть картину «Трактористы». Он ее очень любил. Риббентроп отказался. Тогда Сталин стал настойчиво ему предлагать – пойдём, мол, посмотреть. Тот – нет, говорит, ни в коем случае. Встал и уходит. А прощается он таким жестом: делает гитлеровское приветствие. Риббентроп сделал такой жест, и Сталин неожиданно встал и сделал ему так... Книксен сделал почему-то.

Пронин встал и дважды показал, как Сталин делал книксен.

Почему, – говорит, – не знаю. И не успел Риббентроп выйти и дверь закрыть за собой, он с переводчиками ушел, как Сталин гово-

рит: «Объе...ли мы их», а потом помолчал минутку и говорит: «Но воевать придется».

В разговоре о том, что было между началом войны и выступлением Сталина 3-го июля, я спросил у Пронина – а, собственно, почему 22-го выступал Молотов, а не Сталин? На что мне Пронин ответил:

– Вы понимаете, обстановка была сложная. Никто ничего не знал. Не мог Сталин выступать в такое время. Вы же поймите, что война началась 22-го, а 24-го Тимошенко – кавалерист, буденовец – взял и отдал приказ о наступлении по всем фронтам. А наша армия к тому времени вся расчленена и разбита была.

К.М.С.: – Те., смысл мотивировки в том, что Сталин не мог брать на себя ответственность за непроверенные и неутонченные сведения и подставил Молотова. Мало ли еще как что повернется...

Л.Х. – Да. То есть он сформулировал не так, но мысль была такая. Кроме того, тут характерен образ самого Тимошенко, кстати, и к Тимошенко, к Буденному, и к Ворошилову Пронин относится с величайшим пренебрежением и нелюбовью.

К.М.С.: – Они совершенно разные люди.

Л.Х. – Хотя они совершенно разные люди. Но их нечто объединяет. Кавалеризм, конногвардейщина, как Пронин это называет. Конногвардейцы, кавалеристы, буденовцы – вот три эпитета, без которых он ни одно из этих имен не называет. Если называет Ворошилова, то он скажет или – конногвардеец, или буденовец, или что-нибудь в этом роде, понимаете?

Потом, кстати, не забыть бы, пересказать его мнение о Тухачевском.

К.М.С.: – А вот вопрос, который, возникает в связи с этой ночью у Сталина. Видимо, он предполагал возможность войны этой ночью, но находился в полном неведении, в каком состоянии была армия. Потому что докладов на эти темы ему давно не доводилось слушать, он этого не хотел, нажимал на то, чтобы сделать все возможное, чтобы как-то оттянуть войну и чтобы немцы не могли устроить вокруг этого провокаций, – все у него было нацелено на то, чтобы этого не допустить, думал только в этом направлении, при полном отсутствии истинного представления о том, что все-таки сделано с армией после тридцать седьмого года и насколько она еще не

пришла в порядок. Он опять выдавал желаемое за действительное.

Л.Х.: – Более того, он понимал, конечно, что война будет, и понимал, что 22-е июня – равноденствие, самое большое светлое время суток, но где-то в глубине души страстно надеялся, хотел верить, что этого не будет. И, вы знаете, как игрок ли, или как ребенок, кто его знает, он хотел, чтобы ее не было.

К.М.С.: – В этом весь смысл пакта был.

Л.Х. – Вот его рассказ дальше:

– Этот случай уже относится к самому разгару обороны Москвы. Когда немцы после первого наступления подошли к Можайску и после Можайска пошли дальше, они были остановлены зенитчиками, которых сняли с противовоздушной обороны и поставили на борьбу с танками. И немцы, конечно, не подозревали, что между Можайском и Москвой ничего не было. А действительно, ничего не было между Можайском и Москвой, и если бы немцы, со своей тупостью, не приняли эти несколько зенитных орудий за настоящую оборону, а пошли бы, то они дошли бы до самого города.

А с городом была сложная ситуация. 19-го октября, вечером, мы со Щербаковым шли на заседание ГКО. И мы понимали, что речь будет идти о том, – оставлять Москву или не оставлять.

Темно было. Все было затемнено. Мы шли со Щербаковым, а впереди нас, метрах в пяти или даже чуть побольше, шли Берия, Молотов, Каганович и Ворошилов. И мы со Щербаковым идем и слышим, как они разговаривают, уже в Кремле, и Берия говорит, что защищать Москву не надо. Вот, мол, Кутузов сдал Москву, и мы сдадим, нельзя защищать ее, невозможно.

Вошли в подъезд, они увидели нас и перестали разговаривать.

И вот поднялись мы наверх, на заседание ГКО. И шла речь о том, защищать Москву или не защищать. Все мы сидели, а один Сталин ходил. И вот он обрисовал положение и первым подходит к Молотову и спрашивает:

– Защищать Москву?

Молотов подумал и говорит:

– Защищать.

Подошел к Кагановичу:

– Защищать Москву?

– Защищать, – не думая.

Подходит Сталин к Берия:

– Защищать Москву?

Берия говорит:

– Конечно, защищать.

И все мы сказали, что Москву надо защищать. Тогда Сталин сразу же, при нас стал звонить командующим Уральским и Сибирским округам и вызывать в Москву войска только 19-го октября, после чего подошел к Кагановичу и сказал:

– Вот что, Каганович, голову сниму, если войска не будут доставлены в Москву вовремя.

– Все будет сделано, – сказал Каганович.

После чего Сталин стал диктовать постановление ГКО знаменитое: «Сим объявляется...» помните? «А я, – говорит Пронин, – сидел и писал. Сталин мне продиктовал это постановление, я его записал на бумажке карандашом, сразу же поехал на командный пункт, передали его по радио 19-го, а утром уже напечатали в газетах и разослали по всей стране».

Этот стиль «Сим объявляется...» я все никак не мог понять, откуда это идет. «Сим объявляется...» – это Сталин придумал.

Л.Х.: – Я его спросил: Ну а когда же, сняли осадное положение? Он говорит:

– Положение осадное так и не снимали. Забыли. Не то что забыли, а, понимаете, не до этого было, потому что, честно-то говоря, мы могли снять осадное положение раньше и снять светомаскировку могли раньше. Топлива не было, и поэтому светомаскировку сняли только в конце сорок четвертого года. А снять могли раньше, Поэтому осадное положение и сейчас существует. Указа об отмене осадного положения до сих пор нет.

Л.Х.: *Продолжая разговор с Прониным о Сталине, я сказал, что вот есть в зарубежной печати и у нас кое-какие слухи, что Сталин последние годы страдал психическим расстройством, что этим, наверное, объясняется то обстоятельство, что он был так подозрителен, от всех скрывался, аресты были большие.*

– Что я вам скажу? – сказал Пронин. – Я Сталина много раз видел. И в узком кругу и на большой аудитории. Сложный он был, конеч-

но, человек, нельзя о нем одним словом сказать. Конечно, суров был очень на совещаниях, в ЦК. Обрубал так, обрезал, что страшно аж делалось. Сколько раз он меня срезал. Думаю – все. А потом, смотришь, – ничего. А вот в узком кругу, в семье – совсем другой человек. Вот видел я его последний раз в сорок девятом году. Отдыхали мы со Щербаковым в Сочи, и пригласил нас Сталин к себе на Рицу.

К.М.С.: *С Поповым, очевидно. Щербаков умер в сорок четвертом году.*

Л.Х.: *Да, видимо с Поповым.*

Пригласил нас Сталин к себе на Рицу. Вот три дня мы там у него пробыли. И на катерах катались, и завтракали вместе, и ужинали вместе. Прогулки в горы совершали. Я, понимаете, на гармошке играю. Вот я играл, Сталин пел. Очень так душевно себя вел. А ведь на работе-то – зверь».

Л.Х.: *И это – как Пронин играет на гармошке, а Сталин поет песни, на меня произвело очень сильное впечатление.*

К.М.С.: *– Любил. Жданов на рояле играл, а этот на гармошке.*

– И еще могу рассказать случай, – говорит Пронин. – Помню, как сейчас, в ноябре еще была бомбежка. Дневная бомбежка в Москве. Как раз мы находились в это время со Щербаковым в ЦК. И туда бомба попала. Стекла повыбивало, двери повыбивало, штукатурка обвалилась. Много раненых было там у нас, и даже убитый. Мы со Щербаковым выскочили и побежали в Кремль, потому что нашу машину разбило. Бежим мы с ним в Кремль по улице Куйбышева. Едет машина – заместителя министра заготовок Ершова. Мы ее остановили. Шофер не хотел везти. Тогда я говорю охране своей: давай выкидывай, мол, без шофера, сам доеду. Ну, тогда он согласился, довез нас до Спасской башни.

Прибегаем мы в Кремль. А бомбежка-то продолжается, стрельба идет. Шарах! Бомба в Кремль попала. А в это время шла колонна курсантов училища Верховного Совета, и человек пятьдесят их убило. А Щербакова контузило. Ну, мы из Кремля к себе в Моссовет позвонили. Машина за нами пришла. Только я приехал на командный пункт Моссовета, мне докладывают:

– От Сталина все время звонят. Сталин вас всюду ищет. Я скорей Сталину звоню, докладываю помощнику: мол, слушаю, чего нужно?

«Сталин вам велит срочно приехать». Приезжаем мы со Щербаковым к Сталину. Сталин к нам бросился прямо. Говорит:

– Что с вами?

Мы говорим: – Все в порядке, товарищ Сталин. А вид у нас страшный. Мы все грязные, в известке, в штукатурке – после бомбежки-то. А Щербаков ранен. Ну, Сталин говорит:

– Садитесь, ужинать будем.

И вот он с нами сидел весь вечер, кормил, поил и все время шутил. О войне не говорил, о делах не говорил. Понимал, что у нас травма душевная, и хотел нас как-то отвлечь. Шутил все время. Возьмет арбуз, посолит и даст – на, мол, ешь. Возьмешь арбуз, а он соленый. Душевный был человек.

Понимаете, какая вещь. Вот как сейчас интересно получается. Когда плохо, то Сталин виноват, а когда хорошо, то все это – партия и правительство. А Сталин ведь и был – партия и правительство. Разумеется, было у него черное пятно. Аресты. Только вот в тридцать седьмом году аресты большие были.

Л.Х.: – А после войны?

– А что – после войны? Только вот Ленинградское дело и дело врачей. Так ведь это же немножко народу арестовали, несколько человек посадили.

А возьмите Хрущева. Было у них пять секретарей МК, а остался один – Хрущев. А ведь без подписи секретаря МК никого бы не посадили. Так что уж ему помалкивать надо.

Л.Х.: Очень интересно рассказал он о Молотове, о выступлении Сталина на пленуме ЦК – уже после войны, по поводу Молотова.

Сталин говорил: понимаете, какая странная вещь получается. Вот нас членов Политбюро 11 человек. Собираемся мы. Двери заперты. Разговариваем. О чем бы ни поговорили – завтра на Западе знают. Видимо, товарищ Молотов очень разговорчивый человек. А известно ведь, что жена его связана с сионистами, а все, о чем мы говорим, становится известным на Западе. Поэтому я и считаю, что нужно вывести товарища Молотова из Политбюро. Хотя товарищ Молотов и заявил, что он разводится со своей женой, но мы ее выслали, а его – выведем.

Очень убедительно говорил.

Л.Х.: Я говорю: – Ну как же? Вы же знаете, что ни с какими сионистами она не была связана.

– Ну, это я сейчас знаю, а тогда очень убедительно говорил.

К.М.С.: – Я был на этом заседании. Интересна его реакция.

– Молотова?

К.М.С.: – Нет, интересна реакция Пронина, потому что я тоже был на этом заседании.

Л.Х.: Спросил я Пронина о том, каковы были результаты немецких бомбежек. Он назвал мне совершенно точные цифры, из которых следует – он и сам это говорит, – что Москве был нанесен пустяковый ущерб. Ни одно промышленное предприятие не пострадало, ни один военный объект не пострадал. В Кремль попало четыре бомбы. В Георгиевский зал попала 250-килограммовая бомба, но не разорвалась.

К.М.С.: – Чем он это объясняет?

Л.Х.: Он объясняет это, во-первых, достаточно хорошим уровнем нашей противовоздушной обороны и, во-вторых, – слишком здоровья Москва, чтобы бомбежки могли ей нанести серьезный ущерб. Потому что налеты были не массированные. Бомбежки носили чисто, так сказать, психологический характер.

История про 7-е ноября, про выступление Сталина на параде. Версия, которая нам всем известна с записью его речи, она, оказывается, несколько иная. Выступление Сталина не должны были передавать по радио, боясь, что будет бомбежка. Но в последнюю минуту решили все-таки передавать.

– И я, – говорит Пронин, – позвонил на Центральный телеграф, откуда шла вся трансляция, и приказал начать передачу выступления Сталина. А мне там говорят: «Ничего не знаем, есть приказ – не передавать». А Сталин вот-вот начнет выступать. Я побежал, пока нашел Серова и Власика, чтобы они по телефону передали приказ транслировать выступление Сталина, Сталин уже начал выступать. И его не с самого начала начали передавать. Но так он еще не выступал никогда в жизни. С таким подъемом говорил, так душевно, что мы просто были поражены со Щербаковым. Я еще спросил у Щербакова: «Что он, коньячку, что ли, выпил?» А потом его – насчет съездов – Щербаков три дня уговаривал. Три дня его Щербаков уговаривал. А Сталин

ему говорит: «Что я, артист, что ли?» Но уговорил все-таки Щербаков, через неделю его сняли. Так что это не Варламов уговорил Сталина, а Щербаков.

К.М.С.: – А что насчет Тухачевского?

Л.Х. – А насчет Тухачевского он сказал следующее:

В вопросе о Тухачевском и прочих Сталин поручил разбираться Ворошилову и Буденному – этим конногвардейцам, которые, конечно, Тухачевского не любили и которые, конечно, понимали, что тот выше их. И они виновны в том, что вынесли решение его расстрелять. В общем, он валит это все на Ворошилова и на Буденного.

1965 г.

Разговор с Председателем Комитета по делам Искусств, Михаилом Борисовичем Храпченко

В день, когда заключили пакт о ненападении, Риббентроп тут же уехал, Сталин был на каком-то спектакле, туда вызвали Храпченко как председателя Комитета по делам Искусств. Он пришел в ложу, где были Сталин и Молотов. Молотов спросил: Скажите, товарищ Храпченко, вы знаете уже, что мы заключили пакт с немцами? – Да, я слышал. – Ну и как вы – за или против? – спросил Молотов. Вид у него был очень довольный, чувствовалось, что он необыкновенно рад тому, что был заключен этот пакт.

Храпченко помедлил с ответом, и Сталин вдруг сказал, указывая Молотову на Храпченко: Мы с ним против, но нас же никто не слушает. – Этой мрачноватой шуткой и кончился разговор.

Когда мы делились с Храпченко своими впечатлениями о Жданове и Щербакове, Храпченко сказал, что, по его мнению, Щербаков, с которым ему пришлось много общаться, был человек очень точный и исполнительный. Все, что говорил Сталин, он проводил немедленно в жизнь с огромной точностью, аккуратностью и с невозможной быстротой, но от себя ничего не добавлял, не усиливал и не перебарщивал. А Жданов, как выразился Храпченко, всегда очень старался. Сколько ему с ним приходилось сталкиваться, всегда было ощущение, что Жданов очень старается пойти еще на шаг вперед, сделать

больше, чем ему поручено. От этого многим в разное время не поздоровилось, когда Жданов добавлял что-то от себя, сверх того, что было поручено ему Сталиным.

И еще Храпченко рассказывал, что однажды был какой-то ужин у Сталина, на который он тоже попал по своей должности, и, обходя по очереди всех, – вернее, не обходя, а приветствуя всех сидевших за столом тостами, Сталин дошел и до него. Он думал, что Сталин его пропустит, но он не пропустил его, а сказал: «Выпьем за Храпченко как за такового», и вдруг Берия подал реплику: «А вы знаете, товарищ Сталин, что – вот мы тут говорим, а он записывает». Наступила долгая пауза во время которой вполне можно было считать себя, после этой реплики, конченным человеком. Сталин помолчал, никак не отреагировал на эту фразу и повторил: «Выпьем за Храпченко, как за такового». И Храпченко почувствовал, что на этот раз беда прошла мимо.

Что касается истории с оперой «Великая дружба», то вышедший с ней крупный скандал Храпченко объясняет тем, что Сталин, очевидно, воспринял эту оперу, как попытку противопоставить ему Орджоникидзе. Хотя это нигде не было написано и сказано впрямую, но в этом заключалась вся суть дела. А Берия к этой сути дела подвел, постарался организовать так, чтобы Сталин попал на эту оперу, а, может быть, провел еще какую-то подготовку на сей счет.

И еще одна подробность по поводу Булгакова. Когда к Храпченко приехал Москвин и привез ему пьесу Булгакова «Батум» о молодом Сталине, Храпченко пьеса эта понравилась, но и он, и Москвин, конечно, понимали, что без прямого разрешения Сталина пьесу нельзя принимать к постановке. Пьеса самому ему показалась романтической и сильной. Он послал ее с письмом к Сталину. Написал, что – вот Булгаков создал пьесу, по которой МХАТ хочет поставить спектакль и на это испрашивается разрешение. Прошло буквально два или три дня, как вдруг раздался звонок от Жданова. Жданов вызвал Храпченко к себе и сказал ему: Товарищ Сталин прочел пьесу и поручил вам сообщить, что пьесу следует запретить к постановке и печати.

Едва он это сказал, как раздался звонок. Жданов взял трубку. У телефона был Сталин. – Да, товарищ Сталин. Да, он уже у меня. Да, товарищ Сталин.

Жданов повесил трубку и еще раз, в самой жесткой форме повторил это двойное запрещение. Храпченко высказал по этому поводу свои догадки. Вряд ли, считает он, пьеса сама по себе могла вызвать какое-то возмущение, резкий протест Сталина. Она ничего такого в себе, по-видимому, не заключала. Он мог, конечно, не дать ее ставить, сказать, что это не нужно, но реакция была иная, резкая и возмущенная. Единственное объяснение, которое приходит в голову Храпченко, что в период работы над этой пьесой у Булгакова были какие-то разговоры с кем-то из мхатовцев, или из других близких ему людей, о которых именно в этот период он высказывал какие-то взгляды или соображения, не соответствовавшие той оценке, которую он давал Сталину в пьесе, входившие в противоречие с этой оценкой. Может быть какая-то домашняя болтовня, разговоры, которые поспешили сообщить Сталину. И вот это противоречие между тем, что говорится о нем в кругу Булгакова, и тем, что написано о нем в пьесе – вот это противоречие, очевидно, и привело Сталина в крайнее раздражение.

И, наконец, Храпченко сказал мне, что, по его мнению, Сталин весьма высоко ценил Эренбурга, считая его человеком, способным сделать то, что будет поручено им, Сталиным. При чтении «Люди, годы, жизнь», Храпченко показалось, что Эренбург эту сторону дела как-то оставил в тени. Между тем, когда вскоре после войны, Эренбург написал «Лев на площади» и стал вопрос о том, ставить или не ставить эту пьесу – она была задержана реперткомом – Эренбург пришел к Храпченко с просьбой решить вопрос о том, чтобы пьесу все-таки поставили. Храпченко сказал, – к этому времени он прочел пьесу, – что он считает, что пьесу можно поставить, но ведь с людьми, которые возражают против нее, надо все-таки, поговорить, и ему надо на это два-три дня. – Ну да, сказал Эренбург, может быть даже и больше, вам нужно ее, наверное, перепечатать на хорошей бумаге, – намечая на посылку пьесы наверх. Но, в данном случае Храпченко, по его словам, не собирался посылать пьесу, посылать было некому, никто бы не решил. А Сталину посылать он не видел возможности. Ровно через два дня раздался звонок от Сталина, который сказал, что пьесу надо пустить. Оказывается, прежде, чем идти к Храпченко, Эренбург послал пьесу Сталину и тот прочел ее всего за два или три дня.

Из записей о Сталине

Мне лично что-то так и не верится в растерянность Сталина, о которой говорят, вспоминая первые дни войны. Все-таки в моих глазах, в моем ощущении – это не растерянность, а потрясение. Во всяком случае, я бы так назвал это состояние. Состояние потрясенности, может быть шока. Во всяком случае, когда Сталин вышел из этого шока через несколько дней после начала войны, то перед ним предстала действительность страшная, ужасающая, никак не соответствовавшая всем его прежним представлениям. Не соответствовавшая не только потому, что он не предвидел такого начала войны и до последнего момента считал, что ему удастся дипломатическими маневрами отодвинуть это начало, но и потому, что он не предвидел тех последствий, которые вызовет это неожиданное начало войны. Он не предвидел ни глубины немецкого вторжения, ни его силы, ни меры наших поражений, ни меры растерянности многих людей, ни меры территориальных и людских потерь, понесенных в первые же дни войны.

Надо полагать, что в эти дни его собственное душевное состояние было ужасно, и он испытывал чувство ответственности за все происшедшее и понимал масштабы этой ответственности. Он был вообще человек с очень обостренным чувством масштаба.

Какие же выходы были у него из создавшегося положения? Надо рассматривать две возможности по отношению к самой войне – продолжение войны, начавшейся столь ужасно и в столь невыгодных для нас условиях и с такими поражениями, или попытка заключить мир, на самых тяжелых, но всё же на каких-то условиях. Мир, который был бы передышкой, который позволил бы впоследствии, при изменении обстановки на западе, как-то собраться с силами и в более выгодной ситуации продолжить войну.

Сначала такая мысль, когда она приходит в голову, кажется и неожиданной и не сочетаемой с личностью Сталина. Однако, это не верно. В такой обстановке не могло не приходиться мысли о мире на каких-то, пусть тягостных, условиях, как об одном из возможных выходов из положения.

В политике, в политическом деятеле, твердость означает твердость проведения какого-то плана, который проводится с твердостью

и последовательностью. Если этот план связан с заключением похабного мира, то само заключение этого похабного мира может быть проявлением твердости, как это было во времена Брестского мира. Призывы к революционной войне, несмотря на их внешнюю храбрость и даже отчаянность, были признаком слабости, политической слабости, отсутствия твердого плана, которого сторонники продолжения революционной войны не имели.

Поэтому для меня лично, мысль о том, что Сталину мог прийти в голову и вариант заключения мира ради получения передышки, ради спасения того, что осталось, вообще не кажется странной, вполне сочетается с моими представлениями о нем, как о политическом деятеле.

В конце-то концов, если быть справедливыми и отрешиться от привходящих эмоций, то пакт тридцать девятого года, пакт не очень нас украсивший, создавший массу идеологических сложностей в коммунистическом движении, был заключен как некое временное перемирие, дававшее возможность нашей стране собраться с силами для последующей борьбы с фашизмом. Если это не так, то тогда этому пакту нет, и не может быть оправдания. Но это, видимо, так, что-нибудь иное предположить трудно. Политические обстоятельства, в которых был заключен этот пакт, были достаточно безвыходными или казались такими.

Ну, а ситуация в начале войны была во много раз безвыходней, или могла казаться во много раз безвыходней. Так что аналогия вполне закономерна.

Я допускаю в мыслях, что в этом направлении мог быть произведен и какой-то зондаж. Я даже слышал об этом, хотя, как говорят, слухи ничего не стоят, если они не подтверждены абсолютно достоверными документами.

* * *

На процессе Берия выяснилось следующее неожиданное обстоятельство: один полковник, видимо, арестованный, но на этот процесс вызванный в качестве свидетеля, – полковник органов – сообщил, что через несколько дней после начала войны он был вызван к Берия, и тот ему передал задание, которое сам получил в свою очередь от Ста-

лина: связаться с болгарским послом, как с посредником, и через него выяснить у немцев, на каких условиях готовы они остановить войну, согласиться на перемирие, впоследствии – на мир. По словам Берия, который в свою очередь передавал слова Сталина, среди прочих условий, мы готовы были им уступить Прибалтику, Белоруссию по Минск и Украину по Днепр, то есть всю правобережную Украину.

Полковник обратился с этим к болгарскому послу, но тот отказался принять это поручение.

Когда эти показания были даны, в связи с ними был допрошен Берия. Берия показал, что действительно давал такое задание этому полковнику, и это было не его задание, а задание Сталина, что он был у Сталина, который в это время находился вместе с Молотовым, и в присутствии Молотова дал ему именно такое поручение. Насколько я понял, впоследствии это поручение не повторялось.

В ходе следствия пришла мысль проверить это. Решено было выяснить, где находится болгарин, который был тогда послом у нас. Если возможно – вызвать его в Москву. Связались с болгарскими. Оказалось, что этот человек жив, но болен, приехать в Москву не может, однако, он прислал вместо себя подробное письмо, в котором подтверждал, что этот полковник являлся к нему с таким поручением, сказал, что это поручение идет от Сталина и что он, болгарский посол, ответил ему, что он отказывается быть посредником в этих переговорах с немцами, он просил передать Сталину, что не надо этого делать, не надо уступать этого немцам, что Россию победить невозможно...

Таково было содержание письма бывшего болгарского посла. Перед людьми, проводившими следствие, возникла трудность, как выяснить, насколько это предложение в действительности исходило от Сталина, потому что вполне мог быть и такой вариант, что Берия, с его авантюристическими замашками, хотел этот зондаж произвести на собственный риск, а потом, если сложатся соответствующие обстоятельства, доложить Сталину, как свою победу. То есть, он мог говорить это от имени Сталина, не имея на то его указаний.

Сложность заключалась в том, что, по словам Берия, этот разговор втроем происходил в присутствии Молотова. Значит, нужно было допрашивать на эту тему Молотова. И, по тогдашним обстоятельствам, на это не пошли. Вопрос так и остался неясным.

Это я уже говорю от себя, размышляя над тем, что вероятнее: что это был собственный зондаж Берия, или это был действительно зондаж Сталина в те первые дни, когда он пребывал в растерянности, что подтверждают с разных сторон разные лица. Я лично склоняюсь к тому, что это могло быть, что в этот период Сталин вполне мог поручить произвести такой зондаж. И мог даже искать для себя исторические оправдания в аналогии с позицией Ленина в восемнадцатом году, в период переговоров о Брестском мире.

* * *

Но, так или иначе, эта возможность видимо была отвергнута. И отвергнута довольно быстро. Оставалось воевать. Воевать в самых невыгодных, какие только можно представить себе, условиях с самым сильным, какого только можно представить себе, противником.

Перед лицом этой необходимости стоял Сталин, человек, который нес главную военную и политическую ответственность за неудачное начало войны, который признавал эту ответственность и, в конечном итоге, пронес это сознание через всю войну. И даже считал своим долгом, после победы, произнося тост за великий русский народ, напомнить о том, что, во-первых, страна переживала во время войны моменты отчаянного положения, и, во-вторых, сказать о том, что другой народ мог бы, после первых поражений, сказать правительству – «уходите, пусть другие придут на ваше место. Вы не справились с тем, что вам было поручено». Примерно, смысл таков.

Причем сказал это Сталин ни в коей мере не вынужденно. Он сказал это на гребне победы, на гребне своей популярности. То был июнь сорок пятого года. Ни до, ни после, никогда не стоял так высоко его авторитет, как именно в тот момент, сразу после окончания войны.

Еще не была сброшена атомная бомба на Хиросиму, которая сказала нам о превосходстве американского вооружения, о том, что у американцев есть нечто, чего нет у нас, и что уравнивает наши силы и даже, в какой-то мере, обесценивает наши усилия. Этого еще не было, это был самый гребень победы. И вот на этом гребне Сталин сказал об ответственности правительства, т.е. о своей, таким образом, ответственности, потому что в его устах это ни в какой мере не

звучало переваливанием ответственности на чьи-то чужие плечи. Он говорил о себе, прежде всего.

В связи с этим, очень кстати вспоминается, как в сорок восьмом году, когда я говорил с ним по телефону, и когда он изложил по телефону свои предложения в связи с моей пьесой «Чужая тень», как бы надо было ее закончить, он сказал тогда, что: «ну надо, чтобы какой-то ваш герой обратился в правительство и правительство решило бы так-то и так-то...» Была фразеология, вполне соответствующая его ходу мысли, он имел в виду себя, а говорил – правительство.

Так он говорил и в своей речи, в своем тосте о великом русском народе; приносил благодарность этому народу, в тот момент, когда все готовы были благодарить его за так удачно и победоносно завершённую войну. И именно в этот момент это произвело на всех нас особенно большое, даже огромное впечатление.

Сталин вообще редко повторялся и он больше не повторял ничего похожего. Когда он это сказал, этим как бы был завершён этап истории. Он как бы считал, что невозможно закончить этот этап, закрыть его, не сказав то, что он считал нужным сказать по этому поводу. А это он считал необходимым сказать – о своем чувстве ответственности. Он считал, что после катастрофы сорок первого года народ был вправе не доверять ему дальнейшего. Но народ ему доверил. За это он благодарил народ.

Так ли это было в его самоощущении, во всяком случае, в том, как он об этом говорил, было так.

* * *

Теперь, если вернуться в сорок первый год, то рассмотрим реальную ситуацию. Итак, на нем лежит огромная ответственность за миллионы жертв, за неудачное начало войны, за все, что с этим связано и будет связано на всем протяжении войны. Какие два выхода у него есть? Или уйти от власти, или остаться у власти – что-нибудь среднее предположить трудно. И не такое время было, чтобы с кем-то делить власть и не такой он человек был, чтобы с кем-то ее делить.

Итак, первое – уйти от власти, кончить жизнь политическим или физическим самоубийством, или и тем и другим вместе. Я не верю в

то, что этот человек не был лично храбрым или, что он мог бояться смерти больше, чем какие-то другие люди, попавшие в его положение. Меня не разубеждают в этом и все те меры по своей охране, достигающие до патологии, которые предпринимал он в последние годы жизни. И это была патология – в этом присутствовало стремление сохранить жизнь товарища Сталина, не свою жизнь, а жизнь третьего лица, человека, который руководит страной и является вождем трудящихся всего мира, такого, без которого все пропадет и погибнет. Вот причина, лежащая в основе этой патологии.

Итак, Сталин бы нашел в себе решимость покончить жизнь самоубийством, приняв на себя ответственность за начало войны. Если бы он такое решение принял – это решение значило бы, что он уйдет, что на его место придет кто-то другой, – в той обстановке, судя по всему, Молотов. А что за этим последовало бы – остается только догадываться. Что бы мы потом ни узнали о Сталине, как бы ни переменялось наше отношение к нему за эти десятилетия, но если вернуться к тому периоду, к тому месту в жизни страны и нашей духовной жизни, которое он занимал тогда, надо признать что его уход от власти, тем более самоубийство, да, в конце концов, его отставка, навряд ли усилила бы наши позиции, национальные, государственные, военные в борьбе с наступавшей германской армией. Наоборот, думается, это произвело бы самое тягчайшее впечатление и способствовало бы разложению фронта и разложению власти.

Это настолько очевидно, что если мысленно представить себе такую возможность в то время, я убежден, что люди, причастные к власти и озабоченные тем, чтобы эта власть сохранилась и чтобы продолжалось сопротивление немецкому нашествию, эти люди сочли бы необходимым скрыть факт отставки или факт самоубийства Сталина. Они бы изобразили это как неожиданную смерть и были бы и с государственной, и с политической точки зрения правы.

Но Сталин выбрал второе – он остался у руководства страной очевидно, отторгаясь от соображений личных, приняв только соображения государственные или военные, сделав выбор правильный. Так он и должен был поступить, исходя из интересов войны.

* * *

Но раз он остался у руководства страной, – а страну постигла такая огромная неудача в начале войны, такие поражения, то он – и это, с его точки зрения, логично – не считал возможным брать ответственность за эти поражения на себя, человека, которому предстояло и дальше руководить войной и которому предстояло не разрушать, а укреплять свой авторитет, и так в какой-то мере подорванный началом войны. Следовательно, он сделал ответственными за неудачное начало войны других людей, в первую очередь командование Западного фронта, наиболее неудачно действовавшего и подвергнутого самому сильному удару немцев.

С точки зрения военной этики, военной чести и т.д. и т.п. разумеется, Павлов и Климовских, командующий, начальник штаба фронта, да и ряд других генералов, особенно неудачно действовавших в начале войны, имели не меньшие моральные основания пустить себе пулю в лоб, чем Самсонов, потерпевший так называемую августовскую катастрофу в Восточной Пруссии в 1914 году, катастрофу, которая не шла по масштабам ни в какое сравнение с теми катастрофами, которые пришлось пережить нам на Западном фронте.

Вопрос о том нес ли, скажем, Павлов ответственность за поражение, понесенное Западным фронтом ясен – нес. Потребовать с него ответственности можно было – тоже ясно, как и с целого ряда других людей. Другой вопрос – нравственно ли было называть их предателями, зная, что они не предатели, а просто потерпевшие поражение и не лучшим образом справившиеся со своими обязанностями генералы. Но Сталин этим пренебрег. Масштабы поражений, масштабы неудач, требовали, с его точки зрения, общепонятных и крайних в этой общепонятности формулировок – не просто неудачные или слабые действия, а – измена, предательство, трусость. Такие формулировки и были даны, и по этим формулировкам и было расстреляно несколько человек на Западном фронте, с публикацией этого в печати и в приказах.

Интересно – об этом я подумал уже сейчас, перечитывая приказы того времени, – что Сталин взял: командующего фронтом, начальника штаба, одного командарма, одного или двух командиров корпусов, и двух или трех командиров дивизий – всего семь или восемь человек.

Они были как бы выборные из большого количества людей разных рангов, разных званий. Люди, с которыми можно, по сути, поделить те же самые обвинения в тот момент. Выбраны не расширительно, все это было сосредоточено на одном фронте, не затрагивало другие фронты.

Думается, что в этом проявился элемент трезвого расчета, и в этом была своя логика.

В последующие два месяца войны – пострадало большое количество авиационных генералов, в том числе людей, отличившихся в Испании. Почему именно они? Думается, это было связано с тем особенно ясно выявившимся неблагополучием именно в авиации, которое, прежде всего, бросилось в глаза в первые дни войны. В этой области меньше всего ожидали того, что произошло.

Я допускаю, что здесь чаще выдавали желаемое за действительное, больше врал в докладах, меньше всего докладывали истинное положение вещей. Приверженность Сталина авиации, особое внимание его к ней, вплоть до наименования летчиков сталинскими соколами, все это было очень хорошо, пока все было неплохо. А вот когда стало плохо, когда именно авиация оказалась в самом неблагополучном положении, по сравнению со всеми другими родами войск, и это определило целый ряд наших поражений, в том числе поражение наших танковых войск в начале войны, вот все это и обрушилось на головы авиаторов. Но это уже более частный вопрос. Вернусь к более существенному.

Наиболее тяжелое поражение, которое мы понесли в сорок первом году – это Киевское окружение. За то, что там произошло, никто из людей, отвечавших за это, под трибунал не пошел. Дальше – Вяземская катастрофа Западного и Резервного фронтов. И оба командующие фронтами и оба начальника штаба фронта тоже не были призваны Сталиным за это к ответу.

Сорок второй год – Керченская катастрофа. Командующий фронтом понижен в звании, представитель Ставки понижен в звании, но опять-таки никто не пошел под трибунал.

Харьковская катастрофа – те, кто нес ответственность за случившееся, тоже не понесли наказания.

Наконец весна сорок третьего года, последняя наша крупная неудача – оставление Харькова и отступление на сто двадцать километров фронта, которым командовал Голиков. Тоже дело обошлось снятием командующего фронтом.

Итак, несправедливо было бы говорить, что Сталин всю ответственность стремился и в дальнейшем возложить на тех или иных генералов, по объективным или субъективным причинам провалившихся те или иные операции или понесших крупные поражения, находясь во главе вверенных им войск.

И мне думается, что всему этому существуют, по крайней мере, два объяснения, связанные друг с другом. Первое – это политическая трезвость и понимание, что воевать – сколько бы ни пришлось воевать – придется с теми людьми, которые есть, других взять неоткуда, других может выдвинуть только сама война. И швыряться людьми хоть на что-то годными, хоть в той или иной мере, большей или меньшей, но полезными, – нельзя.

Мера неподготовленности к войне, мера недостатков всякого рода в сорок первом – сорок втором году по линии вооружений, снаряжения, боеприпасов и т.д. были хорошо известны Сталину, и, видимо, он учитывал это, подводя итоги тем или другим неудачам и поражениям, и соотнося эти поражения с мерой ответственности людей, перед которыми были поставлены задачи в той или иной мере невыполнимые, или не до конца выполнимые.

Само положение, сложившееся в результате нападения немцев, в результате катастрофы первого периода войны, снимало с людей, командовавших армиями и фронтами, часть ответственности за последующие поражения. Видимо так это было и в глазах Сталина.

Второе объяснение, связанное с первым – собственная ответственность Сталина, о которой он считал нужным сказать в конце войны, которую он чувствовал, и принимал во внимание при оценках действий подчиненных ему как главнокомандующему генералов. Он понимал, что в каждой неудаче или не полной удаче, за которую несут ответственность они, лежит и часть его собственной ответственности. Оставив себя у власти, не покарвав самого себя за ту гигантскую неудачу, которой оказалось начало войны, Сталин видимо удерживал себя от того, чтобы карать людей за несравнимо меньшие неудачи,

первоосновой которых была та неудача, за которую нес ответственность он сам. Та, главная, основная и первая.

Допускаю, что он возвращался в своих мыслях и к разгрому военных кадров в 37-38 году. Он знал общие цифры, несомненно. Он просто фактически помнил, кого была лишена армия. Кроме того, те люди, которые вернулись, – а их было около трети, он это тоже знал – воевали так, что это могло лишь подчеркнуть неоправданность репрессий 37-38 года.

* * *

Говорили, верней, не говорили, молчаливо думали – он знал, что так думают, что без них, без тех – не справиться на войне. Ничего, справились. Незаменимых людей нет.

Он понимал эту фразу в своем, в совершенно определенном и жестоким смысле. Говоря ее, или мысленно возвращаясь к ней, он не думал ни о старости, ни о смерти кого-то; он думал о снятии или замене. То, что было в тридцать седьмом – было формой замены, только и всего. Ждать старости этих людей не приходилось, об их пенсиях не думал он, да и они сами не думали о своих пенсиях. Ждать их старости не приходилось хотя бы потому, что он был старше большинства из них, некоторых намного старше: на пятнадцать лет.

Он не любил обид и не любил обиженных. Людей лучше уничтожать, чем обижать. Начатое надо доделывать до конца. А те, что выпущены – не первые, не первостатейные, не те, что могли бы претендовать на большее, на самое большое, этих в живых не осталось, – а другие выпущенные, второй категории и третьей, – они хорошо воюют. Да, хорошо. Он, впрочем, другого и не ожидал.

Но он не дал, не позволил им считать себя обиженными. Он не допустил и намека на создание атмосферы, в которой они могли бы считать себя обиженными вообще и тем более им персонально. Они были не обиженные, а прощенные, благодетельствованные, поправленные. И поправил дело он. Другие испортили, а он поправил. Он внял их обращениям; они почти все писали ему. Они не знали о других, что писали ему все, но о себе они знали: писал и считал, что именно это помогло. Хотя помогло не это, во всяком случае, в большинстве случаев, не это.

* * *

Если Сталин ни в какой форме не нашел нужным возвращаться к этому вопросу, то, как свидетельствуют воспоминания некоторых людей, его отношения к Рокоссовскому, к Мерецкову и к ряду других людей, в то или иное время оказавшихся в положении Рокоссовского, было подчеркнуто внимательным, с подчеркнутым выражением доверия.

Думаю, что и эта деталь связана с тем чувством ответственности, о котором я уже говорил.

О Мехлисе и Запорожце

В отношении к Мехлису Сталин проявлял своего рода нравственное двурушничество. Это интересная психологическая черта. С одной стороны, он знал цену Мехлису, в чем-то не любил его и высмеивал. С этим связано множество фактов, приведенных мне разными людьми. А, с другой стороны, он не давал его до конца в обиду. И даже после керченской катастрофы все-таки Мехлис не получил сполна то, чего заслуживал по общему мнению.

После Финской войны, где он тоже неудачно действовал в качестве члена Военного Совета армии, кроме того, вообще неудачно высказывался на Военном Совете, тем не менее он при довольно уничижительной оценке, которую Сталин ему тогда дал, пошел на Госконтроль, то есть был убран из армии. Но как только началась война, решительный момент, опасный момент, – Сталин назначил его немедленно начальником Политуправления армии взамен Запорожца. Назначил, очевидно, как абсолютно преданного себе человека, который, по его мнению, в критический момент мог увидеть измену, и доложить о ней, и принять против нее меры, находясь на этом посту.

Чем либо иным трудно объяснить назначение Мехлиса на этот пост в начале войны.

Что касается Запорожца, то я сейчас прочел в Архивном Управлении две резчайших докладных записки Запорожца Сталину, непосредственно Сталину, кажется, в конце мая – в начале июня 41-го года – одна о неготовности новых укрепленных районов на территории Западной Украины, а другая записка о неготовности аэродромов к

войне: в обеих записках указываются катастрофические факты, сводившиеся к тому, что, например, зенитные полки наши могут в полную силу стрелять только через три дня после начала войны, после того, как в них явится приписной состав, если начнется война, то в первый момент они могут стрелять только вполсилы, что аэродромы абсолютно не готовы ко взлету истребителей, что в укрепленных районах УРах, потребуется время для того, чтобы их привести в боевую готовность, что они тоже не укомплектованы воинскими частями, что нет амбразур и так далее и так далее. Целый ряд вопиющих фактов.

Эти две докладные записки наводят на мысль, что может быть и снятие Запорожца с этой должности в первые дни войны было связано с неприятными воспоминаниями об этих записках, и возможно – с ощущением, что надо убрать из Политуправления, с главного поста в нем человека, который предупреждал и теперь может сослаться на то, что он предупреждал, и которого не послушались.

В облик Запорожца для меня это вносит совершенно новые черты, я не представлял себе этого человека способным на такие акты, как эти записки, на которых можно было сломить голову в два счета.

Остается выяснить, собственная ли это была инициатива, или подсказка, – допускаю, что Кирпоноса, допускаю, что и Хрущева, а может быть и кого-то другого, непосредственно военных, с которыми он имел дело там, в Киевском военном округе, но факт того, что этот человек так или иначе – кто бы его ни подготовил и кто бы его ни подтолкнул на эти записки – подписал их и направил Сталину, говорит о проявленном им в тот момент и в той атмосфере, незаурядном мужестве, когда безопасным было делать вид, что все хорошо.

Да, комвойска кое-что доносили Сталину перед войной, но если он и не слушал их, то надо взять и вторую сторону дела: доносят, а сами ничего не делают, палец о палец не ударяют. Ну, кто им мешал привести войска, хотя бы в относительную боевую готовность! Кто бы с них за это спросил? А в основе всего этого лежат кадры. Незнание, непонимание кадров. И, конечно, то, что из пяти командующих фронтами, трех командующих направлениями, которые были в начале войны, ни один ни остался к концу войны на должности командующего фронтом, – это не случайность. Это свидетельство того, что кадры перед войной были продуманы и подобраны неправильно.

О странах народной демократии

Когда я думал о тех послевоенных процессах, которые проходили в Польше, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Болгарии, о процессах Паукера, Костова, Сланского, Райха, которые потом все оказались фальсифицированными, и за которые задним числом возлагается и не может не возлагаться ответственность на Георгиу-Дежа, на Димитрова и Червенкова, на Готвальда и Ракоши, – я думаю о том, почему Сталин толкал к этим процессам и уж если не толкал, хотя наверное можно будет доказать, что толкал, – почему одобрял их и разрешал, ибо если бы не одобрял и не разрешал, их бы не было.

И рождается мысль, что это происходило помимо других причин, еще и потому, что он хотел крепче держать в руках людей, руководивших этими странами и партиями, хотел туже привязать их к себе и к своему собственному образу действий.

Хотел, чтобы у них за спиной осталось то же самое, что осталось за спиной у него. Чтобы они не были чисты, чтобы они были скомпрометированы тем, что произошло, и тем самым надежнее привязаны к нему, к его воле, к его политике, не могли бы пытаться вести независимую политику. Чтобы помнили, что ему есть о чем напомнить, если они будут делать не то, что он считает нужным.

При этом, насколько я понимаю, он оставлял для себя и запасные ходы: запросы, настояния, чтобы лучше разобрались: «Посмотрите, так ли это?.. Ах, так? Вы уверены в этом? Ну, действуйте тогда».

И это уже второй ход, для того, чтобы самому не оказаться привязанным к людям, которых он накрепко прикрутил к себе. Как в театре – запасный выход.

Октябрь 1968 г.

Из записей, сделанных во время поездки в Монголию

Сталин вызвал Малиновского, Захарова, который был тогда начальником штаба, и меня. Сказал, после того, как поздоровался:

– Вам предстоит ехать на Дальний Восток. На вас лежит задача восстановить исторические права России на Дальнем Востоке, вер-

нуть все, что было отнято, восстановить положение. Мешкать с этим нельзя. Это вы должны учесть и готовиться возможно в более сжатые сроки. Американцы и англичане проиграли войну здесь, в Европе, и мы не должны допустить, чтобы они выиграли ее там, на Дальнем Востоке. Они будут торопиться взять реванш. И если мы задержимся, то Япония может капитулировать без нас, без нашего участия. Этого допустить нельзя.

Наступление было первоначально спланировано на 18-ое августа, а началось оно 8-го или 9-го, на следующий день после того, как американцы бросили свою атомную бомбу.

1964 г.

О судьбе Абхазии

Как решалась судьба абхазского народа. Запись из третьих рук.

В 49-м году у Сталина на даче, здесь в Абхазии, был тогдашний первый секретарь Обкома Абхазии Мгевадзе и тогдашний председатель совета министров Абхазии Делба.

Сталин занимался, видно, ближневосточными вопросами, во всяком случае, Поскребышев развесил ему карту Ближнего Востока, довольно крупную, не специальную, не стратегическую, а общую карту. Когда Мгевадзе и Делба приехали по вызову Сталина, он с ними поздоровался, приветствуя их, не за руку, а продолжая ходить, куря трубку. Они тоже стояли, хоть он предложил им садиться.

Он походил возле карты, потом сказал:

– Сваны – грузины, абхазцы ближе к грузинам, чем сваны. Кому могло прийти в голову говорить, что абхазцы не грузины? Бедный Лакоба не мог этого понять.

На том и кончился разговор. И люди, которые присутствовали при этом разговоре, уехали с дачи Сталина и проводили соответствующую политику. Это было безоговорочно данное таким образом указание: считать абхазцев – грузинами. Стали закрываться абхазские школы и вскоре были приняты различные меры к тому, чтобы абхазцев превратить в грузин, растворить, ассимилировать. Вот и вся история.

(Гульрипиш. Без даты)

Ошибка Черняховского

Очень характерно в воспоминаниях Мернова о Черняховском упоминание о том, что Черняховский считал, что он допустил ошибку, сказав Сталину подробно о группировке немецких войск в Пруссии и о том, что там сильные оборонительные укрепления.

Что значит – совершил ошибку? То есть он не приспособился к тому, чего хотел и чего не хотел слышать Сталин. Ошибку он совершил не в том смысле, что он сказал об этом, потому, что об этом надо было сказать, оценка противника, группировки его, его укрепления была необходимой предпосылкой к тому, чтобы развернуть свои предложения. Но Сталин этого не любил. Знал, что Восточная Пруссия – крепкий орешек, безусловно, но он не хотел об этом слышать. Он воспринимал это как стремление застраховаться трудностями или как желание больше выторговать себе при начале операции. И вообще не желал об этом слышать.

В том, что Черняховский это не учел, и состояла его ошибка. Или, вернее, это приходилось считать за ошибку, хотя по сути дела все это было совершенно верно.

* * *

Решить, кто из героев книги будет наблюдать за прохождением немцев по Москве. Может быть жена Серпилина?

Разговор об этом прохождении между Серпилиным и Иваном Алексеевичем; спор о значении этого.

Не хотел ли Сталин, кроме того, что намеревался произвести этим проходом немцев по Москве внушительное впечатление, еще и показать всему миру, что вопреки распространяющимся слухам, эти капитулировавшие немцы живы и целы и проходят по Москве во главе с генералами. Вот они, никто их не убил на месте, не уничтожил. Условия капитуляции соблюдены.

Таким образом, этим проходом немцев по Москве убиты сразу два зайца: и унижены немцы, и доставлено удовлетворение населению, подчеркнута победа, и дано понять общественному мнению Запада прежде всего, да возможно и тем немцам, которым предстоит попасть в плен, что они остаются живы и целы. Возможно ведь, и немецкая

печать – пусть в возмущенных тонах, каких угодно – напишет, что вот русские варвары провели пленных по Москве, что это незаконно, подло и так далее, но раз напишут, то будут знать, что те, кто сдались в Белоруссии, те остались живы и прошли по Москве.

Проход немцев по Москве. Дать в этот день все, чем живет Москва, суетное и несуетное – все подряд.

Аресты 41 года

Аресты весны и лета сорок первого года, происшедшие после обострения ситуации, после нападения Германии на Югославию и после выявившейся уже совершенно четко опасности войны, видимо, носили тот самый превентивный характер, который носили и другие акции такого рода. Арестованы были Штерн, Смушкевич, Рычагов, еще ряд командующих авиационными округами, некоторые другие генералы. А ряд людей был подготовлен к аресту. Как теперь выяснилось, должны были арестовать, например, Говорова.

Видимо, это была акция – в предвидении войны ликвидировать еще каких-то недостаточно надежных, с точки зрения Сталина, или не его прямо, а соответствующих органов и анкет, людей.

Вместо того чтобы в преддверии войны собрать армию в кулак и думать о действительной опасности, об опасности, надвигавшейся на границы, о приведении войск к предельной боевой готовности, думали о том, кто еще может оказаться изменником, кто еще может оказаться на подозрении, кого еще надо изъять до того как немцы нападут на нас, если нападут. Вот о чем заботился в это время Сталин. Наряду с другими, конечно. Но эти заботы отнимали у него, видимо, немало внимания.

(Без даты)

* * *

Нелепо было бы, конечно, предполагать, что Сталин как верховный главнокомандующий в каждом случае не хотел бы обойтись наименьшими потерями.

Но дело в том, что стиль руководства сверху, шедший от Сталина, и в первую очередь та черта этого стиля руководства, которая была связана с систематическим, постоянным запозданием в переходе от наступления к обороне, в стремлении выжать из войск все, последние километры, на которых больше всего и теряли, и остановиться как можно позже, вопреки предложениям и докладам командующих армий и фронтов, – этот стиль руководства объективно вел к растрате сил, к неоправданно большим потерям в конце каждой операции, и тем самым в итоге – и к затяжке начала последующей операции. Или к сокращению времени ее планирования и подготовки. Что опять в свою очередь в итоге приводило к лишним потерям.

Словом, эта черта в стиле руководства неотвратимо вела к потерям большим, чем они могли бы быть при другом стиле руководства.

Попробовать психологически вскрыть, почему он так поступал. Что в нем говорило, кроме безжалостности к людям и равнодушия к потерям. Стремление выжать из людей все, на что они способны? Мобилизовать внутренние ресурсы?

(Без даты)

Непогрешимость

Сказать о психологическом влиянии неограниченной власти, вернее, того постепенно создающегося ощущения отсутствия реальных препятствий для выполнения задуманного и намеченного, которое возникает при неограниченной власти, как это ощущение разрушает личность.

Один из пиков такого ощущения был у Сталина в 37-38 году. В объяснение всех массовых репрессий того времени, а в особенности в объяснение той ликвидации партийной и военной верхушки, которую он в то время предпринял, можно высказать следующие соображения.

Конечно же, он готовился к войне и думал о ней. Конечно, он страстно хотел победить в этой войне с фашизмом. Конечно, он понимал до какой-то степени, что ликвидация – возьмем только этот вопрос – верхушки военных кадров наносит определенный ущерб делу обороны. Но он понимал это именно до какой-то и до очень неболь-

шой – степени, потому что к тому времени у него настолько сложилось ощущение масштабов своего величия, всевластья, что ему казалось: был бы он во главе страны и коммунистического движения, был бы целиком и полностью обеспечен его авторитет, было бы целиком и полностью обеспечено выполнение его воли и его планов, – и остальное все приложится. Дело не в людях, которые будут его окружать, то – есть не в их собственных способностях и талантах, – дело в том, чтобы его окружали люди, которые будут безоговорочно и при этом – и из страха, и из веры, и из безграничного преклонения перед ним, – тщательно выполнять его волю и его планы. Если будет это, то все остальное приложится, все будет в порядке. Он уже не придавал значения способностям других людей, их инициативе, их возможностям что-то увидеть, чего он не видел, или что-то посоветовать, чего он сам не мог себе посоветовать.

А люди, которых он уничтожил и уничтожал, хотя и были способными людьми, но в его представлении отнюдь не незаменимыми. В то же время эти люди, напоминали ему о тех временах, когда он не был еще безусловным авторитетом; их мировоззрение, их мироощущение сложилось именно в тот период и, по его представлениям, они были в чем-то правы, такими и должны были хотя бы отчасти сохраниться, несмотря на всю меру его возвышения. У него не было оснований считать, что эти люди недостаточно преданы делу коммунизма, или своей родине. Но, у него имелись известные основания считать, что они менее преданы лично ему, чем те, кто всем обязан ему и только ему, чем те, кто сформировался от начала до конца под его непосредственным воздействием. Я допускаю даже и такую мысль, что 37-38 г был, в скрытой форме, связан непосредственно с подготовкой к войне, с тем, что он предвидел эту войну и в чем-то опасался ее. И опасался именно того, что в решительную минуту войны, когда армия – он понимал это – приобретет большее значение, чем в мирное время, а, следовательно, и военачальники приобретут большую власть, что они могут стать такой силой, которая окажется опасной для него лично.

В это надо внести еще одну значительную поправку. В силу своего самоощущения, он, очевидно, и в собственных глазах становился все неотделимее и неотделимее от коммунизма, от победы дела коммунизма в мировом масштабе, от Советской России, от партии. И эта

подмена одного другим сначала искусственная, становилась для него все более истинной. Допускаю и это. И люди, которые казались недостаточно преданными ему, в условиях, когда он стал олицетворять партию, и советскую власть, и вообще все на свете, таким образом, механически считались людьми, недостаточно преданными советской власти, партии, всему на свете.

Если задним числом заглянуть в души этих людей, в частности расстрелянных тогда военных, то, конечно, можно допустить, что у них были свои взгляды на Сталина, на Ворошилова, на то, кого он выдвигает в армии и кого задвигает, на полезность тех или иных его мероприятий, словом, были и критические взгляды, тем более, что в их памяти он не возникал как организатор победы во время гражданской войны, а являлся лишь одним из нескольких самых крупных военно-политических деятелей периода гражданской войны, каким он и был в действительности. Но одним из, и не более того.

Эта точка зрения на него, разумеется, ничего общего не имела с изменой делу партии и родине, а просто была до известной степени критической точкой зрения, которая в обстановке, созданной Сталиным к тому времени в стране, будучи сформулированной, ощущалась бы как измена.

Первое отрезвление пришло с Финской войной. Он совершенно искренне не ожидал такого хода этой войны, и то совещание, которое было весной сорокового года, с анализом итогов Финской войны, было попыткой посмотреть правде в глаза, хотя дело после этого и не было доведено до конца. Но во всяком случае, снятие Ворошилова, назначение Тимошенко и то, что Тимошенко были развязаны руки в смысле наведения порядка в армии после того развала, до которого ее довели 37-38 годами, – все это были серьезные и положительные факторы, свидетельствовавшие об отрезвлении.

Ряд мер, принятых к перевооружению армии, к ускорению производства новых танков и самолетов, «катюш» и так далее, тоже свидетельствовал о более трезвом взгляде на будущее, чем было до этого.

Сталину казалось, что война в Европе будет происходить иначе, чем она произошла. Самым страшным ударом по его планам был разгром Франции в сороковом году. Этого он никак не предвидел и не мог предвидеть. Я лично думаю, не имея для этого никаких докумен-

тальных оснований, что его план сводился к следующему – и таков был его план с самого начала, с периода переговоров с Риббентропом. Во-первых, выйти на как можно более передовые европейские рубежи, в непосредственную близость к фашистской Германии, сойтись с нею бок о бок. Это было сделано. Во-вторых, он предполагал, что немцы ввяжутся в другую, может быть победоносную, но тяжелую и изматывающую войну с Англией и Францией. И, в-третьих, насколько я понимаю, он планировал, перевооружив армию, укрепив ее, переведя промышленность, если не на военные рельсы, то в положение, при котором она быстро могла перейти на них, – ударить по фашистам, занятым войной на Западе, разгромить их, на их плечах пройти всю Европу, может быть, вплоть до Испании – он всегда помнил о неудаче в Испании и, установить в ней социалистический строй.

Вот его программа максимум так, как она мне рисуется – без всяких к тому документальных оснований.

Судя по тому, как в ужасающих условиях сорок первого-сорок второго года мы тем не менее огромными темпами начали наращивать свою военную промышленность, выпускать танки, самолеты, артиллерию и так далее, видно, насколько серьезная подготовка шла к этому заранее.

Мне лично кажется, что он этот военный удар по фашистской Германии планировал на лето сорок второго года и именно поэтому так слепо и невероятно упрямо не верил в возможность нарушения этого своего плана, за которым для него стояла победа социалистического строя во всей Европе. Именно потому, что он не хотел отступить от этого плана, потому что он спал и видел, как это будет, и был убежден, что будет так, как он запланировал, он не принимал во внимание сведения о надвигающейся войне в сорок первом году, и так до конца и считал возможным, что все это провокация, что англичане, находясь в отчаянном положении, пытаются столкнуть нас с немцами, в то время, как от этого преждевременного столкновения еще можно уклониться.

Я думаю, что если даже встать на его позиции и исходить из его собственных планов, – его главной и тяжелейшей ошибкой было то, что он не пожелал в достаточной степени серьезно пересмотреть эти планы после разгрома Франции, то – есть игнорировал реально

сложившуюся обстановку, которая делала его планы нереальными и ставила нас под угрозу войны, причем, войны, начатой не по нашей инициативе и на год раньше, чем он предполагал сам ее начать. А предполагал он ее начать, кстати сказать, – я глубоко убежден – под лозунгом освобождения поработенной фашизмом Европы, а не под великодержавными лозунгами, хотя некоторые оттенки великодержавности в некоторых его действиях прощупывались уже к тому времени. Но все-таки это было не главным в нем. Во всяком случае, субъективно, война, если не считать первого момента растерянности, о масштабах которой и о формах выражения которой я еще не составил себе представления, была в общем периодом наибольшего взлета его государственных и политических способностей.

И если брать психологическую сторону дела, то, думается, после долгого периода самоуправства, отвычки от сопротивления, рождавших действия произвола, доходившие до нелепости, он столкнулся с реальным и огромным сопротивлением фактов и обстоятельств. Гитлера мало было объявить врагом страны и человечества, его надо было разбить. Его нельзя было просто посадить за решетку, объявив врагом; его надо было разгромить и только потом можно было посадить за решетку. Рузвельту и Черчиллю ничего нельзя было приказать; с ними надо было вести дипломатическую игру и борьбу. Причем, в этой борьбе и игре надо было добиться того, чтобы в целом ряде ее моментов эти два лидера капиталистического мира не противостояли ему, Сталину, как нечто единое. Надо было дифференцировать свое отношение к ним и их отношение к себе и к ряду военных и политических вопросов, чего он, надо отдать ему должное, добился – Черчилль с его мемуарами достаточный тому свидетель.

В ходе войны выяснилось, что те военачальники, на которых он делал ставку до войны, как правило, не оправдали его надежд. Командовать фронтами нельзя было, оставаясь только проводниками его воли. Надо было иметь свою собственную. Фронтами нельзя было командовать, являясь только проводниками его ума. Надо было иметь собственный. Война показала это с достаточной очевидностью, и он, как потом выяснилось, только на время примирился с этим положением, и, насколько я понимаю из разговоров с несколькими командующими фронтами и другими высшими военачальниками, те взаимно-

отношения, которые у него, как у верховного главнокомандующего, были с командующими фронтами, были наиболее разумными и правильными взаимоотношениями со своими подчиненными за весь период его деятельности, начиная с тридцатого года, то есть, со времени приобретения неограниченной власти. Были в этих отношениях и неправильности, но относительно меньшие по сравнению с другими периодами его деятельности. И это положительно сказалось на ходе войны.

Надо сказать также, что после первого периода войны, когда в сорок первом году были названы изменниками и расстреляны просто-напросто плохо воевавшие и не на место поставленные перед войной генералы и названы изменниками другие генералы, по несчастному ходу обстоятельств попавшие в плен, – даже уже во время тяжелых неудач сорок второго года и самых тягчайших из них по отношению к высшим военным начальникам, подозрительность не проявлялась, и изменниками их не объявляли.

В этом смысле Сталин в период войны постепенно пришел к другому характеру отношений со своими подчиненными, чем это было у него раньше.

После войны, которая была как бы верхней точкой его политической и государственной деятельности, он еще вернулся к состоянию непогрешимости. Он в своем тосте за русский народ, в июне 45-го сказал о войне правду, которую никто другой в стране не решался сказать, – да и не дай бог никому бы ее сказать тогда. И поставил точку, подвел черту, больше он к этому не возвращался.

В его сознании начался обратный процесс. Внешний враг был разгромлен, и он как бы обернулся и посмотрел на страну и постепенно стал искать внутренних врагов. По разным поводам был снят ряд выдающихся военачальников, потом наступил разгром в артиллерии и в авиации. Несколько крупных людей погибло, другие на долгие годы уехали в лагеря. Потом возникло «Ленинградское дело», оказалось, что Вознесенский, Кузнецов и ленинградцы вообще решили противопоставить себя Сталину и захватить власть в стране. Потом дело постепенно дошло до находившегося уже на грани безумия процесса «врачей-убийц».

По дороге к этому был целый ряд ступенек, которые я пропускаю, и перед смертью Сталина, по моему ощущению, мы были на пороге возвращения к 37-38 году.

Таков в общих чертах этот цикл, ощущение которого надо найти возможности и способности дать в романе.

Декабрь 1964 г.

Александр Твардовский

СТРАНИЦЫ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Кенигсберг

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» – еще не убраны, а ТОЛЬКО отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречными колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаваленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин – привычная картина ближних подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тронутая еще ни одним дождем, необветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу – Кенигсберг.

Давно уже не в новинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитектуры здания немецких городов, потрясенные тяжкой стопой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Много из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза – башни, шпили, заводские трубы, многоэтажные здания, – повержено в прах и краснокирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в гудах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всесокрушающей ударной мощи нашего оружия.

– Почтище Смоленска сработано, – вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесты из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие, – смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:

– А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!

Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоеванных у врага городов и сёл; и на то, чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника, и на то, чтоб в три дня штурмом сломить сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не треножит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усатые, будто

бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, но успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с чернью копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные...

И на всех лицах – отражение дня большой и гордой победы.

Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов, – чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угломонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки – по числу окошек.

Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор. В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.

У моря

До самого берега проехать на машине было нельзя. Оставалось каких-нибудь триста – четыреста метров, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догоравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханного фугасками. Черепичная скорлупа битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из пластов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло за безобразными зубцами обрушенных стен и ломаным лесом мачт, труб и вышек пристани.

Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь наши, добираясь до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, из воды, стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо

было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на гусеницу, расстелившуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туше, охваченной пламенем и уже затоптанной сапогами. Наконец, море у самых ног, море, окаймленное чуть видимым леском знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.

Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдали и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега, оно тихо и мягко с присущей только морю скрытой силой и тяжестью поталкивает в каменную стену мола.

Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы оружейных снарядов, перекатываемые волной.

Журчит своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокрое тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу...

И все же море есть море, и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне.

– А я, знаете, впервые его вижу, море, – признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его. – Все, знаете, как-то некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война... Вот уже сорок лет округляется, а моря не видел, какое оно.

И очень многие, особенно молодые наши воины, с этого моря начали свое знакомство с тем, что составляет половину красоты земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослыть заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря...

Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, припертых к воде, встретили мы на мысе Кальхольхольцер-Хакен троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.

Невысокий, бледный от бессонья рядовой Михаил Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, со щеки парень, оказался волжанином, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич – не то из той же Белоруссии, не то с Украины.

Все трое – солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы, – все трое видели море первый раз в жизни.

Может быть, лучше было бы увидеть его впервые не вдали от родины и не в горячке и напряжении трудного боя, а в мирное время с террасы дома отдыха на крымском или кавказском побережье.

Но если суждено всякому человеку запомнить навсегда день и час первой встречи с морем, то добытая с бою встреча сухопутных русских, белорусских и иных советских людей с этим морем будет самой памятной и самой гордой датой их жизни.

Право, жаль, что оно в этих местах такое неказистое, болотистого вида, и не дает глазу того неоглядного простора, ограниченного только небом, какой обычно волнует душу на морском берегу.

И все же это море, какое оно есть, будет для тысяч наших людей самым памятным и прекрасным. Они дошли до него, сражаясь за свои земли, они увидели его как знамение конца одной из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны.

И разве не освящены эти воды тем, что мы пришли к ним, творя наше правое дело защиты Родины и возмездия за ее страдания? И разве эта земля, чуждая нам по всему, что было на ней, не полита кровью наших братьев? А о земле, что полита родной кровью, что пройдена нашими, советскими людьми в трудах и испытаниях долгих и страшных боев.– о такой земле мы долго будем вспоминать.

На взгорке, круто обрывающемся к мелководью поросшего камышом взморья, под березой, с трогательной опрятностью насыпанный и выровненный могильный холмик. На нем еще даже нет того скромного знака памяти, какие сооружают на войне из белых досок, фанеры и медных снарядных стаканов. Может быть, в полуразбитом домике, что стоит на южном скате этого взгорка, сейчас составляется надпись на фанерной дощечке и заодно пишется извещение родным либо

близким об одном из тех, кто уже не уедет отсюда со своим полком или батареей на другой участок продолжающейся борьбы.

Кругом праздник. В домике с осыпавшейся черепичной крышей кто-то нащупывает на оставленном немцами пианино какую-то нехитрую, но милую сердцу мелодию деревенского вальса. В далекой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье, на этом мысе с длинным и трудным названием Каль-хольцер-Хакен. И в приказе не забыты торжественные и строгие слова о вечной памяти бойцам, павшим в боях за свободу и независимость Родины на любых рубежах, в любых землях, у любых побережий...

Пройдут годы и годы, и пусть имя воина, еще не обозначенное на белой либо красной дощечке надгробного знака, уйдет из обихода списков, упоминаний, скажем просто – забудется. Но чье-то сердце, чья-то неостывающая любовь и память – матери ли, возлюбленной или друга – долго и долго будет тянуться светлым лучом с восхода к этому безымянному взгорку над морем, к этой могиле под белой березой – родным нашим деревом, выросшим так далеко на западе.

1945 г.

И. А. Бунин. Письмо Н. Д. Телешову

Дорогой Николай Дмитриевич, я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Тёркин») и не могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищён его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнёт повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Тёркина».

10 сентября 1947 года

Леонид Зуров

«Удивительная книга!»

Бунин читает Твардовского

В тот год Иван Алексеевич был болен, лежал в постели. Медленно терял силы, но голова его была на редкость ясна. Обычно я брал на просмотр новые повести, романы и сборники стихов в «Доме книги». Мы были бедны. Покупать не могли. В «Доме книги» я увидел книгу Твардовского. Попросил ее одолжить на несколько дней. Начал читать ее в магазине, потом читал ее на бульваре Сен Жермен. Читал и в метро. Был в полном восхищении (а солдатскую жизнь я знаю). Вернувшись домой, я передал книгу Ивану Алексеевичу.

– Что это с вами? – спросил он. – Отчего вы пришли в необыкновенный восторг?

– Прочтите, Иван Алексеевич.

– Ерунда, – недоверчиво сказал он, махнув рукой.

Он устал от литературной тенденциозности и фальши; раскрывая книгу, обычно махал рукой:

– Посмотрю.

Через десять минут он позвал меня к себе и, приподнявшись, держа книгу в руках, воскликнул:

– Да что же это такое! Настоящие стихи!

Он читал отрывки вслух и говорил:

– А здесь как сказано. Поэт! Настоящий поэт!

Иван Алексеевич был изумлен, обрадован, повеселел. Ему не терпелось, он хотел делать пометки, подчеркивать, но этого делать было нельзя – книгу я должен был через несколько дней вернуть.

– Молодец! Ведь это труднейшее дело, не так-то просто писать солдатским языком.

Он восхищался отдельными местами, читал, перечитывал. И мы с ним говорили о стихах Твардовского. Иван Алексеевич прекрасно знал народный язык, а я знал солдатскую жизнь.

– Настоящая поэзия, такая удача бывает редко. Какие переходы. Талантлив. Подлинный солдатский говор. А для поэта это самое трудное.

При соприкосновении с подлинным талантом Иван Алексеевич по-особенному радовался. Он обрадовался стихам Твардовского (а ведь сколько он прочитал за свою жизнь поддельных, головных и мертвых стихов. Он устал и от идущего по давно проторенным дорожкам изысканного стихоплетства).

– Не оценят, не поймут, – говорил он.

– Удивительная книга, а наши поэты ее не почувствуют, не поймут. Не поймут. В чем прелесть книги Твардовского. Да и откуда им знать? Разве они переживали что-либо подобное! Ведь они ни народа, ни солдатской речи не слышат. У них ослиное ухо. О русской жизни не знают, и знать не хотят, замкнуты в своем мире, питаются друг другом и сами собою.

– Вот вы услышите, скажут: ну, что такое Твардовский. Да это частушка, нечто вроде солдатского раешника. А ведь его книга – настоящая поэзия и редкая удача! Эти стихи останутся. Меня обмануть нельзя.

И он читал лежа, смеялся, удивлялся легкости, предельной выразительности солдатского языка. Даже Вере Николаевне не дал этой книжки. После этого он написал Твардовскому. Книгу, которую прочел Иван Алексеевич, мне пришлось отвезти обратно».

Твардовский хотел послать письмо Бунину и книгу, запретил А. Фадеев, возглавлявший тогда Союз писателей, он был еще и членом ЦК, куда Александр Трифонович обратился за разрешением.

8 июля 1960 года

Александр Твардовский

СМЕРТЬ И ВОИН

Из поэмы «Василий Теркин»

За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
– Ну, солдат, пойдем со мной.

Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.

Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
– Я не звал тебя, Косая,
Я солдат еще живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
– Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да не – жилец.

Мимоходом тенью смертной
Я твоих коснулась щек,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуже дня...

– А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась,
Отклонилась от него.
– Нужно мне... такую малость,
Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,
Что устал беречь ты жизнь,
Что о смертном молишь часе...

– Сам, выходит, подпишись? –
Смерть подумала.
– Ну что же, –
Подпишись, и на покой.
– Нет, уволь. Себе дороже.
– Не торгуйся, дорогой.

Все равно идешь на убыль. –
Смерть подвинулась к плечу. –
Все равно стянулись губы,
Стынут зубы...
– Не хочу.

– А смотри-ка, дело к ночи,
На мороз горит заря.

Я к тому, чтоб мне короче
И тебе не мерзнуть зря...

– Потерплю.
– Ну, что ты, глупый!
Ведь лежишь, всего свело.
Я б тебя тотчас тулупом,
Чтоб уже навек тепло.

Вижу, веришь. Вот и слезы,
Вот уж я тебе милей.
– Врешь, я плачу от мороза,
Не от жалости твоей.

– Что от счастья, что от боли –
Все равно. А холод лют.
Завилась поземка в поле.
Нет, тебя уж не найдут...

И зачем тебе, подумай,
Если кто и подберет.
Пожалеешь, что не умер
Здесь, на месте, без хлопот...

– Шутишь, Смерть, плетешь тенета.
Отвернул с трудом плечо. –
Мне как раз пожить охота,
Я и не жил-то еще...

– А и встанешь, толку мало, –
Продолжала Смерть, смеясь. –
А и встанешь – все сначала:
Холод, страх, усталость, грязь...
Ну-ка, сладко ли, дружище,
Рассуди-ка в простоте.

– Что судить! С войны не взыщешь
Ни в каком уже суде.

– А тоска, солдат, в придачу;
Как там дома, что с семьей?
– Вот уж выполню задачу –
Кончу немца – и домой.

– Так. Допустим. Но тебе-то
И домой к чему прийти?
Догола земля раздета
И разграблена, учти.
Все в забросе.

– Я работник,
Я бы дома в дело вник,
– Дом разрушен.
– Я и плотник...
– Печки нету.
– И печник...

Я от скуки – на все руки,
Буду жив – мое со мной.
– Дай еще сказать старухе:
Вдруг придешь с одной рукой?
Иль еще каким калекой, –
Сам себе и то постыл...

И со Смертью Человеку
Спорить стало свыше сил.
Истекал уже он кровью,
Коченел. Спускалась ночь...

– При одном моем условии,
Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,
 Одинок, и слаб, и мал,
 Он с мольбой, не то с упреком
 Уговариваться стал:
 – Я не худший и не лучший,
 Что погибну на войне.
 Но в конце ее, послушай,
 Дашь ты на день отпуск мне?
 Дашь ты мне в тот день последний,
 В праздник славы мировой,
 Услыхать салют победный,
 Что раздастся над Москвой?
 Дашь ты мне в тот день немножко
 Погулять среди живых?
 Дашь ты мне в одно окошко
 Постучать в краях родных?
 И как выйдут на крылечко, -
 Смерть, а Смерть, еще мне там
 Дашь сказать одно словечко?
 Полсловечка?
 – Нет. Не дам...

Дрогнул Теркин, замерзая
 На постели снеговой.

– Так пошла ты прочь, Косая,
 Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,
 Гибнуть в поле без следа,
 Но тебе по доброй воле
 Я не сдамся никогда.

– погоди. Резон почище
 Я найду, – подашь мне знак...

– Стой! Идут за мною. Ищут.
 Из санбата.
 – Где, чудака?
 – Вон, по стежке занесенной...

Смерть хохочет во весь рот:
 – Из команды похоронной.
 – Все равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.
 Об лопату звякнул лом.

– Вот еще остался воин.
 К ночи всех не уберем.

– А и то устали за день,
 Доставай кисет, земляк.
 На покойничке присядем
 Да покурим натошак.

– Кабы, знаешь, до затяжки -
 Щей горячих котелок.
 – Кабы капельку из фляжки.
 – Кабы так – один глоток.

– Или два...

И тут, хоть слабо,
 Подал Теркин голос свой:
 – Прогоните эту бабу,
 Я солдат еще живой.

Смотрят люди: вот так штука!
 Видят: верно, – жив солдат,

– Что ты думаешь!
 – А ну-ка,
 Понесем его в санбат.

– Ну и редкостное дело, –
 Рассуждают не спеша. –
 Одно дело – просто тело,
 А тут – тело и душа.

– Еле-еле душа в теле...
 – Шутки, что ль, зазяб совсем.
 А уж мы тебя хотели,
 Понимаешь, в наркомзем...

– Не толкуй. Заждался малый.
 Вырубай шинель во льду.
 Поднимай.

А Смерть сказала:
 – Я, однако, вслед пойду.

Земляки – они к работе
 Приспособлены к иной.
 Врете, мыслит, растрясете
 И еще он будет мой.

Два ремня да две лопаты,
 Две шинели поперек.
 – Береги, солдат, солдата.
 – Понесли. Терпи, дружок.

Норовят, чтоб меньше тряски,
 Чтоб ровнее как-нибудь,
 Берегут, несут с опаской:
 Смерть сторонкой держит путь.

А дорога – не дорога, –
 Целина, по пояс снег.
 – Отдохнули б вы немного,
 Хлопцы...

– Милый человек, –
 Говорит земляк толково, –
 Не тревожься, не жалей.
 Потому несем живого,
 Мертвый вдвое тяжелей.

А другой:
 – Оно известно.
 А еще и то учесть,
 Что живой спешит до места, –
 Мертвый дома – где ни есть.

– Дело, стало быть, в привычке, –
 Заключают земляки. –
 Что ж ты, друг, без рукавички?
 На-ко теплую, с руки...

И подумала впервые
 Смерть, следя со стороны:
 «До чего они, живые,
 Меж собой свои – дружны.
 Потому и с одиночкой
 Сладить надобно суметь,
 Нехотя даешь отсрочку».

И, вздохнув, отстала Смерть.

II. ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Александр Городницкий

БЛОКАДА

Вспомним блокадные скорбные были,
 Небо в разрывах, рябое,
 Чехов, что Прагу свою сохранили,
 Сдав ее немцам без боя.
 Голос сирены, поющей тревожно,
 Камни, седые от пыли.
 Так бы и мы поступили, возможно,
 Если бы чехами были.
 Горькой истории грустные вехи,
 Шум пискаревской дубравы.
 Правы, возможно, разумные чехи, –
 Мы, вероятно, не правы.
 Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, –
 Брюгге без выстрела брошен.
 Правы влюбленные в жизнь парижане,
 Дом свой отдавшие бошам.
 Мы лишь одни, простофили и дуры,
 Питер не выдали немцам.
 Не отдавали мы архитектуры
 На произвол чужеземцам.
 Не оставляли позора в наследство
 Детям и внукам любимым,
 Твердо усвоив со школьного детства:
 Мертвые сраму не имут.
 И осознать, вероятно, несложно
 Лет через сто или двести:

Все воссоздать из развалин возможно,
 Кроме утраченной чести.

2013 г.

СТИХИ НЕИЗВЕСТНОМУ ВОДИТЕЛЮ

Водитель, который меня через Ладогу вёз,
 Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
 Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, –
 Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.
 Водитель, который меня через Ладогу вёз,
 С другими детьми, истощавшими за зиму эту.
 На память о нём ни одной не осталось приметы.
 Высок или нет он, курчав или светловолос.
 Связать не могу я обрывки из тех кинолент,
 Что в память вместило моё восьмилетнее сердце:
 Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,
 Трёхтонки поношенной настежь открытая дверца.
 Глухими ударами била в колёса вода,
 Гремели разрывы, калеча усталые уши.
 Вращая баранку, упорно он правил туда,
 Где старая церковь белела на краешке суши.
 Он в братской могиле лежит, заметённый пургой,
 В других растворив своей жизни недолгой остаток.
 Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
 За то, что вчера разменял я девятый десяток».
 Сдержатъ не могу я непрошенных старческих слёз,
 Лишь только заслышу капели весенние трели,
 Водитель, который меня через Ладогу вёз,
 Что долгую жизнь подарил мне в далёком апреле.

2014 г.

Даниил Гранин

ПО ТУ СТОРОНУ

Повесть

I

Пули долетали уже до Камероновой галереи. Мелкие ссадины вспыхивали на мраморе колонн, звенели перила. Шагин поднял бинокль. С галереи была видна даль аллеи, усыпанных листьями. На вечернем солнце розовели статуи. Белели пустые скамейки. По золотой закатной воде плыли доски. Павильон на острове был разрушен милой. Пестрые листья носились в воздухе, мешая разглядеть глубину парка, откуда стреляли автоматчики. Парк стоял во всей красе. Охра переходила в кармин, потом шли купы празднично пылающих оранжевых деревьев, темная зелень кустов... Листва пока держалась. Она еще будет менять краски, но Шагин этого не увидит.

Город был обречен. И парк, и дворец – все было обречено. Батальон Шагина оставался последним. Они снимутся ночью, если удастся удержаться до темноты.

Следы гусениц взрыли главную аллею. По ней ночью ушли танки. Тогда батальон еще сражался под Александровкой. Шагин упрашивал капитана задержаться. Пока эти три приبلудных КВ стояли за спиной батальона, было спокойнее. Капитан мотал головой и повторял одно: снаряды! Они расстреляли весь боекомплект. У Шагина не было снарядов. У Шагина ничего не было – ни снарядов, ни пушек, было три пулемета, несколько минометов и винтовки. Танки не подчинялись ему. Они искали свою бригаду. Шагин кричал капитану про пулеметы, потому что танки имели пулеметы. Шагин кричал, потому что его недавно контузило, он оглох и хотел слышать свой голос. Капитан тоже кричал, потом вскочил на крыло, и танки попятнулись, роняя ветки,

наваленные на башни. Шагин встал перед гусеницами командирской машины. Капитан спрыгнул, легко приподнял Шагина и швырнул в кусты. Танки ушли. Шагин не хотел вставать. Он лежал на красных кленовых листьях и не знал, что делать. Он командовал батальоном вторые сутки. Его никогда не учили отступать. Было бы хорошо, если б его ранило. Контузия отдалила грохот войны, он не слышал воя, свиста, только разрывы, приглушенно, как бы издали. Его ординарец Иголкин присел над ним, вытер ему платком нос, лицо, поставил на ноги. С этой минуты Шагин снова стал делать то, что положено, но делал оглушенно и бесчувственно. Когда рядом с ним убило комроты-один Женю Либмана, его друга по училищу, Шагин перевернул труп, вынул из кармана документы и прислонил труп к стенке окопа вместе с другими убитыми. Они стояли, вздрагивая от пуль и осколков. Это придумал Либман еще в Самокражах, теперь он сам стоял с разорванной грудью, наклонив непокрытую голову.

Шагин со взводом пулеметчиков прикрывал отход остатков батальона ко дворцу, затем они отползали, пока не очутились в парке. Он не слышал того, что говорили вокруг, не слышал скрипа песка под ногами, он пребывал внутри плотно закрытой оболочки, которую называли лейтенантом Шагиным, что-то она приказывала, делала без его участия. Сейчас этот лейтенант разглядывал в бинокль неправдоподобно безлюдный парк. Привычно разделял на секторы обстрелов, готовил дворец к обороне. Связистам и связным он казался знающим свое дело комбатом.

Он действительно знал, что произойдет. С рассветом по этим аллеям войдут немцы, сперва разведчики, потом саперы, пехота, потом подъедут машины с генералами, станут фотографироваться... Знание это ничего ему не давало, он ничего не мог изменить, ничему помешать.

Бронзовый бюст Цезаря зазвенел, пробитый пулей. В осеннем воздухе потянуло гарью. Черные клубы дыма поднялись над деревьями. Горел Китайский театр. С виду парк оставался нетронутым, но он был уже неизлечимо поражен. В окулярах блеснула доска с надписью. Шагин скорее угадал, чем прочел:

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,

Сады прекрасные, под сумрак ваш...

Дальше он не различал слов, но вспоминал детской памятью эту надпись, лето в Пушкине, и сердце его сжалось.

На лице ничего не отразилось, он следил за своим лицом, как следил за выправкой, за тем, как лейтенант Шагин спустился вниз и стал отдавать приказания. В нижних комнатах лежали раненые, валялись банки, бинты, гильзы, котелки, пахло карболкой, мочой, все было загажено, трещало битое стекло. Шагин говорил с помпохозом, тот что-то возражал, но вдруг, взглянув на Шагина, на его пустые, как у мраморных статуй, глаза, запнулся, побежал к машине, стал сбрасывать с нее вещи. Может быть, Шагин ему что-то сказал, он не знал, он стоял и смотрел, как помпохоз и другие укладывают в машину раненых. Кто-то подошел, и Шагин этому кому-то объяснял, водил по карте пальцем, подписал бумагу, другую не подписал, сунул в планшетку. Дворцовый атласный диван стоял у каменной стены. Шагину все время хотелось сесть на него, вытянуть ноги, но он знал, что стоит это сделать – и он заснет.

Кто-то положил ему руку на плечо. Это был адъютант комбата Степа Аркадьев.

– Ты бы побрился, – крикнул ему Степан и поскреб подбородок. – А то, как партизан. Апостол Петр!

В мраморном вестибюле связисты сворачивали провода. Аркадьев подвел Шагина к зеркалу. Вернее, то было не зеркало, а зеркальная дверь в частом переплете.

– Ты не волнуйся, Петя, – крикнул Аркадьев. – Пройдет глухота. Через недельку.

Шагин без интереса разглядывал длинное бледное лицо, заросшее черной щетиной. Лицо было почти незнакомое. Он знал его хуже, чем лица солдат своего батальона. Реже видел. А глаза были и вовсе чужие: тусклые, застылые, как у того, что раньше звалось Женей Либманом, а сейчас стояло в оставленном окопе.

Иголкин принес бритву, помазок, стакан холодной воды, и Шагин стал бриться.

– Через недельку, – удивленно повторил он.

Месяц, неделька – таких сроков для него не существовало. В зеркале, рядом с ним, появилась голова в милицеевской фуражке.

– Говорите громче, – сказал Шагин, – я плохо слышу.

– Хулюганют, – крикнул ему на ухо милиционер. – В парке. Опять вчера задержал двух ваших.

Шагин видел, как он в зеркале отвечает милиционеру с напряженной улыбкой глухого.

– Вчера нас тут не было.

– Извиняюсь, – сказал милиционер. – Я в смысле артиллеристов. Двух пьяных задержали. А нынче опять стреляют. Шагин повернулся к нему. Перед ним стоял молоденький милиционер. Его белоснежная милицеевская гимнастерка была подогнана по фигуре, фуражка лихо сдвинута набок, значки ГТО и Ворошиловского стрелка блестели, как ордена...

– Там автоматчики. Немцы, – сказал Шагин.

– Не надо, товарищ лейтенант, – строго возразил милиционер. – Меня послал начальник милиции города, – он неодобрительно оглядел недобритую, в мыльной пене физиономию Шагина, и тот по-мальчишески оробел.

– Ополченцы? – спросил милиционер. И не дожидаясь ответа, сказал: – Раз вы не можете обеспечить, мы сами...

Иголкин что-то ему говорил, потом они заспорили, Иголкин показывал рукой на парк, в сторону немцев. Шагин торопливо добрился. Милиционер вынул из верхнего кармашка свисток, засвистел. Иголкин взял у него свисток и тоже приложил к губам. Веснушчатая его пухлая физиономия расплылась от восторга. Он протянул свисток Шагину.

Внутри черного костяного свистка болталась горошина. Вот в чем дело, подумал Шагин. Он хотел свистнуть, но в это время вбежал политрук с перевязанной головой, потянул его за рукав. Шагин на ходу приказал Аркадьеву не пускать милиционеров в парк.

Двое солдат стояли без винтовок под охраной старшины. У ног их лежали большие мешки. Солдаты были из взвода, которым когда-то командовал Шагин.

– Митюков, покажи, – сказал Шагин и ткнул ногою мешок.

Митюков присел, попробовал развязать мешок. Пальцы у него не гнулись, он рванул веревку зубами. Из мешка посыпались банки

шпрот. Плоские блестящие банки медленно катились по каменным плитам.

– Дезертиры, – крикнул политрук.

Рано или поздно это должно было начаться. До самых Шушар, фактически до самого Ленинграда, было пусто. Шоссе и все проселки запружены беженцами. Солдаты из разбитых частей шли мимо, в кюветах валялись опрокинутые кухни. Поток спешил к городу, огибал остатки батальона. Штаб полка и штаб дивизии находились где-то в Шушарах. Связь с ними то и дело прерывалась. Смысл обороны, которую занимал батальон, терялся, страх окружения вступил в свои права.

Шагин вытащил наган. Он сделал это машинально, скорее всего, потому, что должен был так сделать. Слезы катились по грязным щекам Митюкова. Он сидел на корточках не в силах подняться. Второй солдат, Чиколев, смотрел на Шагина усмешливо и что-то говорил.

–Что? Не слышу, – сказал Шагин.

– Я говорю, товарищ лейтенант, что вы сами скоро побежите. – И Шагину показалось, что Чиколев ему подмигнул. Он всегда был с тараканами, этот Чиколев, ушастый, подслеповатый, кажется, на гражданке переплетчик.

– Встать! – скомандовал Шагин, но Митюков затрясся и остался на корточках. Шагин пнул его ногой, Митюков опрокинулся на пол, вскочил и бросился бежать. Шагин, не целясь, выстрелил. Знал, что не попал. Знал, что сейчас Митюкова схватят, приведут, и он должен будет застрелить его, а значит – и Чиколева. Но тут же Шагин подумал, что если не получит приказа из штаба, то прикажет отходить на Пулково. Главное – удержать Пулково, предупреждал штаб. Построит колонной и уйдет. За это его самого могут под трибунал. Когда он явится к комдиву... Вдруг все головы повернулись к темнеющему небу. Там на фоне роскошно алой зари густо плыли немецкие бомбардировщики. До Шагина еле слышно докатился их рокот, мерный, успокаивающий.

Привели Митюкова. Он дрожал. Шагину было жаль его больше, чем Чиколева, который продолжал стоять, усмехаясь. Митюков что-то быстро-быстро говорил, и политрук говорил – это была пантомима, от их слов ничего не зависело, так же как от жалости Шагина.

Они, кажется, тоже понимали это и недоумевали, они видели не своего малорослого застенчивого лейтенанта, а каменно-угрюмого неумолимого исполнителя высшей воли. Во вдавленных глазах его было темно. Он застегнул воротник и радиоголосом, не требующим ответа, сказал:

– Как же так, Митюков... Что же ты наделал, Митюков. Ты же хорошо воевал...

Наверху истошно завывало, все бросились на землю, один Шагин остался стоять с поднятым наганом. Тяжелая мина разорвалась между деревьев. Посыпалась листва. Политрук остался лежать. Шагин взял его под мышки. Чиколев и Митюков взяли за ноги и понесли в вестибюль. Там какая-то растрепанная девица в синем халате теребила Аркадьева, дергала его за портупею, он указал на Шагина, девица метнулась к нему.

– Умоляю вас, пойдемте, товарищ командир!

Она тащила его за собою с такой отчаянностью, что он пошел. У дверей в зал стоял, перегородив вход, старичок. Младший лейтенант Осадчий оттаскивал его за отвороты чесучового белого пиджачка, толпились бойцы, это были саперы. Они матерились. Девица бросилась к Осадчему, оттолкнула его. Встала рядом со старичком, прижалась к высоким красного дерева дверям. Шагин спросил, в чем дело. Его никто не слушал или не слышал. Он поднял руку, увидел в ней наган, выстрелил в потолок. Осадчий доложил, что старик не пускает бойцов. Надо через залы подтаскивать мины.

– Бережет. Немцев ждет! Целеньким хочет фашисту сдать. Холуй гитлеровский? Вы слышали, что они говорят?

– Что? – спросил Шагин. Бойцы расступились. Шагин подошел к двери. Осадчий толкнул старичка:

– Давай-давай, повтори.

– И повторю! – закричал старичок. Глаза его горели решимостью. – Не пущу!

Он прижался всем телом к дверям, еще шире раскинул руки.

– Не дам! Взорвать дворец! Это не военный объект! Не имеете права.

– Нет, нет, ты повтори, для кого бережешь! – угрожающе сказал Осадчий.

– Да немцы культурные люди, они, я надеюсь, не позволят себе...

– Слышал? Фашисты культурные! Они книги жгли. На немцев надеется, сучий потрох!

Осадчий что-то скомандовал, саперы оторвали старика от дверей, высадили их с треском, и перед ними распахнулся зал, освещенный сиянием догорающего заката. Гладь узорчатого, зеркально поблескивающего паркета, хрустально радужные люстры, канделябры. Выложенные бронзой следующие двери открывали анфиладу залов. Зрелище этих покоев показалось Шагину волшебным призрачным. До сих пор дворец был для него укрытием от мин, от обстрела; за массивным цоколем галереи, выложенным пудожским камнем, помещались штаб и раненые.

Осторожно Шагин двинулся по воцеленной поверхности паркета. Из детства всплыл жаркий день, когда отец привел его в эти просторы парадного золота, и они, надев войлочные туфли, ходили с экскурсией. Ноги скользили как по льду.

Грязные следы солдатских сапог отпечатались, налепились мокрые листья, вдоль тянулись глубокие царапины.

– Ваши красноармейцы тащили здесь ящики, – старик показал на борозды. Его скрипучий голос Шагин хорошо слышал. – Что же вы делаете!

На потолке синели нездешние небосводы, по ним летели купидоны. Кое-где стояли вазы. В шкафах сквозь стекло виднелись парчовые платья. Много было убрано, вывезено. Торчали крюки от картин. Опустели стены. Ничто уже не отвлекало от обнаженной красоты залов, расшитых шелковых обоев, от лепнины, рельефного рисунка орнаментов. Золотистые узоры китайских обоев, зеркала... Сюда еще не проникла вонь пожара. Отсветы его сквозь лиловатую оконную расстекловку выглядели, как безобидный праздничный костер.

Шагин плыл, словно во сне, сквозь двухсветный Большой зал, желтые рысьи огни просверкали в Янтарной комнате. Пустынный дворец втягивал его в заколдованное великолепие. За ним молча двигались саперы Осадчего. Мимо них пробежали, разматывая провод, двое солдат.

– Артиллеристы, – сказал Осадчий в ухо Шагину.

– Вы подвергаете дворец опасности, – сказала девушка. Под синим халатом на ней были белая кофточка и черная юбка.

– Может, не стоит, – сказал Шагин Осадчему. – Заминируем только подходы.

– А как же сталинский приказ? – спросил Осадчий.

– То приказ насчет складов и заводов.

– И-эх, – выдохнул Осадчий, – сволочи! – и еще матом, матом... Лицо его задергалось. Сорвал с плеча автомат, пустил очередь по стенам, разлетелась ваза, затем по зеркалам, по их затейливым рамам, так, что они взвизгнули мелкими брызгами, провел свинцовым полукружьем по наборному узору паркета, щепка полетела вовсе стороны.

Никто его не останавливал.

Девушка бросилась к Осадчему. Шагин перехватил ее, потому что Осадчий дрожал, взгляд его был безумен.

– Кончай, – крикнул Шагин.

Старик-смотритель опустил голову, отвернулся.

– Завтра здесь будут немцы, – сказал Шагин. – Уходите. Пусть все уходит.

Еще он зачем-то сказал:

– Почему вы столько оставили. Почему не увезли...

Старик оглядел его почти брезгливо, на Шагина никто еще так не смотрел.

– Потому, что вы воевать не умеете, – отчетливо произнес старик.

Шагин не успел ответить, побежал вниз, его вызывали по телефону из дивизии. Успели сказать, чтобы отходил на Пулковку, как он и предполагал, и связь оборвалась.

Внизу было темно. У входа на мраморной ступени лежал молодой милиционер. Из горла у него толчками шла кровь. Над ним хлопотал фельдшер. Рядом на земле лежал убитый милиционер. Лицо его было накрыто фуражкой. Откуда-то появился Аркадьев.

– Не послушались, – сказал он. – Дурни.

– Кончается, – сказал фельдшер.

Умирающий вытянулся как по команде, лицо разгладилось, он удивленно смотрел в небо. Гимнастерка его была чиста, аккуратно заправлена.

Смерть эта надолго запомнилась Шагину. Может быть потому, что уж очень глупо они погибли. Куда зачислит их статистика? В героически павших, или еще куда в неведомую ему графу.

Выходили из Пушкина на рассвете. Стрельба утихла. Колонна шла по влажным пустым улицам, шли, не растягиваясь, плотно, быстро. Шагин держался в хвосте.

Глухота проходила. Он слышал, как набирали голоса птицы. Город спал. Окна, задернутые занавесками, заклеенные бумажными крестами. Чистый, влажный от росы воздух, закрытые магазины. Топилась баня. На крыльцо вышла баба в рукавицах и фартуке. За ней подросток, Они молча смотрели на уходящих солдат.

– Мы что, последние? – спросил Иголкин.

– Последние, – сказал Шагин.

– Надо бы город разбудить, товарищ лейтенант.

– Панику наводить, – не думая ответил Шагин. Потом спросил: – А как его будить? Это тебе не деревня.

У переезда висела свежая афиша: «Сегодня премьера фильма «Антон Иванович сердится».

Дошли до Пулково. Светлое небо загудело, показались штурмовики. Шагин приказал рассыпаться, укрыться. Но укрыться было негде. Штурмовики на бредущем расстреливали в упор. Шагин стоял, прильнув к глухой стене трансформаторной будки, смотрел, как убивают его людей. Убило Иголкина, убило Митюкова...

Потом всю зиму сорок первого – сорок второго Шагин держал оборону в районе Шушар. Он получил уже старшего лейтенанта, командовал отдельным батальоном укрепрайона. Участок был большой, бойцов мало. От голода солдаты пили воду, пухли. Некоторые пили специально, чтобы попасть в госпиталь. Морозы стояли лютые. Обмороживались. В землянках, несмотря на запрет, круглые сутки топили печки. Дым демаскировал, с этим не считались.

Ходы сообщения заносило снегом, и без того мелкие, они, как ни гнишь, не защищали. Передвигались вечером, благо темнело рано.

В тот вечер Аркадьев доложил, что у немцев в районе Пушкина прямо перед второй ротой вспыхивают цветные огни. Шагин отправился туда, ползком пробрался в боевое охранение. Вместе с Аркадьевым они долго рассматривали и в стереотрубу, и в бинокль пестрые,

звездные вспышки, ни на что не похожие. В морозной дали, между обломками деревьев загорелся свет. Осветились окна какого-то здания. Судя по направлению, это мог быть только дворец. Он находился прямо в створе роты. Другие постройки были разбиты.

– Что это они? – спросил Шагин.

Никто не понимал, что там происходит. Осветительные ракеты не поднимались. Во тьме горели прямоугольники окон. Солдаты ждали, что скажет начальство. Может, готовят наступление.

Шагин оторвался от бинокля.

– Нет, это на иллюминацию похоже. Что они – спятили?

– Да ведь Рождество Христово! – произнес какой-то знакомый голос.

Шагин удивился не тому, что не догадался, а тому, что немцы помнили и справляли этот праздник.

– Ишь ты, пируют, – сказал он. – Не бояться.

– А чего бояться, – раздался в темноте тот же голос.

Шагин всмотрелся, это был Чиколев, недавно назначенный взводным.

– Думаете, они не знают, что нам запрещено стрелять по дворцу, – сказал ротный. – Прекрасно знают.

Теперь Шагин без бинокля словно увидел освещенные этажи и сквозь окна Большой двухсветный зал, простор паркета, казалось, видел и украшенную елку, такую же большую и нарядную, как во Дворце пионеров, а вокруг нее немецких офицеров в мундирах, в начищенных сапогах.

– У вас есть что выпить? – спросил Шагин.

Они спустились в землянку взводного. Чиколев налил по стакану водки.

– Рождество, – сказал Аркадьев – Что оно означает?

– Ну ты хорош, – отозвался Шагин. – Христос родился!

Они чокнулись. Шагин закусил холодной картошкой, обмакнув ее в соль.

Больше ничего у Чиколева не было.

– С фрицами заодно отмечаем, – сказал Аркадьев. – Только без жареного гуся. Я же говорил Осадчому, взорвать дворец надо было к такой-то матери.

– Комфортно воюют, – сказал Шагин.

– Помните кофе? – спросил Чиколев.

На прошлой неделе, когда после боя они заняли немецкие ячейки боевого охранения, так досаждавшие им, Чиколев нашел там термос с горячим кофе. Шагин не мог забыть вкуса этой горячей сладкой смеси кофе и молока. И аромата.

– Соедини меня с Васюковым, – приказал Шагин.

Водка согрела его, поднялась в голову, и он заговорил с начальником артиллерии напористо, не слушая возражений, тем медленным хриплым голосом, который перекрывал любой шум.

– Беру на себя. Накроем их. Самый момент. Сукины дети, пируют. Смеются над нами. Уверены, что не посмеем... Вали на мою голову. И не жалея для такого случая. Сейчас он споеет им «В лесу родилась елочка».

Приняли еще чуточку, и вышли в окоп.

Снаряды пронесли над ними, со свистом раздирая морозный воздух, и вколачивали там, в Пушкине, свои разрывы.

Солдаты кричали, прыгали на скрипучем снегу.

– Давай! Еще! Так их!

Это тоже был праздник.

Огни в Пушкине погасли. Вместо цветных звездочек взметнулись осветительные ракеты.

– Что, попались! – кричал Шагин в темноту. – Думаете, слабо нам? – и матерился при всех, чего раньше не позволял себе. Стал закуривать, не мог поймать огонек зажигалки, руки его дрожали.

II

Внучка заставила Шагина вместо орденских планок нацепить на пиджак натурально все железки. Шагин ворчал, в этом отяжелевшем пиджаке он стал похож на породистую собаку, например эрделя. Квадратная морда, пегие от седины клочья волос.

Был День Победы, день этот Шагин разлюбил. Праздник давно испортился, приносил каждый год огорчения, недостачу друзей, почти никого из однополчан уже не осталось, во всяком случае, в Питере. Не с кем было посидеть, выпить, помянуть. Здравствовал разве что Кирпичев из штаба армии. В войну встречались раз-другой, Шагина

он тогда раздражал – самоуверенностью, разбитной повадкой штабников. Вышел он в отставку тоже полковником, хотя и не стрелял, но и не работал «по линии бензоколонок». Сегодня он приехал за Шагиным на своем «Опеле», и они отправились в Дом Дружбы на встречу с немецкими ветеранами – участниками войны.

Выступал Шагин после сладкого приветствия деятельницы из Общества дружбы. Подходя к кафедре, Шагин видел, как немцы разглядывали его пиджак, увешанный цветным металлом. Совсем как школьники, они тоже на его выступлениях разглядывали не его, а планки или ордена. Боевых наград у него было немного, всего три, меньше, чем у Кирпичева. Однажды на школьном празднике он услышал, как ребята обиженно говорили учительнице: почему к нам не пригласили Героя Советского Союза.

Выступая, Шагин всегда рассказывал одно и то же: как отстояли Ленинград, сорвали планы гитлеровцев, как прорвали блокаду и стали гнать фашистов. Это была та часть войны, которую вспоминать приятно. С годами текст затвердел, менялись только ребячьи вопросы.

Присутствие немцев заставило его говорить «гитлеровцы» вместо «немцы», хотя для него это ничего не меняло. Пока переводчица переводила, он старался вспомнить что-либо лестное для них, например то, что летали они бомбить город аккуратно в одни и те же часы, очевидно, после завтрака. Или что трофейный немецкий пистолет, «Вальтер», который достался Шагину в сорок втором, действовал отлично и провел с ним всю войну. Но все это выглядело двусмысленно, не годилось, ничего подходящего не нашлось, вместо этого он подумал: забавно бы получилось, если б они надели свои боевые награды...

Привычно рассказывал о том, как гитлеровцы варварски разрушили Петергоф, Пушкин, Гатчину, вывезли Янтарную комнату и прочие сокровища. Фразы эти показались ему грубыми, он пытался смягчить их, но не успевал.

После него выступил немец, господин Эберт. Говорил по-русски. Четыре года он провел в плену, в лагере в Подольске и убедился в доброты и душевности русского народа. Незнакомые люди дарили ему теплую одежду, подкармливали, он никогда не забудет бабушку, которая накормила его пирожками с морковкой...

Немцу шумно аплодировали, потом все отправились в ресторан.

– Слышал, как немцу хлопали? – спросил Кирпичев. – Больше, чем тебе. Богато живут, богатых все любят, им все прощают.

Посадили их за один столик с господином Эбертом. За обедом Кирпичев расспрашивал, какую пенсию Эберт получает, какие у него льготы. Шагин молчал. Оживился, когда узнал, что Эберт воевал в его родных местах, под Старой Руссой. Немец называл деревни, станции, Шагин вспоминал полузабытые места, милые названия – Ромашино, Лычково, Кневицы, Ловать... Оба они забыли, как звать рыбацкую деревню на берегу Ильменя. Первым вспомнил Шагин, обрадовался:

– Взвзд!

После войны Шагин однажды побывал в Старой Руссе. Нашел там сплошные развалины. Дом родных сожжен, улица вся разрушена. Ориентировался он по реке да по булыжной мостовой. Курорт не узнать, парк вырублен, источники загажены. Повсюду предупреждения: «Осторожно мины!» Палатки. Землянки. И вокруг вонища, тошнотный запах гнили долго преследовал Шагина, возникал при каждом воспоминании о тех местах.

А господин Эберт, оказывается, побывал там в прошлом году вместе с однополчанами. Их пригласили. В городе следов уже не осталось от военных лет. Чудесный городок.

Зачем их пригласили? Кто? Как могли там принимать немцев? Шагин примеривался, как бы деликатнее расспросить Эберта, но мешал Кирпичев, потом после обеда стали прощаться.

Господин Эберт задержал руку Шагина.

– Вы не против еще встретиться? Я приглашаю завтра к нам в отель пообедать.

Шагин обрадовался:

– Давайте, давайте. Только я вас приглашаю. Вы у нас гость. Ко мне домой приезжайте.

– Домой – это хорошо, – сказал Эберт. – Домой интересно.

Кирпичев вмешался, предложил завтра заехать, привезти господина Эберта, чтобы тот не связывался с такси.

На обратном пути Кирпичев похвалил Шагина за то, что утер нос, пригласил его к себе, а то они любят показывать себя хозяевами жизни, приехали к нам, таким бедным, что нас готовы кормить.

– Да он без умысла, – сказал Шагин. – Я вот постеснялся, а он пригласил. Свободные они люди.

– Потому что богатей, – упорствовал Кирпичев.

Жил Шагин в семье дочери. Так считалось. На самом же деле, когда жена ушла, дочь с мужем и внучкой переехали в его квартиру, свою же стали сдавать.

Из родни Шагин больше всех любил внучку.

Она приготовила обед, накрыла на стол, сама же умчалась.

Гости приехали точно в три. Господин Эберт принес букет гвоздик, Кирпичев торжественно поставил на стол бутылку коньяка. Пошли в комнату Шагина.

Господин Эберт вежливо похвалил скромное убранство – узкую кушетку, письменный стол, шкаф, полосатый домотканый половик во всю длину комнаты, с интересом рассматривал книги, все больше о Второй мировой войне. Самое лучшее в комнате был вид из окна на канал, где в зеленоватой воде повторялось весеннее небо, гранитная набережная со старыми липами. Внимание Эберта привлекла застекленная фотография на стене с дарственной надписью Конева. На ней в два ряда красовались маршалы страны, посередине сидел Сталин. Шагин называл каждого. Никого в живых уже не было. Фамилии их Эберту были известны.

– Да-а, – протянул Эберт, и Шагин вдруг увидел, как все они стояли – чугунно, безулыбчиво, затянутые поясами, увешанные звездами. Ничто не смягчало лица победителей. Это были памятники.

Рядом с фотографией висела карта Европы. На ней господин Эберт показал место своего городка, недалеко от Гамбурга.

За столом Эберт рассказывал про лагерное свое житье в Моршанске и Подольске, про русскую семью, которая его жалела. По-прежнему Шагина занимало – зачем они поехали в Старую Руссу? Да просто хотели посмотреть места боев, посетить могилы товарищей. Написали городским властям, те вскоре прислали приглашение, собрались, кто хотел, и поехали. У Эберта получалось все как нельзя просто. До России он воевал в Польше, туда тоже ездил с однополчанами. Их там неплохо принимали, но в Старой Руссе куда сердечнее.

– Русский народ зла не хранит. Забывает, – пояснил Кирпичев. –

Возьмите, к примеру, сталинское время. Теперь его по-доброму вспоминают, простили. Хорошо ли это – вот в чем вопрос.

Шагин хотел послушать про родной город. Оказалось, курорт работает, город отстроился, собор восстановили. Он расспрашивал Эберта, будто встретил земляка, вздыхал. Эберт спросил, почему бы Шагину не поехать туда. Шагин усмехнулся:

– Меня никто туда не приглашал. – Добавил, спохватясь: – Если бы там воевал, то конечно...

Посреди обеда появился зять, дочь послала его за фруктами. Зять представился Эберту как «афган». Шагин пояснил, что он воевал в Афганистане, сейчас работает в страховом обществе. Зять добавил, что хоть и молод, но тоже ветеран, имеет все права участника войны, тем более, что получил боевые ордена. Водки налил себе полный фужер, выпил зараз, Кирпичев только головой покачал.

– Что же вы, папаша, шампанским не угощаете, – зять достал из холодильника бутылку, ловко скрутил проволоку, расшатал пробку. – У нас принято: чем богаты, тем и рады.

– Я знаю, – сказал Эберт. – Что в печи, то на стол мечи.

От его старательного произношения все рассмеялись.

Он рассказывал, как их повезли на Ильмень, варили там уху из больших золотистых рыб (названия он забыл), как песни пели, подавали книги про новгородские памятники.

Рассказывал, обращаясь прежде всего к Шагину, как бы нахваливая шагинских земляков, и в то же время гордясь выпавшим ему почетом.

– За какие это заслуги, – пьяно сказал зять. – Наверное, подарки им привезли.

Шагин нахмурился, но Эберт опередил его, подтвердил обрадованно, – привезли, как же, несколько ящиков медикаментов, лекарства всякие, пошлину платили, улыбка у него была широкая, распахнутая. Он ослабил галстук, снял пиджак, прочел стихотворение Симонова «Жди меня».

– Может, и нас когда-нибудь афганцы в гости позовут, – сказал зять.

– Не надейся, – отозвался Шагин.

– Слыхали? Не верит папаша в прогресс. Свою Великую Отече-

ственную не позволяет сравнивать с нашей. У нас конфликтное противостояние.

– Кончай, – сказал Шагин, – не затрудняй человека. Мы сами как-нибудь разберемся.

– Наша война потому и называется Великой, – заговорил Кирпичев, – а ваша не украшение истории, ее скорее надо забыть.

Они схватились с зятем, который доказывал, что «афганцы» – истинные солдаты, поскольку воевали исключительно во имя воинского долга, исполняя приказ, без всяких идейных компенсаций.

В рыжем ежике его круглой головы не было ни одного седого волоса, но Шагин знал, что сердце у него никудышное, что время от времени настигает его депрессия, целыми днями лежит лицом к стене, молчит.

– Вы дожили, – кричал зять Кирпичеву, – чокаетесь с немцами, а нам с душманами не придется! Мы не доживем.

Шагин отвлек Эберта, показал ему довоенные открытки Старой Руссы, у него была целая коллекция, были там и дореволюционные – с городской ярмаркой, муравьевским источником. Эберт восхищался, умилялся, маленькие щечки его порозовели так, что Шагин был доволен.

На прощание Эберт дал ему свою визитку, пригласил, если будет в Гамбурге, позвонить, заехать.

– Обязательно, – заверил Шагин. Ему понравился немец, хотелось еще поговорить с ним, жаль, что опять помешали.

Ночью он долго не мог заснуть, мучила изжога, размышлял обиженно, как у них просто, захотел – поехал в Польшу, захотел – в Старую Руссу, и не сомневается, что все другие также могут ехать, когда вздумается. Надо было его спросить, не упрекнул ли их кто в Руссе за прошлое, не может того быть, чтобы обошлось без задорины. Он и не заметил, как оказался на бронетранспортере, куда-то они ехали, рядом с ним Аркадьев и маршал Конев, голая голова маршала блестела на солнце, машина подпрыгивала на разбитой дороге, за Шагина цеплялся немецкий офицер, он тоже сидел рядом, в длинной сизой шинели, похожий на того пленного офицера, которого Шагину привели разведчики в Восточной Пруссии, и в то же время Шагин знал, что офицер этот был Эберт, откуда-то появился старичок косматый, давно

не стриженный, его жесты и голос были чем-то неприятны, почему-то Аркадьев обнимал его и маршал похлопал по плечу. Их машина обгоняла пехоту в пятнистых комбинезонах с автоматами Калашникова и гранатометами. Старичку объясняли, где тут чеченцы, где русские, все шли в одном направлении, старичок горячился, не мог понять, как они воюют друг с другом, если форма у них одинаковая. Над ним смеялись, и тут Шагин сообразил, что этот косматый пегий старикашка, похожий на эрделя, – он сам. Никогда не видел себя он во сне, ему стало тоскливо оттого, что он такой старый, а они все молодые, крепкие. Сердце его больно сжалось, и он проснулся, проснулся во сне, продолжая всех видеть, но знал, что они умерли, и жив только немец и этот старичок.

К новому году Шагин получил нарядную поздравительную открытку от господина Эберта и в том же конверте приглашение приехать к нему в Германию, на две недели, все расходы Эберт брал на себя, просил не отказать ему в удовольствии иметь такого гостя.

Шагин думал, думал и согласился.

В аэропорту Гамбурга его встречал Эберт. Они обнялись, Эберт сиял, благодарил за приезд, и Шагин оттаял. Еще его обрадовало, что Эберт был в легкой куртке, вроде домашней, потому что в самую последнюю минуту внучка уговорила Шагина надеть старенькую кожаную куртку, уверяя, что нечего пузыриться в костюме, что куртка идет ему, сейчас модно так...

Маленький «фольксваген» Эберта двигался в потоке блестящих нарядных машин, Эберт показывал богатые виллы, особняки, кафе. Всюду блестела свежая зелень. Город был наряден, уверен в себе. Людей было мало, машины уступали друг другу дорогу, водители благодарно поднимали руку. Шагин и раньше замечал это за границей, но сейчас, впервые приехав не в составе делегации, он все время ощущал приветливость, направленную словно к нему лично, и наслаждался этим непривычным теплом. Он понимал, что приветливость эта условна, скорее, ей подходит другое слово, с трудом он нашел его, потому что никогда им не пользовался, и вокруг тоже не пользовались, – учтивость.

Квартира Эберта помещалась на первом этаже трехэтажного дома, стоявшего в ряду таких же невысоких домов. Три комнаты, холл, кух-

ня, терраса, выходящая в садик. Почему-то Шагину было приятно, что Эберт живет не в особняке, что жилье его сравнительно скромно, что у него маленький «фольксваген», нет гаража. В квартире еще слышался запах лекарств покойной жены. Выше этажом жила семья ее племянницы и еще родственник, а в мансарде была гостевая комната, отведенная Шагину, с душем, холодильником, телевизором, он получил ключи и полную независимость.

Недавно овдовев, Эберт жил один, помогала ему по хозяйству дальняя родственница, приходила через день. Рано утром Эберт уезжал в какое-то благотворительное общество самаритян, потом навещал больных старушек, агрономическую школу, где раньше преподавал. Шагин оставался один в квартире. Садик принадлежал Эберту. Круглая зеленая лужайка обсажена яблонями, вишнями, все они цвели, гудели пчелами. В Питере еще дотаивал грязный снег, холодный ветер носился по аэродрому. Украшением садика было невысокое деревцо, длинные его ветви, усыпанные розовыми цветами, расходились веером, как струи фонтана. Это был миндаль. Шагин сидел на террасе в плетеном кресле, любовался ими. Солнце пригревало, и он спускался в сад укладывать дорожку из плит, над которой давно трудился Эберт. Каждая плитка была упакована, тщательно обернута. Когда-то Шагин работал в стройуправлении, он мог оценить и материал, и инструмент. Все было сделано добротное, навеки. Одиночество радовало Шагина. Впервые в жизни он остался наедине с собой, никто его не ждал, никуда не надо было идти. То, что происходило рядом на улице, за стеной, не имело к нему никакого отношения.

Эберт вручил ему кипу фотоальбомов. С юности отец приохотил его к фотографии. Оставил в наследство коллекцию семейных альбомов, и Эберт продолжал ее. Там был и альбом, посвященный поездке в Старую Руссу. Цветные снимки застолий с местными ветеранами, начальниками, у дома Достоевского, на набережной Перерытицы, подклеены вырезки из газет. Немцев называли «ветеранами войны», затем «посланниками мира», а под конец, в больнице, к ним обращались «наши немецкие друзья».

На снимках все радовались. Город выглядел незнакомо, и среди горожан Шагин никого не узнавал.

Был военный альбом 1942–1943 годов. Там тоже Новгородчина

и Старая Русса. На одном из снимков на груди дымящегося щепня стояли – нет, позировали трое молодых солдат. Позади проступали развалины Гостиного двора. Шагин сразу узнал галерею, по которой бегал мальчишкой. Солдаты смеялись. Светило солнышко. На соседней карточке тоже немецкие солдаты на фоне собора, еще целого, не разбитого. А вот и отдельная карточка, наверное, сам Эберт, у орудия, лента на шее и на ней железный крест. Еще одна фотография привлекла внимание Шагина – Эберт с какой-то русской девушкой в шерстяном платке. Были и другие его снимки с девицами. Но у той улыбка с ямочками на щеках показалась знакомой, хорошо знакомой, чем больше Шагин вглядывался, тем больше убеждался, что знал ее.

Вечером Шагин спросил Эберта, что за девушка с ним. Тот долго всматривался, не мог вспомнить. Знать-то он ее знал, познакомился с ней, она местная, но не помнит. А это действительно он, трое артиллеристов, он справа. Вот купается в озере. Плечистый, ростом выше нынешнего, он походил сразу на всех фрицев, какие попадались Шагину пленными, убитыми. Снимков было много – женщина с коромыслом, двумя ведрами – русская диковинка. Бородатый мужик в ватнике. Увязшая в грязи телега... Эберт регулярно посылал снимки домой.

А это он снял колонну советских военнопленных. Мог ли подумать, что через год сам будет топтать военнопленным в такой же длинной колонне.

К тому молодому сержанту нынешний Эберт относился смущенно, как бы побаиваясь, ожидая подвоха. Тот Эберт был слишком самоуверен, явно любовался собой – победителем.

С куда большей охотой показал другой альбом – довоенный, где были семейные снимки, большой крестьянский дом Эбертов в Тюрингии, в войну он сгорел. Дедушка в солдатской форме, дядя в длинной шинели, погиб в Первую мировую войну. Появился маленький Карл Эберт. Он – школьник, он с сестрами, он работает в конторе. Наконец, Карл, облаченный в новенький мундир, отправляется на войну в 1940 году.

Каждая карточка подписана, год за годом, поколение за поколением.

У Шагина фронтовых снимков не сохранилось. Ни блокадных, ни

в наступлении, ни в Пруссии. Вроде никто их не снимал, не до этого было. И семейных тоже мало. Ни дедовских, ни других родных не осталось. Были, да не хранил, все вперед да вперед, и прошлое кануло бесследно. У Эберта и послевоенная жизнь подробно запечатлена. Агрошкола, Эберт с учениками, Эберт с ветеранами войны. На одном из них – Эберт показал: майор Кнебель, ныне глава какой-то фирмы, воевал в Северной группе войск в Пушкине, хотел встретиться с Шагиным.

– Пожалуйста, – сказал Шагин, – почему нет.

Дни стояли безветренные, теплые, длинные. Эберт рассказал, как последние годы жена его не вставала с постели, он ухаживал за ней, ему помогали самаритяне. Рассказывал без горечи, послано было испытание, а может, и наказание, надо было выдержать все это. Шагин, человек неверующий, не понимал подобных чувствований, завидовал просветленному состоянию Эберта. Уход за женой, по словам Эберта, вносил смысл в его существование. Сейчас он стал навещать одиноких больных. Миндаль посадила его жена, бедняжка не дождалась цветения, нынче он впервые зацвел без нее, и для Эберта в этом дереве живет душа покойной.

В ответ Шагин рассказал, как ушла от него жена: заявила – любит другого, что тут скажешь. С Шагиным жить было нелегко, он и пил, и гулял, домом не занимался. Это он теперь понимает, а тогда, когда она ушла, он явился к тому мужику, избил его, думал этим показать свое превосходство, унижить его, получилось наоборот, жена жалела того, считала себя виноватой, Шагина возненавидела. Он пуще запил, пошел в разнос...

Внимание, с каким Эберт слушал, тронуло Шагина. Давно никто не интересовался обстоятельствами его путаной жизни, не спрашивал, почему с ним такое происходило, были же причины. В армии его любили, с ним считались, уговаривали поступить в Академию Генштаба. Вместо этого он добился отставки. Осточертели армейские порядки.

На гражданке он быстро выдвинулся. Подсекло его «Ленинградское дело». Еле уцелел, ушел заведовать детским домом. Можно сказать – сбежал, укрылся. От друга своего, арестованного секретаря райкома, – отрекся, тем и спасся. Объяснить Эберту, что это за «Ле-

нинградское дело», он не стал, да и сам не понимал. Вспомнил, как сжег фотографии, где снимался с районным начальством на конференциях, на охоте.

Про свою жизнь человек может рассказывать без конца. Прожитые годы выглядели бестолковыми, с каким-то удовольствием Шагин определил себя как неудачника, и его удивило, что Эберт увидел в нем типичную русскую душу, которая не довольствуется успехом, а ищет чего-то большего, ищет правды.

Поехали на кладбище. Эберт положил цветы на могилу жены. Кладбище было громадное, похожее на парк. По аллеям прогуливались матери с колясками. Захоронения перемежались лужайками и цветниками. Они прошли на воинское кладбище. Сперва немецких солдат. Шеренги одинаковых каменных крестов. На каждом – имя, фамилия, две даты. Без званий, без наград. Для вечности несущественно. Лежали больше все погибшие в 1944–1945 годах. Тысячи, целый полк выстроился здесь, Шагину вновь подумалось: «Неплохо мы поработали». Мысль эта показалась ему чужой, чем-то неприятной. Он шел сквозь каменный строй, механически читая имена, задержался у креста с непонятной надписью. Эберт перевел:

«Имя его известно Богу»

Шагина поразила эта уверенность. А что если и в самом деле человек полностью не исчезает?

Через дубовую рожицу Эберт провел его на кладбище русских воинов Первой мировой войны. Содержалось оно в чистоте, трава подстрижена, ни лопухов, ни лебеды, бордюр лиловых цветов. Шагин чуть не спросил – чего ради немцы сохраняют такую древность? Еле удержался. В России никакого кладбища погибших в Первую мировую не видал и не слышал про такое. Кладбища Великой Отечественной – и те запущены. Батальное их кладбище за насыпью у дороги запахали, поставили безымянный обелиск. А тут с Первой мировой сохраняют. Нацисты в лагерях военнопленных убивали, сваливали во рвы, заравнивали бульдозером.

На краю кладбища возилось несколько девочек в передничках. Шагин подошел ближе. Они счищали, соскребали мох с ноздреватого серого камня надгробия. Эберт пояснил, что эти школьники заняты уходом за могилами. Существует такое движение в Германии или

обычай – школьники ухаживают за военными захоронениями. Необязательно немецкими, за всеми – польскими, чешскими, английскими...

– А советскими? – спросил Шагин.

Было здесь и советское кладбище. Сразу за Мемориалом жертвам фашизма. Вместо крестов там лежали квадратные каменные плиты. Имена по-русски и по-немецки. Мелкие цветочки, белые, розовенькие, кудрявились на аккуратных посадках. Кладбище было особенно ухоженное. Умершие на работах, в госпиталях, еще бог весть где. Годы рождения разные, сходились даты смерти, те же – 1944–1945. Здесь лежало его поколение – Сергей, Иваны, Михаилы. Были Хасаны, Григолы, Тимуры.

Шагин шел, словно вдоль строя своих гвардейцев, только пахло не ваксой, не казармой, а скошенной травой, сочной, как на всех кладбищах. Вдруг его точно током ударило, надписью: Осадчий. Написано еще: Алексей. Как того звали – он не помнил, только вспомнил ночь, когда до утра ждал и не дождался тех четверых, что послал разминировать проходы. Осадчий, может, и Алексей. Второй проход разминирован не был, судьба той группы осталась неизвестной, как и многое, что остается неизвестным на войне. Возможно, и те трое лежат здесь. Осадчий – он умел смешить, подражая дурацким приказам штаба: «Приказываю отловить три десятка вшей, доставить в медсанбат для проверки нового дуста...» Между прочим, и он, Шагин, мог лежать здесь. Дважды он попадал в окружение, несмотря на запреты, ходил в разведку. Черными буквами было бы выведено: «Петр Шагин», и никто бы и ведать не ведал... Очнулся от того, что Эберт тронул его за рукав.

– Минуточку, – сказал Шагин, подошел к низкому кусту желто-лимонных роз, отломил ветку.

Две седые дамы остановились, неодобрительно стали выговаривать ему: Verboten! Шагин побагровел:

– А сгноить наших пленных – не Verboten?

Эберт, виновато улыбаясь, принялся что-то им объяснять. Шагин положил ветку Осадчему. Облик того маленького кривоногого сапера восстановился – появись он сейчас, Шагин узнал бы его, а вот Осадчий вряд ли узнал бы своего комбата.

Американские солдаты лежали на пригорке под беломраморными крестами.

– Роскошно устроились, – сказал Шагин. – Но и за наших солдатиков спасибо, – усмехнулся, – лучше здесь быть покойником, чем в другом месте живым.

Эберт вопросительно смотрел на него, но ничего больше не дождался.

... В Эстонии, где он после боя похоронил тридцать своих бойцов, следа от кладбища не осталось, все камни снесли.

Нацисты в лагерях зверствовали, сжигали, валили убитых в ров, а тут хоронили по-людски, содержат в порядке, с Первой мировой сохраняют. Что за народ – не поймешь.

То и дело возникали темы, которые следовало осторожно обходить. Иногда вдруг в совершенно безобидном разговоре они попадали на гиблое место, от которого пятились, натянуто улыбаясь друг другу. Что могло быть невиннее воспоминаний о детстве. Базары в Руссе, где живая рыба плескалась в садках. Приезжали телеги, пахнувшие яблоками, торговали мешками, ведрами. Мелочь мягкую, краснощековую раздавали ребятишкам. Базар шумел у Гостиного двора. По его аркадам к вечеру гуляли навстречу друг другу приезжие парни и девки. Чем дальше, тем сказочнее вспоминался Шагину этот городок в яблоне-вых, грушевых садах, звонких от частушек, песен, духового оркестра в курортном парке.

– Он сейчас тоже мне нравится, этот городок, – сказал Эберт.

– А тогда, когда вы били по нему, не нравился?

– Тогда там был населенный пункт, там засел противник.

Шагин против воли усмехнулся:

– Засел противник.

– Мне жалко, что я стрелял в ваше детство.

– Чего теперь жалеть.

– Фашизм нас околдовал, – сказал Эберт. – Это был всеобщий психоз.

– Бедные вы, несчастные.

– Да, мы тоже пострадали, – в голосе Эберта что-то изменилось.

Шагин чуть не поперхнулся.

– Ну, знаешь! Как ты можешь сравнивать!

Он зачем-то стал выпаливать известные всем цифры, названия сожженных карателями деревень. Это было глупо. Ему самому было стыдно, когда в Берлине на митинге глава их делегации с печальной гордостью произнес цифры погибших двадцати с лишним миллионов солдат. Шагин потом сказал генералу: нашли, чем размахивать – нашим неумением воевать.

– Ладно, – оборвал он и себя, и Эберта. – Тут мы никогда не договоримся.

Эберт почесал свой сизый носик.

– Не спеши.

В другой раз Эберт пожаловался, что в Руссе уничтожили кладбище их корпуса.

– Вы его устроили посреди курортного парка, – сказал Шагин. – Разве это место?

– Могли перезахоронить. Мы бы оплатили.

Шагин вспомнил о Кирпичеве, сказал терпеливо:

– После войны мы хотели всякую память об оккупантах уничтожить. Вы все изничтожили, загадили, и нечего вам торчать на нашей земле.

– У нас военные кладбища навечно охраняются.

– У вас, Карл, другой вид на них. Вам не за что ненавидеть русских.

Крепко сжав губы, Эберт смотрел на Шагина неприятно, в упор, как будто что-то знал о нем нехорошее.

Наступило молчание, оно становилось все тяжелее. Когда они с трудом выбрались из него, неловкость еще долго витала.

Настроение у Шагина испортилось. За ужином Эберт выставил бутылку вина какого-то особенного разлива, поставил еще русскую столичную, коньяк, виски – на выбор. Шагин принимал его ухаживания хмуро, вино показалось кислятиной. Он угрюмо жевал бутерброды. Здешний хлеб был безвкусный, все эти колбасы разных узоров приелись.

– Слушай, Карл, зачем ты меня пригласил? – вдруг спросил он. – Только честно.

Эберт аккуратно вытер губы.

– У вас, русских, смешная привычка предупреждать: «давайте честно», «честно говоря», или еще: «будем откровенны», как будто все остальное вранье.

– Не финти. Отвечай по существу.

– Отвечаю. Мне понравилось, как ты говорил в Петербурге про войну. Ты не стеснялся нас. Я не люблю, когда русские начинают нам рассказывать, как они представляют разницу между немцами и фашистами.

– Ну и ладно, меня-то зачем пригласил?

– А ты зачем поехал?

Шагин невесело рассмеялся.

– Разобрались!

Эберт повел Шагина в свой кабинетик. За шкафом висел под стеклом портрет, сделанный акварелью. Девушка с пушистой рыжеватой косой через плечо. Она смотрела насмешливо, ожидающе, как бы не веря художнику. Написан портрет был неумело, слишком яркими красками, что удалось художнику – так это передать удовольствие от своей модели.

Эберт признался, что писал он, когда-то баловался, любил рисовать. Портрет – его бывшая невеста, Ингрид.

– Что значит – бывшая?

Эберт не ответил. Они вернулись на террасу. Поговорили о том, кто чем увлекался в молодости. Шагин сочинял стихи. Ужасные стихи, про бандитов. Эберт, кроме рисования, еще занимался фотографией.

Шагин все же не вытерпел:

– Что с ней случилось?

– Погибла в сорок пятом году.

– Как погибла?

Эберт ровным голосом рассказал. Деталей он не знает, потому что вернулся из плена спустя пять лет после ее гибели. Ему известно, что в их доме стояли советские солдаты. Была пирушка, напились, Ингрид прислуживала. Двое затащили ее на второй этаж, стали насиловать, пришли другие, она кричала, ее избили, потом придушили. Комендантура труп сфотографировала, увезла. Завели дело, результатов не было. Объяснили, что сама виновата, спровоцировала солдат на

драку и в драке случайно была убита. Эберт, приехав, не нашел следов ни той военной части, ни того дела в комендантуре. Похоронили ее тайно, неизвестно где. Портрет родители отдали Эберту.

Шагин знал, что Эберт смотрит на него, знал свое костистое застылое лицо, на котором давно ничего не отражалось. Он откашлялся.

– Скажи, пожалуйста, что, ваши солдаты не насиловали?

Эберт ответил не сразу.

– На войне без этого не бывает.

– Ваши солдаты три года насиловали, вешали, жгли, пока не стали драть.

– Есть разница, – тихо и твердо сказал Эберт. – Мы пришли как оккупанты, а вы вошли в Германию как освободители.

– Этому тебя в лагере научили?.. За четыре года наша война выродилась. Она стала грязной войной. Мы ведь не были такими. Знаешь, как мы пели, – Шагин поднялся с кресла, запрокинул голову, запел:

Идет война народная,

Священная война!

Он сморщился, как от боли.

– Она была священной! А священная стала грязной. – Он наклонился к Эберту: – Любая война, самая справедливая, вырождается. И наша тоже. Ради званий и наград мы своих не жалели. Мой полк разбомбили, чтобы я первым не вошел в Тильзит. Я такого дерьма нахлебался.

– Вы освободили Европу от Гитлера.

– И что? Я тебя спрашиваю, что твоей Ингрид до этого, ее матери, тебе? – Он взял Эберта за отвороты куртки, приподнял и бросил обратно в кресло. – Ты хочешь, чтобы я тебе привел наши заслуги? А я тебе скажу, что тоже был сволочью. Я считал, что нам все позволено. Как же – освободители, спасли Европу!

Его словно прорвало. Он признавался Эберту в том, в чем никогда никому не признавался. Он не щадил себя. Наряду с той войной, о которой он обычно рассказывал, – с цветами, что бросали им под ноги, с объятиями и слезами освобожденных узников лагерей – была и другая война, ее изнанка. Он вспомнил, как укладывал к себе в постель немок за банку тушенки. Его солдаты обирали немецкие дома, таскали занавеси, белье, посуду, шубы, из какого-то дома принесли

русские иконы, громили винные погреба – и он покрывал своих, спасал от смерти.

Он добивал фашизм, но в душе его копилась злоба и разочарование. Еще на Ленинградском фронте началось. Его бойцы пухли от голода, жевали траву, а командование армии регулярно слало продуктовые посылки своим семьям на Урал. Это из блокадного Ленинграда.

Со сладостным ожесточением он выкладывал этому немцу залежалые свои обиды, крамольные мысли, которые прятал от себя.

На войне Шагина считали смельчаком, а смершевцев он боялся, помалкивал, разговоров лишних избегал. После войны тоже помалкивал, за своих инвалидов голоса не поднимал, хлопотал, но не спорил. Вспоминая о тех годах, Шагин и сам себя не понимал, тоже трус, чего боялся – не мог Эберту объяснить.

В воскресенье приехал господин Кнебель с женой Эльзой. Говорил Кнебель по-русски хуже Эберта. Толстый, потный, громкоголосый, он заполнил всю квартиру, привез с собой ящик пива, заставил Шагина пить, сам, пыхтя, прильнул к коричневой бутылке.

Рядом с огромным пузатым мужем Эльза выглядела тоненькой, хрупкой. Смуглая, с дикой шевелюрой черных волос, юбка пестрая, длинная. Похожая на цыганку, много моложе Кнебеля. Эльза была из Прибалтики и тоже немного знала русский.

Кнебель велел звать его попросту – Отто, сразу перешел на ты, потрепал Шагина по плечу: мы одноземельцы. Такое слово он вычитал в словаре, в одной земле окопы себе вырыли. В качестве сюрприза привез большую штабную карту, расстелил ее во весь обеденный стол. Переснятая с ветхого оригинала, она повторяла стертости на сгибах, прожженные пятна. На карте обозначены были позиции немецких и советских войск от Пулкова до Синявина, включая участок батальона Шагина. Нанесены были немецкие укрепления, доты, командные пункты, было там и расположение войск противника, батальон 290-й, его, Шагина, гаубицы Васинского, не все, на самом деле их было больше, забавно увидеть, как немцы представляли оборону шагинского батальона.

Шагин ходил вокруг стола, ложился на карту, разглядывал расположение немцев. Господи, если б досталась ему эта карта тогда! Наконец-то перед ним предстала вся огневая система немцев. Сколько

сил он положил, чтобы разведать, нащупать их точки, сколько народу положил.

Пыхтящий Кнебель был счастлив, что угодил Шагину, хохотал, подмигивал Эберту. На самом деле карта оказалась не только оперативная, одновременно историческая, на ней нанесено было расположение войск в разные периоды зимы и весны, начиная с 1 января 1942 года.

Эльза курила, улыбаясь, глядя, как горячились эти старые вояки, обсуждая операции давно позабытой войны.

Когда-то у Шагина была своя карта, чёрканная-перечёрканная: секторы обстрелов, боевое охранение, красным и синим по зеленому, в планшетке, сквозь мутный целлулоид...

Но кнебелевская карта куда подробнее, полнее, на ней перед Шагиным ожило болотистое поле, изрытое окопами, ходами сообщения, появилась кирпичная будка стрелочника, кругленький значок позади его КП превратился в старый каменный колодец, который так выручал их.

Весной окопы затопило вешней водой. В землянках в ледяном крошеве плавали поленья, доски. Солдаты простужались, повыскакивали чирьи. Немцам было лучше, они сидели выше.

– Ничего подобного, – доказывал Кнебель, – отметка их лоцины ниже, разлив отрезал передовую...

Спорили, кому пришлось хуже. Впрочем, немецкие связисты устраивались на окраине города в домах, где сохранились печки, и все равно страдали от морозов, русские имели полушубки, ушанки, а у немцев шинельки, он, Кнебель, обморозил ноги. Тут же снял туфлю, стащил носок, сунул ногу Шагину, зашевелил багровыми пальцами. В феврале сорок второго с ним это случилось, он отлеживался в снегу от русского снайпера, тот тоже лежал в засаде, но лежал в валенках, а Кнебель в сапогах и боялся шевельнуться.

Откуда он русский знает? Нет, в плену не был, язык выучил на фронте. Зачем? Из-за одной истории.

– Ради бога, – взмолилась Эльза, – только не начинай.

Шагин, однако, упрямился.

Кнебель засопел, долго раскуривал сигару и, наконец, вернулся в то первое лето, когда в покинутой русской траншее он наткнулся на

молоденького ополченца. Их узнавали по синим галифе и обмоткам. Парнишка наставил на него старинную винтовку со штыком. Руки его дрожали, Кнебель крикнул ему: ложись! Тот продолжал стоять, тогда Кнебель выпустил в него очередь, в упор. Только потом догадался, что ополченец не понимал по-немецки. Во Франции в Дононе произошло похожее, но там Кнебель повторял по-французски: «Au sol!» С французами было легко. Если бы Кнебель мог по-русски, парень этот уцелел бы. С того дня он по солдатскому словарю стал учить русские слова. Стрелять в упор – это ужасно.

– Вам тоже так приходилось? – спросила Эльза.

– Вся война состоит из стрельбы, – сказал Шагин. – В нас стреляли, мы стреляли.

– Значит, вы тоже убивали?

– Конечно, – спокойно ответил Шагин.

– И сколько же вы убили?

– Эльза, ты же не хотела про войну, – вмешался Кнебель.

– Послушай, Отто, зачем бояться этого разговора, – не согласился Шагин. – Ты мне интересен как солдат и я тебе, тем более, что ты не попал в меня.

– Я был связист.

– Связь была нужна, чтобы твои артиллеристы могли точнее стрелять в нас. Корректировка, верно.

Эберт одобритительно кивнул.

– Не стоит нам петлять. У немцев была неплохая связь. Вы хорошо служили. Я знаю, что это такое.

– Я тоже, – сказал Кнебель. – Я получил осколок в задницу, да еще на Рождество... Может, от тебя, Петр?

– В каком году?

– В сорок втором. Вы неплохо стреляли.

– Попасть в твою задницу нетрудно, – сказал Эберт.

– Как это было? – спросил Шагин.

Отмечали Рождество. Командование дивизии разрешило пускать фейерверки, устроить елку и ужин во дворце. Все было торжественно. Зажгли свечи, пели «Тихую ночь». Кнебель был дежурным по связи. За полночь русские стали стрелять по дворцу. Никто этого не ожидал. Известно было, что русские шадят дворцовые постройки. Снарядов у

них не хватало. Один снайпер попал в окно. Офицеры разбежались. Кнебель оставался на узле связи. Не было команды покинуть пост. Он лег на пол, и тут в него влетел осколок, не от снаряда, а большой осколок стекла. Две недели прокантовался в лазарете. Если бы осколок достал до кости, повредил ее, тогда его, может, демобилизовали бы, а так пришлось вернуться в часть.

– Это наше упущение, – сказал Шагин. – Извини. А что, разве только один снаряд попал?

– Два или три. Во дворе разорвались. Окна повывлетели. Один, кажется, залетел во флигель.

Когда Кнебель вернулся из лазарета, кого-то из командиров уже сняли за то, что подвергли риску офицеров. После этого принялись вывозить ценности дворца. Объяснили: поскольку русские стреляют, надо спасти сокровища. Кнебель не знает в точности, что вывозили. Конечно, начальники не стеснялись, грузили машины, отправляли домой. Сдирали штоф со стен, снимали каминь, мрамор. Увозили статуи, вазы, всякую всячину. Позже он узнал, что Янтарную комнату увезли.

– Если немцы начнут, они все до винтика утащат, – сказал Эберт. – Мы, немцы, хорошо исполняем и мало думаем.

– Наши офицеры доказывали, что мы имеем право на трофеи, – говорил Кнебель.

По его словам, они сильно рассчитывали пожить в Ленинграде. То, что город падет, не сомневались. Надо было просто ждать, пока они там все передохнут с голода.

– Нас уверяли, что все подсчитано, до последней калории, жители и солдаты должны подохнуть, и мы спокойно войдем в город. Я до сих пор не знаю, в чем ошибка, а, Петр?

Шагин пожал плечами.

– Не хотели подыхать, не хотели, чтобы город уничтожили. Не хотели.

– Я знаю почему. Потому, что у вас много есть терпения. Очень много. Наши засранцы генералы не знали про эти ваши запасы. Они считали только калории. Я в Пушкине увидел, как в одной квартире живут три большие семьи. В сарае еще жил старик, смотритель

дворца. Но клозеты у вас страшные. Такие дворцы – и такие клозеты. Непонятно.

Фрау Эльза напомнила, что пора ехать в ресторан, там заказано, их ждут.

Поехали на большой машине Кнебелей. В ресторане Шагина посадили напротив окна с видом на долину внизу. Он заказал себе жареную семгу и, по рекомендации Кнебеля, белое французское вино.

Кнебель поднял бокал.

– Вы крепко стояли. Голодные, а никак вас было не сдвинуть. Молодцы.

– Спасибо, – сказал Шагин. – Все же дождался. Траву ели. Цингой болели. Сколько раз вы пытались взять Пулково – и никак. Так ведь?

– Точно!

Они чокнулись. Толстые щеки Кнебеля дернула усмешка.

– Не то, что американцы. Эти засранцы могут стрелять только сверху, с самолетов.

– Не любит он американцев, – Эльза улыбнулась, белые зубы ее холодно блестели.

– Американцы – преступники, их мораль – это выгода, – категорично определил Кнебель.

Его нелюбовь имела причину, и Эберт заставил его рассказать, как в день бомбардировки Дрездена фельдфебель Кнебель находился в отпуске, в Берлине. В Дрездене жила его мать. Он добрался туда через два дня. Город еще горел. Кнебель шел по толстому слою горячего пепла. В развалинах своего дома пытался найти хоть что-то. Все сгорело, оплавилось, огонь искорежил и кухонную плиту, дедовский инструмент. На краю сада между черепиц в песке лежала оторванная рука. Огненный вихрь рвал тела на куски, он узнал обожженную руку матери по кольцу. Ничего другого не осталось. Он похоронил ее руку на кладбище. Зачем им надо было изничтожить Дрезден? Зачем?

Он свирепо уставился на Шагина.

– Не знаю, – отговорился Шагин.

– Вы же союзники! Этой рукой меня мать гладила, кормила меня, когда болел. Эта рука... – он всхлипнул, вылил себе остатки вина, выпил не отрываясь.

– Не американцы начали войну, – тихо сказал Шагин, как бы про себя.

И сразу разговор оборвался.

Эльза вскинула руки.

– О, господи! Никто уже не помнит, кто первый начал.

– Ты права, никто уже не помнит, и чем она кончилась, – согласился Кнебель.

– Я только помню, как американский солдат подарил мне гуми. Помню очереди за хлебом и маргарином...

Эберт предложил заказать десерт. Подали мороженое и капучино. Кнебель закурил сигару, блаженно затянулся.

– Я надеюсь, Петр, ты не обиделся. Ты сам хотел говорить откровенно, – тихо произнес Эберт. – В России меня тоже многое огорчало. Зато там есть то, чего нам не хватает. Среди русских я не чувствовал себя одиноким. А здесь чувствую, особенно после смерти жены.

– За что это они тебя любят? – поинтересовался Кнебель.

Они перешли на немецкий, заговорили быстро, все трое, перебивая друг друга. Шагин смотрел в окно на долину у подножия горы, на темную пышную зелень дубов и светлую, еще не истомленную жарой зелень полей, перед ним возникла та первая весна в Восточной Пруссии, когда они шли по дорогам, обсаженным каштанами. Кругом все цвело, все сверкало, пахло, каждая травинка. Война кончалась, природа ликовала, обнажалась перед ними во всей прелести своих красок, тепла, ароматов. Воспоминания нахлынули на него с такой свежестью, как будто не было прошедших лет, он снова был тем же молодым, крепким, едущим впереди в открытом американском джипе, на плечи накинута плащ-палатка, регулировщицы козыряют ему.

Странно, вся послевоенная его жизнь, служба, отодвинулась, остались война, прежде всего победная весна сорок пятого, и, конечно, первые месяцы отступления, бегства, и они тоже вспоминались то со стыдом, то с удивлением.

– Смотритель! – вдруг вырвалось у него. – Старик-смотритель.

Он накинута на Кнебеля с расспросами.

– Кажется, старика забрали полицаи. За что? Будто бы отказался готовить экспонаты для вывоза. Кнебеля это не касалось, вывезли – и ладно, при штурме ничего бы не уцелело.

– Оставлять это рационально не было.

Он остановился и хлопнул себя по лбу, – у него же есть презент для господина полковника.

Эльза принесла из машины толстую книгу. Это была история его пехотной дивизии «1939–1945». Название вытиснено золотом на кожаном переплете. Документы, фотографии, карты боевого пути, начиная с Вогезов. Ленточки-закладки там, где на снимках был Кнебель. В новенькой форме, со значками, молодой сияющий дурачок.

Роскошная книга, от начала до конца оснащенная снимками дивизионных фотографов. Ничего подобного ни дивизия, ни армия Шагина не имели. Посмеиваясь, Эберт зачитывал отрывки из приказа какого-то командующего: «даже самая ожесточенная ярость противника разбивается о вашу волю к победе», «совершая чудеса храбрости, дивизия отошла к Нарве».

Без интереса Шагин перелистывал победные изображения на улицах Вены, потом еще не разрушенной Варшавы, Вильнюса и вот, наконец, Пушкин. Веселые физиономии, начищенные сапоги, какие-то девицы подносят вино.

Наконец он добрался до сорок четвертого, дороги возмездия, до заросших, обмороженных, укутанных в платки, в какое-то тряпье отступающих немцев. На одном из снимков солдат вычерпывал талую воду из окопа ведром, прибитым к шести. Точно так же орудовали солдаты Шагина, тоже ведра на шестах, перед ними переломанные, обожженные рожи голых стволов, те же безрадостные поля с развалинами церкви. Обугленные дома, руины сопровождали весь путь немецкой дивизии по России и обратно в Германию. Снимки кладбищ в Красном Селе, в Салтыкове. Заканчивался альбом цветными снимками банкетных залов – длинные столы, сотни лысых, седых мужчин.

Однако сколько же их уцелело.

Размашистым почерком Кнебель сделал дарственную надпись: «Господину Шагину на память о нашей военной молодости». Приложил визитную карточку: «Отто Кнебель президент фирмы Гальске, Любек».

Они снова чокались, обнимались. Кнебель порывался запеть какую-то песню своей армии, но Эберт его осадил.

– Молчи, – настаивал Отто, – я должен исполнить! В такой день! Пускай русский гость слышит меня. Мы все были солдатами.

– Ты был солдат, – сказал Эберт, – а он полковник.

– Ты что мне командуешь. Ах, да, ты ведь лейтенант, ты получил рыцарский крест. Или дубовые листья? Старался из всех сил!

– Я воевал. А ты не мог даже до обер-фельдфебеля добраться.

Кнебель хотел что-то возразить, но Эберт вскочил, заорал: Halt's Maul, du Arschloch! и дальше покрепче, похоже на исковерканный русский мат.

Неожиданно физиономию Кнебеля осветила добродушная улыбка, он хихикнул, подмигнул Шагину.

– Да, я говенный солдат, я был самый говенный солдат на этой самой говенной бойне, господин полковник! Дерьмовый солдат нашей славной дивизии. Теперь я стал самый почетный ветеран, один я уцелел со времен Вены!

Шагин тоже хотел запеть «Катюшу», и спел бы, если б Кнебель не стал жаловаться на потери; брызгая слюной, он описывал сумасшедший обстрел русских в январское утро 1944 года, и потом, когда русские прорвали фронт и заняли высоты Дулергофа, у немцев связь отказала, сперва полковая, потом и дивизионная, и началось отступление – кто куда, еле собрали остатки.

– Ага! – торжествующе закричал Шагин. – То-то же! Драпанули, сукины дети! – и расцеловал Кнебеля.

Белые каски, белые халаты, немцев не отличишь от русских, снег, перемешанный с землей и кровью, едкая вонь тротила, раненый ползет, волоча за собой кишки, горящие танки... Одна и та же картина вставала перед ними. Теперь Шагин видел ее глазами немцев – впервые прославленная эта дивизия отступала, истекая кровью. Они ушли на Псков...

– Мы сохранили право на свой герб и свой девиз, – возгласил Кнебель.

Он взял у Эльзы губную помаду, нарисовал на салфетке щит и на нем меч. Прорекламировал по-немецки, Эберт перевел:

«Острый меч, наше мужество, наша верность и незапятнанная чистота нашего герба».

– Лихо, – сказал Шагин. – Незапятнанные вы мои грабители. Во-ришки дворцовые.

Кнебель стукнул кулаком по столу.

– Я же говорил тебе: вывозили, чтобы спасти от обстрелов. Так нам объяснили. Слава богу, что наши вывезли, хоть кому-то досталось.

Эберт покачал головой:

– Ты хочешь сказать, что мы, немцы, вели себя цивилизованно?

– Кто стрелял по дворцу, а? – не унимался Кнебель. – В такую святую ночь! Они стреляли в Рождество. Знали, что христиане отмечают праздник. Согласитесь, это вдвойне нехорошо.

– Чего уж тут хорошего, – согласился Шагин.

Он плохо помнил, как это было, что-то их тогда заставило.

– Русские не практичны, – сказал Кнебель. – Тот смотритель, его просили аккуратно приготовить все предметы для вывоза, так он отказался. Это не было рационально. Наши солдаты не сумели, многое испортили.

– Сукины вы дети, вам должны были еще паковать награбленное!

– Молодец! – внезапно расхохотался Кнебель. – Меня давно никто не ругал.

– Ты же сам хвалил русских, – сказал Эберт. – Где твои принципы?

– Мои принципы зависят от того, с кем я спорю и сколько я выпил.

Эльза поспешила вмешаться, спросила у Шагина, разве они не отмечали Рождество?

– Отмечали бы, да нечем было. Лошадей уже съели. – Шагин улыбнулся ей. – Елка была, так мы из нее хвойный напиток делали. Будь у нас гусь жареный, мы бы не стреляли по дворцу. Ни за что. Но вы сами гусей ели, а к нам ничего не пропускали. Блокаду устроили. Вот мы и стали стрелять.

Примерно так оно и было, подумал он.

Заклучили ужин рюмкой коньяка.

Кнебель посмотрел коньяк на свет, понюхал, одобрительно прижмурился.

– Никогда не думал, что буду пить за здоровье русского полковника, который в меня стрелял.

– Плохо стрелял, если не мог попасть в такую тушу, – сказал Эберт.

– Ты молчи. Ты уничтожил его родной город и ездил туда в гости. Что это за порядок?

– Между прочим, никто меня там не критикует. Не то, что ты. Мне там очень нежно.

Шагин не любил пить просто так, он произнес тост в честь фрау Эльзы, ее супруга, который открыл ему неизвестные страницы войны. Ему захотелось рассказать им про смотрителя. Но вместо этого он завел про то, что война причинила немцам тоже горести, жизнь в развалинах, как это было в Ленинграде. Никак не мог закончить так, чтобы снять то неприятное, что появилось у него к Кнебелю. Поблагодарил его за ужин и ни с того ни с сего пригласил приехать в Петербург.

– Я давно его прошу, – подхватила Эльза, – слышал? Обещай мне, это же совсем не дорого... Бесплезно! Он и в Америку не хочет! Боятся, что у вас могут ему сказать что-то плохое.

– Могут... Могут, – подтвердил Кнебель вдруг совершенно трезво.

После ужина фрау Эльза фотографировала их троих. Посередине встал Кнебель, обнял Эберта и Шагина.

– Снимок будет называться «Чем кончаются войны!» – объявил он. – Это вам не какие-нибудь тыловые крысы, мы честно выполняли свой долг и имеем право дружить.

Снимок, как он обещал, будет опубликован в журнале. Он снял с пиджака значок дивизии, вколочил в лацкан Шагину, обнял и звучно расцеловал. Этот момент тоже был отмечен вспышкой блица.

– Вы мне понравились, – Кнебель потрепал Шагина по щеке.

– Вы мне тоже, – ответил Шагин и добавил: – Вы хорошо сохранились.

Кажется, только Эберт уловил смысл сказанного, Кнебель же источал расположение ко всем, его с трудом погрузили в сверкающую машину. Шагин и Эберт помахали им вслед.

– Он неплохой человек, – виновато сказал Эберт.

– Наверное. – Шагин отколочил значок, повертел его и швырнул на дорогу. Эберт неодобрительно покачал головой.

– У вас тоже были значки. Люди не хотят иметь плохое прошлое, они придумывают... гербы...

– Я не осуждаю. Но, знаешь, вспомнилось. Сам не ожидал. Молодым проще.

– А твоему зятю?

Шагин удивленно посмотрел на него, промолчал.

– Ты полковник, ты сам не убивал, ты командовал. А я чувствовал свою пулю, куда летит. Сколько я убил. Гордился.

Вечером они пошли гулять, свернули на боковую улочку, огороженную от машин, шли вдоль кустов белой сирени, за сеткой заборов, на крохотных лужайках крутились поливалки. Свет горел в окнах, мерцали экраны телевизоров. Теплый воскресный день заканчивался покоем, тишиной.

Шагин привык к неторопливости Эберта, негромкому его голосу. С ним приятно было помолчать. Во время молчания между ними продолжало что-то происходить. Идти бы так, идти этим цветущим коридором, никуда не торопясь, ни о чем не думая, давно ему не было так спокойно.

– Пора мне уезжать, – сказал Шагин.

– Куда ты торопишься?

– Дела.

– Мог бы пожить еще. Погода хорошая.

– Спасибо. Мне понравилось у тебя.

– Подумай.

– Думай не думай – другого конца не выдумать.

– Осенью я собираюсь в Новгород, в Руссу. Может, поедешь со мной?

– Нет.

– Почему?

– Не хочу рушить то, что помню.

– Понимаю.

Помолчали. Потом Эберт сказал:

– Я думал, мы еще побудем.

В его голосе Шагин услышал знакомую тоску.

Было жаль Эберта, жаль себя. Что-то открылось Шагину, слишком поздно открылось, был ли в этом какой-то смысл, он не знал.

Елена Ржевская

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

Рассказ

1

Анциферову я увидела, возвращаясь от топографов с новыми картами. Она шла, глядя себе под ноги, кутаясь в серый платок. Чуть отставая от нее, плелись женщины – враждебный эскорт. Она поднялась на крыльцо и, не обернувшись, скрылась в сенях – только взвизгнула подскокившая и тут же упавшая щеколда.

Провожающие стали неподалеку от дома, и одна из них, долговязая, в немецких сапогах с короткими голенищами, погрозила на дверь:

– Покаталась на рысаках, попила кровушки нашей – и хватит!

Я тоже поднялась на крыльцо и вместе с замешкавшейся в сенях женщиной вошла в дом и слышала, как она спросила с порога, ни к кому не обращаясь:

– Велели прийти сюда?

– Садитесь, Анциферова, – сказал майор Курашов. Она села и слегка спустила с плеч платок.

– Вы когда перешли линию фронта?

Она сидела очень прямо, очень женственно, придерживая на груди охватывающий ее по спине платок, и смотрела поверх головы майора, не отвечая.

– Пришла чего? – спросил капитан Гольшко.

– Детей поглядеть.

– Поглядела?

Новые карты я сложила стопкой на лавке. В этих картах – наша надежда на продвижение: новые названия, новые высоты и болота. Я застучала на машинке. Мне нужно было перевести приказ противни-

ка о запрещении местным жителям появляться на улице К. Маркса и прилегающих к ней кварталах. На основании таких данных капитан Голышко строит догадки о характере немецкой обороны в этом районе Ржева.

Остановливаясь, я слышу голос Курашова:

– Как же так с ним получилось, Анциферова? С вашим мужем?

Она смотрит в окно и мнет концы платка. – Его обязали... По его специальности...

– По специальности он – изменник родины, – вмешивается Голышко. – Он ведь в Ржевской управе служит, начальником транспортного отдела?

Она молча кивает, по-прежнему глядя в окно.

– Как же он отпустил тебя? – спрашивает Голышко.

– Не отпускал. Сама.

– Что-то не верится. И смотрите – цела-целехонька, фрицы ее не прихлопнули.

Она молчит – не подступишься.

– Не побоялась, значит, ни немцев, ни нас.

– Дети ж мои тут, у моей матери в деревне. Еще в марте их у немца отбили... Где мои дети, там и я должна быть...

– До войны он привлекался? – спрашивает ее Голышко. Он ясен и строг и не верит ей, считает – она прислана немцами.

– Надо будет вам обратно идти, – вдруг говорит молчавший майор Курашов. – Непонятно разве?

Она, глубоко вздохнув, кутается в платок и встает.

* * *

– Хоть бы вы, товарищ командир, арестовали ее хорошенько! – весело говорит Голышко толстогубая девка из группы поджидавших у крыльца.

Анциферова в сером платке на плечах, в черных полуботинках на венском каблуке уходит домой в деревню Виданы.

– Вам что, легче б с этого стало?

– А то, что ж, – утвердительно быстро произносит толстогубая, косясь куда-то в сторону через плечо себе.

Голышко разъясняет, хотя и сам он сомневается, так ли это: Ан-

циферова, мол, за мужа не в ответе. Долговязая женщина в немецких сапогах, слушая его, кивает.

– Правильно! Пра-ильно, – на разные лады подтверждает она недоверчиво.

2

Деревня, в которой мы стоим, отбита у немцев еще зимой, в марте. Уцелело в ней не больше трети изб. Это все, что удалось спасти от пожара. Живет здесь полуколхозный-полугородской люд – до войны почти в каждой семье кто-нибудь работал в Ржеве. Теперь в уцелевших домах и банях настилают солому на пол. Спят вповалку. Тут же возле себя держат мешки с зерном, узлы с барахлишком.

Хозяин дома, где я ночую, старик Петр Тихонович недоволен:

– Набились. Как вши на гашнике.

Его жена, Анна Прохоровна, относится к своим погорельцам куда терпеливее:

– Что ж теперь делать. Надо какой-никакой выход находить.

К ее обычным заботам на огороде и по дому прибавились новые, и в этой теснотище ей надо приноровиться, чтоб еще и людям помочь: то картошки наварить, то одежонку, полусгнившую в ямах, перетряхнуть и обсушить.

– Ето сделаешь и ето, – объясняет она мне, – и все дела!

Прошлым летом, когда началась война, старика ее забирали на оборонные работы под Смоленск.

– Мы копали окопы, а самолеты его тут безобразничать стали очень, – рассказывал он. – Наши отступали, дошли до нас. «Как вы безоружные, беззащитные, идите домой». Тут такая погода пошла, самолетам нельзя было распространиться... И нашим полегше стало отступать.

Он уже два раза рассказывал мне это. И оба раза присутствовавшая тут же Анна Прохоровна стояла неподвижно, сложив на животе руки, и взгляд ее, обычно легкий, заволакивало угрюмой тоской.

Старик доходил до этого места и – стоп. Тут и весь рассказ его.

Но о том, как отпустили с оборонных работ людей по домам, он знал с чьих-то слов. Его же самого, еще перед тем, как самолеты не

смогли больше «распространиться», жажнуло взрывной волной, и он очутился в госпитале.

Эвакуироваться с госпиталем он отказался и ушел домой недолеженный, когда немцы уже были в его деревне. Правая рука его повисла плетью.

Обо всем этом он рассказывал немногословно и охотно, но это был другой, самостоятельный рассказ, вроде бы не связанный с первым и напрашивающийся на особый вывод.

Выходило, что он как бы побывал на фронте, хотя ему это и не предназначено по возрасту, и стал в один ряд с теми, кого война калечит в огне.

– Раскололась посуда, не склеишь, – говорит Анна Прохоровна. Относится ли это к его инвалидности или к их жизни – одно и то же.

Он был плотник, нанимался строить избы, доставлял в семью копейку. Она работала в колхозе и дома. То, что было издавна заведено у них, теперь нарушено навсегда. А другого уклада они не знали и заново ничего построить не могли. Вряд ли они так это сами себе объясняли. Но так это было. И жили они сейчас разрозненно, каждый сам по себе, и поругивались.

Надеяться, что после войны все опять пойдет на лад, теперь не приходилось, прежняя жизнь их осталась за той, прошлогодней чертой.

Вчера вдруг она похвалила мне мужа. Умный он был. И жалел ее.

– Желанный такой, всем желанный был, – сказала она о нем вроде как не о живом. – Дети у нас не жили, так что мы все одне и одне.

У кого-то там и пьянка, и драка, а у них – нет.

– А пьяный он еще лучшее. Трезвый иногда разволнуется. А пьяный – ему все хорошо. Скажет: «Нас только три зернышка». Это он, я и его мать.

Она раскраснелась, оживилась. Я сказала, что она, видно, была красивая. Она согласилась.

– У меня душа хорошая.

Но тут как раз он и появился, Петр Тихонович.

– Задымил, бездельяй, – строго сказала ему Анна Прохоровна.

К тому урону, какой наносит ее хозяйству племя погорельцев,

Анна Прохоровна не присматривается. Война ведь кругом. А вот за Анциферовой, живущей в соседней деревне, издали поглядывает.

– Я намердись сено шевелю, а она на крыльчке лежит...

Как берегут-то себя. Двое детей, все дела не сделаны. А она – наплевать.

В четырех километрах от передовой, почти что под носом у немцев идет жизнь.

3

Привели немца – молодого, кудлатого, без пилотки, в растерзанном кителе. Разведчики пошли в дом к майору Курашову, а его оставили на попечение часового, тощего, большеногого малого, прозванного Гоголь.

Немец сидел на крыльце, зажмурившись на солнечном припеке. Часовой с автоматом ходил туда-сюда мимо крыльца, остановился возле немца.

– Ты что, спать сюда прибыл? – И ахнул. – Что делается! Вши на нем!

Уже собралось несколько человек, хмуρο уставились на немца. Что делается! Средь бела дня по плечам, по вороту немца ползают вши. Не в диковинку, а все же на немце лестно увидеть ее и жутко: до такого никто себя не доводил.

Вшивый фриц, взъерошенный, грязный, в смешных сапогах с короткими голенищами, какие у нас в хорошее время никто и надеть не согласился бы.

Моя хозяйка Анна Прохоровна тоже тут, она в чистом головном платке, сложив на животе руки, смотрит на немца тихо, без жалости.

– Лоп-лоп-лоп. Залопотал! – передразнивает его.

– Может, что сказать ему надо. Без языка ведь. Веди ж его! – понукал меня Петр Тихонович.

Вокруг загудели. Такого пусти в дом – как же. Вшей распустит, только держись.

– Садитесь, – говорю немцу.

Он опять садится. И я сажусь на ступеньки крыльца. Кто такой, откуда родом, давно ли воюет.

Люди, помешкав, деликатно расходятся. Остаются только Анна Прохоровна и Петр Тихонович – на правах моих личных знакомых.

Немец этот на войне с самого начала «кампании». Был в Польше. Потом – поход на Запад.

– В Париж мы прибыли восьмого августа сорокового года. С Францией уже было покончено, и мы несли постовую службу у морского министерства, там размещались наши генералы.

– Хороший город Париж? – вдруг глупо так спрашиваю.

– О, прима штатт, вундербар штатт!

Анна Прохоровна и Петр Тихонович терпеливо смотрят на нас.

Разруха, муки, смерть и бессилие – все воплощено сейчас в этом немце. Чудно! И никак не вяжется. Такому ведь дать хорошенько – от него мокрое место останется.

Молчим. Немец дергает вверх рукав кителя, обнажается темная от грязи рука с белой браслеткой – след от часов. Он тычет пальцем в эту браслетку, машет рукой в сторону передовой – сняли с него в русской траншее.

Анна Прохоровна говорит тихо, возмущенно:

– О часах, господин какой, заскучал. Паразит бессовестный!

4

– Здравствуйте!

Анциферова. Другая совсем, чем в прошлый раз, какая-то пестрая. В блестящих черных резиновых ботах-сапожках до самых колен – предмет фатовства здешних довоенных модниц. В берете. Платье клеш в ярких разводах. Жакетка перекинута через руку.

Майор вскочил, поздоровался, задвигал стулом, предлагая Анциферовой присесть.

– Не стоит беспокоиться. Я постою. – И быстро покосилась в мою сторону.

Майор поискал кисет, а сворачивать папиросу не стал и вдруг резко так спрашивает:

– Надумали?

Она, улыбаясь, смотрит с вызовом ему в лицо.

– Так ведь схватят же меня. – И, стараясь не замечать тут третьего

человека, выходит на середину избы, улыбаясь майору. В немигающих глазах затаенный вопрос: неужели не нравлюсь?

Майор вспыхивает, как девушка. А я готова провалиться под пол, чтобы не наблюдать тут за ними.

Гулко бьют орудия на передовой, подрагивают оконные стекла. Майор рассеянно тренькает пальцами по пуговицам гимнастерки, зажимает в кулак португепю и, наклонив голову, строго, испытующе смотрит мимо Анциферовой в стену.

– Надеюсь, вы ни с кем не делились. Это в ваших же интересах. Тут надо отчет себе крепко отдавать.

Анциферова, слушая, медленно меняется в лице.

– А если не пойду? – тихо, вроде пробно спрашивает, и губы у нее дрожат, сияясь сложиться в улыбку.

– Нет у вас другого выхода, Анциферова.

От его слов, глухо, доверительно произнесенных, мороз по коже дерет. А она поняла ли? Ведь ее, как жену изменника родины, перешедшую при неясных обстоятельствах линию фронта, арестуют. Жила с мужем почти всегда врозь: он в городе, она у матери в деревне, а теперь вот – накрепко одной веревочкой оказались связаны.

Мой хозяин Петр Тихонович говорит об Анциферовой одобрительно:

– Подобута, пододета. Идет всегда, можно сказать, со звоном.

Но остальные дружно осуждают ее. Это ведется еще с прошлых лет. О муже ее, хотя в деревне и ходят разные слухи, но дело все же не только в нем. Тем более что он сам от нее натерпелся. Насолила она своим деревенским тем, что, выйдя замуж в город за инженера, она большей частью жила по-прежнему у матери беззаботно и бездельно – на мужнины деньги, а к ее дому подкатывала время от времени легковая машина, было заметно: какие-то кавалеры пьют, гуляют. Словом, оставаясь в деревне, она была «городской» в худшем смысле этого слова. Ее в глаза корили, ей окна побить хотели. А ей хоть бы что.

Ну, что было, то было, а теперь ей осталось одно – идти через линию фронта.

– Ваш муж еще может искупить свою вину. Это во многом зависит от вас. Я надеюсь, вы советский человек, – убежденно говорит майор.

Как напутствует майор разведчиков – это я видела, а вот жену из-

менника родины, которая к тому же нравится ему, – такого видеть не приходилось.

– За себя я не боюсь. Наплевать.

– Тогда что же?

Она держится рукой за спинку стула; потухшее, отчужденное у нее лицо.

– Ребят жалко.

Молча, отрешенно, опять как в тот раз, смотрит перед собой Анциферова.

– Ладно, – вдруг просто говорит она. – Раз нельзя по-другому, пусть так.

Майор насупленно роется в кисете.

– Отдыхайте пока. Пришлем за вами. Когда обстановка позволит вам идти, тогда обо всем и потолкуем. Хлеб дома есть?

Она уходит, пожав ему руку.

Майор упирается лбом в подрагивающее оконное стекло, смотрит, как удаляется по улице Анциферова в черных резиновых ботах, с жакеткой через руку.

Своей властью майор Курашов не имеет права посылать Анциферову в тыл противника. Надо иметь на это разрешение штаба фронта. Но он азартный, рискованный человек и не станет разводить канитель, испрашивать разрешения, томиться в неизвестности в ожидании ответа – топить дело. Возьмет и пошлет.

5

В последние дни до того подчистили в штабе – отправили на передовую еще человек сто, – что ни охранять немца, ни конвоировать его в тыл некому. Ожидаются бои, подвалит пленных, тогда и отправят – не снаряжать же конвой для одного. Так что немец пока тут, в деревне.

Его поместили в полуразрушенный амбар, уплотнив семью погорельцев. Возле амбара стоят заржавелые весы. Сидя на них, подставляя лицо солнцу, проводит свой день в плену немец под присмотром часового. Тот охраняет его по совместительству, основной объект часового – штабная изба.

Иногда немец пытается вступить с ним в переговоры, лопочет что-то, машет вдаль рукой. Безнадежно.

– Отвоевался, сучий сын. Загораешь, – говорит часовой.

На том разговор иссякает.

Если на крыльце появляется кто-либо из командиров, немец вскакивает, щелкает каблуками. На этот счет он аккуратен.

Другого «языка» нет сейчас во всей армии, и немец нарасхват. Его забирают на допрос в отдел связи, к командующему артиллерией и даже к химикам, хотя толк от него невелик – немец явно не сенсационный.

Он торопливо шагает впереди красноармейца, оборванный, кудлатый, чужой; на весах у амбара пусто и чего-то вроде бы не хватает.

В этой двухслойной деревне – войско и жители – появился в его лице третий слой, ни с чем не смешивающийся.

Здесь жители немцев повидали, но в другом качестве. Побежденного – впервые. Если немец на месте, а часовой сговорчив и поблизости нет начальства, можно подойти к амбару. Немец пообвык, и разглядывание переносит беспечно. Эти бабы в платках, эти бороды уже знакомы ему.

Умен ли немец, глуп ли, зачем явился, много ли ему Гитлер посулил – ни черта не выведаешь.

Но попросить – и фриц покладисто отворачивает широкое голенище, показывает ногу в шерстяном носке. И это среди лета, чтоб не сбить, значит, ног, по-ихнему! Ну и ну!

Немец без портянок – в шерстяных носках, он сперва свою пайку хлеба сжует, а потом, смотреть тошно, суп хлебает.

Но он не угрюм. И стоило ему одну ночь переночевать в деревне, его простодушие примиряет с ним. Сидит, как кудлатый щенок на цепи. И связной майора Лепехин собирает кой-чего ему.

– Надо Карлу покормить.

Вот только Анна Прохоровна, проходя мимо амбара, приостановится, вздохнет:

– Жизнь бог дает, а такой вот отымают.

6

На правом фланге армии, возле деревни Подборовье и у Велюбино, строят ложные переправы на Волге. Тюкают топоры, визжат

пилы. Артиллеристы перетаскивают орудия. Постреливают. Нужно, чтобы немцы поверили: наступать готовятся на правом фланге.

Под вечер с левого фланга на правый движутся танки, а под покровом ночи возвращаются назад.

Сегодня начальник штаба вызвал капитана Гольшко, приказал ему отправиться на бронепоезд. Задача бронепоезда – внезапно ворваться в Ржев, создать видимость прорыва на правом фланге.

Через час Гольшко выходит, он спит пока.

Я сижу на крыльце у Анны Прохоровны, сочиняю обращение: «Немецкие солдаты в Ржеве! Пока не поздно, опомнитесь...»

Пахнет сеном. Анна Прохоровна разостлала его у порога, сушит.

В небе ровный, увесистый гул – торчит «фокке-вульф», предвестник бомбежки.

Анна Прохоровна запрокидывает голову, долго изучает небо.

– Дождь, наверно, спуститься хочет, – заключает она и принимается охапками перетаскивать сено во двор. Наблюдать за ней сущее удовольствие: каждое ее движение целесообразно и сама она подбрана, нетороплива, точно хранит внутри себя что-то важное, важнее этой работы, а уж войны и подавно.

Петра Тихоновича нет с самого утра – отправился на переосвидетельствование. Теперь ведь приказ – регистрироваться всем мужчинам до шестидесяти лет.

В такой долгой разлуке им теперь редко случается бывать, и Анну Прохоровну тянет припомнить о нем что-то важное. Петр Тихонович, оказывается, когда лет пять назад она взяла к себе больную мать, ни разу не попрекнул ее.

– А старые люди – они ведь как надоедают, – объясняет она, разогнувшись.

Я иду через улицу под мерзким, нависающим гулом «фокке-вульфа» к дому с синими наличниками.

Гольшко проснулся. Он в майке, сидит, держа на коленях гимнастерку, и пришивает чистый подворотничок. Лепехин тяжело сопит над вещевым мешком – отыскивает в своем запаснике что-то заветное. Подает капитану кусочек мыла. Гольшко проверяет карты в планшете. На минуту садимся. Потом Гольшко порывисто обнимается с майором Курашовым.

– Доброго здоровьица вам, товарищ капитан! – озабоченно говорит Лепехин.

– Ну, не пасуйте тут без меня! – нахально говорит Гольшко.

И все довольны, вроде нахальство – надежный залог его возвращения. Такой парень все выдюжит. В случае чего его бронепоезд, если не по рельсам, так целиной назад отойдет.

Накинув на одно плечо плащ-палатку, он идет по улице размашисто, твердо, не оборачиваясь на нас с Лепехиным.

Нам видны его сдвинутая косо фуражка и темноволосый затылок под околышем.

Вокруг нас хмуро и тихо – «фокке-вульф» улетел.

Гольшко уже вышел за деревню, идет под зачистившим дождем и наверняка насвистывает. Он привык искушать свою судьбу.

Дождь сечет мелкий и частый. На всю бы ночь так.

Анна Прохоровна стоит на крыльце, ждет Петра Тихоновича.

– Все листики обмывает. Прямо как по заказу, – сообщает она мне.

Петр Тихонович явился поздно, вымокший до нитки, и веселый. Где, с кем набрался – дело темное.

Мы уже улеглись кто где. Я на лавках в красном углу, под закопченной божницей. С появлением Петра Тихоновича все пришло в движение. Хозяин веселый – постояльцам отрада.

– Поскачь, Тихоныч!

Он хлопает ладонью о колено, вроде бы собираясь плясать, но раздумывает.

– Вы мне тут всю танцплощадку завалили. Хвоста протянуть негде.

На топчане в углу смелее захныкал ребенок, и мать шикнула на него. Две бабы, из погорельцев, давно переругивавшиеся шепотом из-за мешков с зерном, что сгрудились так, что не поймешь, где чей, теперь без стеснения, громко продолжали свой спор.

Пьян, пьян, а их-то Петр Тихонович ядовито так поправил:

– Что, покусаются мешки? Межа нарушилась!

Тотчас заколыхалась на печи занавеска, высунулась Анна Прохоровна и нараспев:

– Смотрите-ка! Забота его не съела.

Бабы подсмеиваются: после войны Петра Тихоновича, мол, долж-

ны произвести над ними в начальники – однурукий ведь, для работы не годится. А та, что кормила грудью ребенка, громко зевая, подзадоривала: если б он воевал, быть бы ему теперь уже майором или генералом каким-нибудь.

– Он бы воевал, – сказала с печи Анна Прохоровна, – только вот свое воевало потерял.

Петр Тихонович задул коптилку и полез на печь.

Спят люди. Темно и тихо, воздух в избе тяжелый – сырость амбарная и духота скученности и немьтого тряпья.

Кто-то проснется, охнет, помянет бога, а прислушавшись к дождю, опять заснет, успокоенный.

Дождь хлещет. Раньше сказали бы: не ко времени – хлеб в поле не убран. Теперь же у него служба другая. Льет он – значит, людям выдалась спокойная ночь, не наведет «фокке-вульф» бомбардировщиков. Может быть, и бронепоезд в такой дождь сумеет отойти назад.

7

За обуглившимися деревьями, за землей, вспаханной снарядами, – Ржев. Вот он – рукой подать.

Только это когда-то такое было – город Ржев, летний сад над Волгой, духовой оркестр, цветные фонарики, памятник революционеру Грацинскому. Были театр, восемь техникумов, институт. Пахло печеным хлебом, антоновкой, человечьим жильем.

Да было ли такое? Десять месяцев город у немцев. Бессменная виселица возле Грацинского. Немцы вламываются в дома, рвут изо рта последний кусок. Голод. Люди едят толченые листья акации, варят суп из старых кожаных ремней. Где была столовая – немецкая комендатура, где склады заготзерно – лагерь военнопленных.

Страшно.

А спасение – рядом, вот оно, пробилось к окраинам. Идет бой. Сбрасывают на город бомбы, бьют снарядами: метят в немцев, отскакивает и в своих. Все перемешалось.

Ни жить, ни умереть – сгинуть.

До войны жившие здесь в деревнях люди ходили ежедневно на работу в город. Километра четыре всего.

Этот же путь наши войска шли месяцы в крестных муках.

Когда-то был Ржев. Теперь – укрепленный врагом пункт, «неприступная линия фюрера», плацдарм, с которого немцы еще раз намереваются двинуть на Москву.

От нашего переднего края до Ржева остались метры. Немец не сдаст, и мы не отступимся. Будет ли конец бою?

* * *

– Проводите Анциферову, – сказал мне майор Курашов. – У ручья подождите меня.

Анциферова стоит наготове с котомкой в руках. Мы вышли с ней на крыльцо. Смеркалось, тишина, розоватое поле заката.

Кто-то отделился от амбара. Немец Карл.

– Гуте нахт,¹ фрейлейн! – тихо, по-домашнему сказал он, когда мы проходили мимо.

Кончилась деревня. Мы шли по кочковатому, неспаханному полю, поросшему травой. Выбрались на тропинку. Рукав моей гимнастерки терся о рукав Анциферовой, а туго набитый карман ее жакета задевал меня по боку. Мы шли степенно, безмолвно, упорно, как на богомолье.

Где-то сбоку от нас на дороге продвигалась, должно быть, артиллерийская часть – лязгали тягачи. Справа, над лесом в сизом неподвижном небе тревожно разорвалась немецкая ракета. Слева на светлом, подсвеченном розовыми бликами небосклоне зажглась звезда. В той стороне – тоже немцы. Над полем тек туман, похожий на дымок от артиллерийского залпа.

Уже было топко под ногами и заметно свежо, остервенело квакали лягушки – мы спустились к ручью.

Заговорить сама я не решалась, и мне было тягостно, что Анциферова ни о чем не спросит, почему мы остановились, чего ждем. Я украдкой смотрела на ее белое лицо. Она, казалось, отрешена от прошлого и будущего, от своих детей и от немцев – какая-то бесплотная. Но когда на рассвете она пойдет с котомкой за плечами на немецкие пулеметы, выхватив из кармана жакета белый платок, – ей будет

¹ Доброй ночи (нем.).

страшно, потому что тело ее из таких же несчастных молекул, как и мое.

«Кто такая? Почему перешла?» Она все выучила, как полагается разведчику, отрепетировала с майором Курашовым все вопросы и свои ответы. Игра, честное слово, захватывающая, оголтелая. И словно бы уговорились с партнерами соблюдать условия игры. И по этому, значит, уговору спасшюся от преследования русских доставят к ее мужу. А дальше ей велено убедить своего мужа Антона Сергеевича Анциферова, ответственного работника Ржевской управы, искупить свою вину – известить наш штаб, какие улицы в городе заминировали немцы.

Подошел майор Курашов, потрогал сапогом переброшенные через ручей слуги.

– Пошли!

Анциферова встрепенулась, подала ему руку, чтоб он помог ей перейти через ручей, так женственно, так покорно, что я вдруг почувствовала: она погибнет.

За лесом у немцев вспыхивали, как зарницы, ракеты. Вода в ручье улавливала их свет. Странно. Эта же вода, попетляв тут у края поля, через сколько-то минут добредет к немцам.

Возле амбара на весах уже никого не было. Сменился часовой. В кухне мелькал свет – это дергался огонек коптилки. Лепехин проснулся и поставил на стол котелок с холодной кашей и кусок хлеба:

– Ужинайте, товарищ лейтенант! – вытянул из-за голенища ложку, обтер ее тряпкой и протянул мне.

Пока я ела, он маялся, борясь с дремотой, поправлял фитиль коптилки, чесал спину, примащивал на кулаках большое пористое лицо и вдруг заговорил сипло:

– Сумела прийти – сумей и назад воротиться!

8

Явился Гольшко с бронепоезда. Забинтованный лоб, лицо серое. В армейский госпиталь ехать не соглашается, говорит: слегка царапнуло. Вообще от наших расспросов отмахивается, шутит, а глаза совсем переменились – тусклые, отчужденные. Видно, не пришел еще в себя.

О бронепоезде в штабе известно: он дерзко ворвался на станцию Ржев I, навел панику. Никто почти не уцелел на нем.

Гольшко день маялся, а вечером закатился куда-то гулять. Майор немного смущен его своеволием, но старается как бы не замечать этого.

Под утро из поиска разведчики опять вернулись без «языка». Командарм негодует.

Днем такая тишина по всему фронту, что все ждут: что-то начнется. Отряд дивизионных разведчиков получил задание – при свете дня взять во что бы то ни стало «языка».

– Воздух! – огорченно сказал нам в открытое окно часовой по прозвищу Гоголь.

Уже был слышен прерывистый гул подхлывшего «мессера».

Мне надо было идти. Майор направил меня на НП дивизии, чтобы на месте допросить «языка», как только явятся из поиска разведчики.

– Опять воздух! – огорченно сказал появившийся в окне часовой.

Я вышла на крыльцо. Было видно, как снизившийся над большим «мессер» безнаказанно строчил из пулемета.

– Вот гад, у фрица отдельный кабинет, – сказал Гоголь. Это он о Карле.

На днях, когда по приказу начальника штаба рыли щель для часового, кинули лопату Карлу – рой себе, не жалко. И теперь он торчал оттуда, из своей персональной щели, высунув куцлатую голову.

Пока я дошла до березовой рощи, где был НП, заухали разрывы на правом фланге. Немцы начали садить из тяжелых орудий.

Почти до самого вечера я дожидалась разведчиков. Удачи им не было и на этот раз. В немецкую траншею они ворвались, но были встречены в упор огнем и отошли, захватив документы убитого фельдфебеля.

Среди документов – приказ по войскам: «Солдаты: заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения».

* * *

Когда я возвратилась в нашу деревню, стояли уже сумерки, кошки рыскали на пепелищах у обугленных печей. Немец Карл ел из котелка свой ужин, сидя на весах у амбара.

Я переступила порог избы и сразу почувствовала: что-то произошло.

– Вы где ходите? – резко спросил майор Курашов.

Его непривычный нервный тон, вещмешки и шинели, сваленные посреди избы, свернутые в плащ-палатку постели, груда бумаг на шестке подтверждали первое ощущение.

– Вы же сами меня послали. Я доложила о разведчиках.

Майор слушал и крутил ручку телефона, но в трубке никто не отзывался. Я спросила:

– Мне что, собраться?

– Пока куда не ходите. Не надо общаться с гражданскими.

Я села на край лавки, чувствуя себя почти что под арестом. Донесся стук копыт по деревенской улице, мы напряженно прислушались. Кто-то подъехал к крыльцу, спешился. Вошел Гольшко.

– Пожевать бы что-нибудь, – громко с порога объявил он.

Никто не отозвался.

– Танки немецкие в Корюшках, – сказал Курашов. Гольшко оглядел избу, оценил обстановку.

– Лихо воюем! – он где-то хватил, и его подмывало.

– Проверь, сколько у тебя патронов, – сухо сказал майор.

– Ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой. По патрону на каждого. Хватит?

Он лег на топчан, расстегнул ворот гимнастерки и ремень.

– Горю! Как швед под Полтавой!

Выходило с его слов, что именно в Корюшках, где уже немцы, у него назначено сегодня ночное свидание. Но никогда нельзя было понять, где у Гольшко правда, а где «охотничьи рассказы», тем более что сейчас было решительно не до них. Молча ждали приказа уходить.

Наконец зазвонил телефон. Гольшко сел на топчане. Майор Курашов поспешно снял трубку. Разговор был минутный.

– Ну, все! – сказал майор. – Все, что ли? – и спохватился с досадой: – Немец же еще вот...

Он пошел отдавать последние распоряжения. Гольшко отсоединил телефон и теперь жег на шестке бумаги.

– Бегом за вещами, – сказал он. – И потактичней там. Не сей панику среди гражданских.

Я выбежала из избы. Горела соседняя деревня километрах в двух отсюда, пылали дома. Лепехин и немец Карл шли куда-то по улице.

Я надеялась, у нас в избе давно все спят, я возьму вещмешок и одеяло, прокрадусь на печку к Анне Прохоровне и попрощаюсь с ней.

Но хозяева и постояльцы толпились на крыльце, глядели на полыхавший пожар, прислушивались к тому, что делалось у нас тут, в деревне: вот выводили с усадьбы полуторку.

Я прошла в дом, как сквозь строй, все молча чего-то ждали от меня. Анна Прохоровна потянулась следом за мной, зажгла коптилку.

– Намаешься ты теперь, – сурово сказала она.

Я торопилась, затягивала вещмешок. Она завернула лепешки в тряпицу и отдала их мне. При свете коптилки заострившееся, бесстрастное лицо ее было как у святых на старых иконах. Мы обнялись, Анна Прохоровна вздохнула со всхлипом и сильно дунула на коптилку.

Работал мотор полуторки. Я стояла у дрожащего кузова в ожидании распоряжения майора. Уже были погружены несгораемый ящик и вещмешки. Мы чего-то ждали. И тут я услышала то, что витало в воздухе, но еще не было произнесено. Это прошло по цепочке от майора Курашова к Гольшко и замкнулось на мне:

– Не исключено, что мы окружены.

Пост у избы был снят. Гоголь сидел верхом на нашей единственной лошади: ему было приказано спасти ее от немцев.

Дрожал кузов готовой ринуться полуторки. Гольшко курил, пряча в кулак сигарку. Под околышем его фуражки белела полоса бинта. Вокруг тишина – ни выстрела. И от этого совсем жутко. Казалось, подкрадываются в этой тишине немцы, окружают деревню.

Пожар разгорался в небе, и отсвет его блуждал по лицам моих хозяев и их постояльцев.

Это были последние минуты. Мы перевалим в кузов, ринемся пробиваться из окружения. А эти бесколесые, безоружные люди, само собой, останутся тут. Тут были погорельцы: женщина с ребенком и

бабы, не поделившие мешки с зерном, Петр Тихонович и Анна Прохорова с привычно сложенными на животе руками. Они смотрели на наши сборы без осуждения. На их сосредоточенных лицах была война.

Ударил винтовочный выстрел. Он раздался где-то совсем рядом, на краю деревни. Звякнули затворы, мы застыли, вперившись в тишину.

– Полежайте! – спокойно сказал майор Курашов и рванул на себя дверцу кабинки.

Лепехин возвращался один. Зарево светило ему в спину, и лицо его было черным. Он шел с той стороны, откуда раздался выстрел, трехлинейка висела у него на плече.

9

Было тряско в кузове и жутко от грохота нашей полуторки, от блуждания впотьмах. Это длилось долго, и мы все еще не могли решить, где свои, где противник. Потом темнота растеклась, отодвинулась в чащу. Все стало белесым – мелькавшие деревья, небо над нами и сидевший напротив меня Лепехин. В лицо его я не смотрела. Он держал в коленях винтовку, короткие, расплюснутые пальцы его стискивали ствол.

Все вокруг было призрачное, ненастоящее, точно мы уже умерли. Только тревога перехватывала горло, как у живых.

Потом грузовик стал. Крутили ручку, раскачивали машину, толкали в задний борт. Но мотор не завелся.

Майор Курашов поколдовал над картой и повел нас; на груди у него висел трофейный автомат.

Стараясь не шуметь, и больше всех шумя, шагал Лепехин с винтовкой в руке и телефонным аппаратом под мышкой.

Немецкий маузер в деревянной полированной кобуре, о котором раньше я могла только мечтать, теперь был отдан мне и лупил меня по боку. Я старалась не отставать от Гольшко. Он шел с наганом в руке и тащил несгораемый ящик. Никто не знал, как надо поступить с ним в таком положении, как наше. Сжечь его содержимое? Но если мы выберемся – нам не поздоровится. Какова мера опасности, чтобы так поступать, и кто измерит ее, если мы уцелеем?

Мы шли заболоченным лесом, по голенища утопая в мокрой траве.

Вошли в деревню Белевку с того края, где вчера еще работала немецкая прессовальная машина. В колхозном сарае и возле него громоздились плиты соломы, приготовленной к отправке в Германию.

Где-то там за нами, где мы уже прошли, замкнулось кольцо окружения. А пока они нас окружали, левый сосед наш, воспользовавшись заварушкой, потеснил немцев из Белевки и еще из нескольких деревень. Превратности позиционной войны.

Мы шли вдоль уцелевшего ряда изб. Не гавкнет собака. Не вскинется петух. Все вымерло.

Нам открыла женщина. Секунду постояла в полутемных сенях и поспешно вошла в дом.

– Тёща! – осипше сказал Гольшко, волоча за ней несгораемый ящик; половицы под его сапогами оседали и чавкали. – Что-то немецким духом воняет у тебя тут.

В избе на полу стояла коптилка, возле нее в углу что-то копошилось. А дрожащая тень от крохотного пламени коптилки вымахивала во всю черную бревенчатую стену.

На лавке у стены зашевелился хозяйский сынишка, спросонья настойчиво спросил:

– Это хто там, рус или фриц?

Гольшко сорвал с окна тряпье. Серенький свет упал к нам сюда. Молча стягивали мы со спин вещмешки.

– Кончай молиться! – сказал Гольшко хозяйке. – Воды нам требуется. Посвежее.

Хозяйка, сидевшая на корточках возле коптилки, обернулась к нам:

– Мне не отойти. Свинья опоросилась.

– С прибылью! – громко сказал майор Курашов, еще не остывший от азарта, от удачливости – ведь это он вывел нас из окружения, – шумно зачерпнул ковшиком в ведре, напился и подошел взглянуть на поросят.

Мы тоже напились, скрутили сигарки.

Я сидела на лавке, скулы у меня свело от напряжения и усталости. Я смотрела, как женщина гладит распластанную на боку свинью, подкладывает ей сосунков, успокаивает и гладит, гладит...

Лепехин тоже присел на корточки возле опоросившейся свиньи, покачивал сосредоточенно головой, сопел, чмокал, подсоблял хозяйке. Коптилка снизу светила в его рыхловатое, добродушное лицо...

Гольшко растянулся на лавке, поправил повязку на лбу, наган сунул под щеку:

– Война-матушка... Перекур, что ли?

1962 г.

Владимир Корнилов

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

Главы из повести

Кирки, лома и два метра

Шанцевый инструмент привезли перед самым рассветом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поеживаясь, вылез на подножку первой полуторки.

– Скидовой! – махнул он красноармейцам, сторбившимся в кузовах машин. – Отыми борта!

И тут из бараков посыпались женщины.

– Айда, девчонки! – орала на бегу. – Ломы! Ломы одни останутся.

– Давай, куры! Лопат не хватит!

– Кончай ночевать! Кирки и тяжелые!

Полуторки враз облепили, как автолавки с мануфактурой.

«Вот те на!» – подумал военный. За ночь он продрог, и простреленное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Эту ночь он не прилег, а ездить ему – конца не видно.

– Женщины! – пробовал он перекричать толпу. – Женщины, подвиньтесь струмент скинуть!

Но голос пропадал в реве, в гоготе, в этом «айда», «валяй», «о-гой» кричавших женщин, для которых он никакое ни начальство, ни полначальства, – и военный, давясь от стыда и ярости, полез на крышу кабины.

– А ну – цыц! Соблюдай сознательность! Раз-зой-дись! – гаркнул оттуда, но станционный двор гудел, как лет тридцать назад во время забастовки. И женщины все сыпались из бараков, гулко, как картошка из бункера.

Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она отправляла завербованных по найму и набранных другим путем на разные, все больше северные и сибирские стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженая ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, ее забили, лежа вповал, мобилизованные на окопы.

– Лопаты... Лопаты привезли! – разнеслось по бараку, где спала Ганя.

Тотчас захлопали двери. По доскам пола застучали башмаки, зашлепали ботинки и галоши. Из щелястых окон потянуло нешуточным ветром, и Ганя проснулась.

– Да ну их, поспим лучше, – ворчали иные женщины, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. Тоже добро – лопаты!

– Лежи, тетка, – промычала гладкая деваха, о которую Ганя грелась ночью. – Холодно... – И, зевнув, уснула снова. Ее подружка, рыжая лядящая евреечка, что грела Ганю с другого боку, вовсе не просыпалась.

«Сознательные!» – сердито подумала Ганя. С недосыпу она была зла на весь свет, а особо на этих двух, гладкую и еврейку, которые ее вчера «сманули».

– Сглазили. У, проклятые! – скулила она, копошась на грязном холодном полу.

Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «ксплотаторшей» и швырнула ей в лошадиный мордovorot хлебные талоны, эти двое ее и подцепили. Ганя, зареванная, выбежала в колодец двора, а там была уже куча-мала баб с рюкзаками, кошелками, ведрами, и эти две из квартиры напротив – тоже.

– Не плачь, тетка, – сказала вчера гладкая Санька, подходя к Гане и вроде жалея ее.

– С нами пойдете, – улыбнулась рыжая. («У, ведьма!» – нарочно толкнула ее сейчас Ганя. Еврейка спала, как пьяная.)

– У нас весело, – неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и раскисшая от слез Ганя стала в их кучу, а потом одна баба (какая-то старшая – собой чистый грузчик!) гаркнула:

– Смирна! Равняйся! Ша-гом... – и повела их на Ногина, а оттуда вверх, и сама же первая заорала:

А ну-ка, девушки, А ну, красавицы...

И Ганя пошла между толстухой и лядяченькой, и, размазывая по тощему невытому лицу слезы, подтянула:

Пускай поет про нас страна,

И звонкой песнею пускай прославятся...

Потом, когда дошли до Ильинских, гора кончилась, идти стало ловчее, и запели другую, развеселую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:

Нам нет преград,

Ни в море, ни на суше,

Нам не страшны,

Ни льды, ни облака...

И Ганя маршировала довольная, пела со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку: «Ты, ксплотаторша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь по дороге. А ну, а ну, достань воробышка! – Хозяйка была высокого роста. – Хрен тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», – улыбалась Ганя, и ее мягко подталкивали с обеих сторон евреечка и гладкая.

– Молодец, тетя! Видишь, как здорово...

Так вчера прошли через центр сюда на пересылку. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и все было в полном ажуре: повели в столовку, дали горячего ужину по армейской норме – кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («граммов сорок», – прикидывали бабы). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, туда же сдавали грязные, и Ганя, может, впервые за жизнь, поев, посуды за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых товарок. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво, ну прямо кошка! – и Ганя засыпала счастливая.

«Ехай, ахай... – грозила она хозяйке. – Колбасой катись, жендарма! У, верста – сивая красота!» – и с удовольствием вспоминала, как хозяйка выдирала из своей русой косы седые нитки волос. И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым

хахалем Серегой, Сергей Еремычем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто взаправду свадьба. А потом они задаром пьют лекарскую воду гранеными стаканами. Сергей Еремыч лениво и великодушно лапает Ганю и плюется на ее сестру, полудурку Кланьку, лярву-разлучницу, которую Ганя по дурости и доброте взяла с собой. От больших рук Сергей Еремыча Гане тепло, только ноги немного мерзнут и в животе малость нехорошо, наверно, от дармовой воды.

И вот теперь ночная побудка, как приبلудная собачонка, разом слизнула сладкий навар сна. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась в мерзлом бараке на пыльном полу, который больно стучал в ухо.

– Беги, тетка! – крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.) – Одни ломы останутся.

Ганя отряхнулась, как вспугнутая курица, и, подхватив кошелку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, точно тощая клуша или плакса девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у нее сморщилось и одлинноносело. «Курица!» – не сговариваясь, обзывали ее во всех домах, где перебивалась проходящей прислужгой.

«А вдруг – лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей...» – чуть не плача, решала она на ходу.

На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были жирно смазаны какой-то липкой гадостью. «Солидол», – ругались в толпе.

– Не толкотись, не толкотись! – кричал на женщин худой военный. Он торчал по-прежнему на крыше кабины, и когда замолкал и не размахивал руками, то в шинели и фуражке при полутьме низкого неба напоминал статую. Но тут же снова драл глотку и рубил воздух рукавами шинели. В нем не было никакой державности, как внизу не было порядка.

«Разберут...» – слезно подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку.

– Хучь кирку! – голосила она. – Лом рук не оставит!

Но те, кто вылез этой ночью из барачков, тоже были не ангелицы. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро, и, прорывчав:

– У, жилы! – она незаметно для себя перепорхнула от врагов порядка к вернейшим его слугам. Этих, как в любой очереди, было куда больше. Впрочем, с основания человечества слабые всегда в большем числе.

– Куда прешь? – через минуту орала Ганя на бойкую деваху в ватной фуфайке.

– Чего людям ноги давишь? – кричала на другую.

– А ну, паника, охолонь! – вразумляла еще кого-то.

– Вот все мы так... – вздыхала тут же для общего сведения. – Все возимся, все носимся. А чего?.. Все там будем.

– Будем-будем, – смеялись вокруг. – Только рот, тетка, заткни.

– Лови, хохлатка, – заметил ее с машины боец и протянул лопату.

Ганя, неловко подпрыгнув, ухватила за склизкую холодную железяку, готовая к чужой зависти, а может, и к мордобою. Но никто ее не тронул. Вокруг машин как-то сразу поредело. Оказалось, лопат хватило на всех доброволок. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом сбросили в углу двора. Худой военный сел в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.

Светало медленно. Время было самое неловкое – ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.

– Снова печенка, – покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая черный ботинок в штык лопаты.

– Ты чего... картофлю копать? – спросила, проходя мимо, какая-то женщина.

«Могилу», – хотела ответить Ганя, но окопница ушла в барак.

«Чего забыла? На дармовщину схотела, а?» – подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой-подругой, самой распоследней горемычкой. – Дьётка!.. Бесплатное, оно завсегда втридорога. Тьфу! На машинном готовят! Людей не жалеют, – скривилась она, отвечая боли в желудке. – Армейское!»

И вспомнились ей племяши-близнята, ее любимцы, которых летом застригли в армию. Парни были росляки-красавцы, в залетку-зятя

Сергей Еремыча. Наворачивали за обе щеки – и второе, и первое. Особо уважали холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, они его жевали ночью после гулянок. Хозяйка супу не признавала. Может, этой, как ее, подагры боялась. И хозяйкина дочка-очкаричка – чудо природы! – тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него половинила, и свой кусок, завернув в марлю, прятала на дно кошелки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и он плюхался туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какаву, но не из soi – с той какая сыть! – а всамделишную, в железных коробках.

Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так бывало в коммуналке, соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотню-полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст. И у Гани вся душа изводилась – и кто чего не вернул, и кто на кухне керосину ихнего взял или примус закопчил – не продуешь! – или общие дрова на ванну извел: не в очередь мылся. Все помнила Ганя и за хозяйское болела, как за свое. Да оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила потом Ганя втихую. А хозяйка – когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как со службы придет, сразу за свой «дервуд» и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседки говорят, до двух, до трех стрекотит. Ганя у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договору, а приходит, как на производство, – и каждый выходной зарплата (раньше – по шестым-двенадцатым, а с прошлого года – по воскресным). Так что Гане ночью все едино. Но соседки жаловались, ходили даже в квартиру напротив – к управдому, и пришлось хозяйке обиться дерматинном с ватой снаружи и изнутри. Дверь теперь сто пуд весит. Ганя в сердцах ее футболит, когда с чайником или сковородой из кухни мчится.

Нет, служба у хозяйки подходящая. И Ганя на ней сама себе вроде командующего. А если хозяйке вожжа под хвост вдарит и придумает хозяйка:

– Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли, – Ганя вскочь за тазом не побежит, а станет посреди комнаты (а лучше – кух-

ни: при соседках справнее!), подопрет кулаком щеку и толково рассудит:

– Да когда ж нам стирать? Да вить сейчас не постираешь, как следовало. Вот уж к празднику, Елена Федотовна, и будем... – И – на-кась, выкуси! – съест хозяйка и опять начнет тарыхтеть на своей машине, как в магазине на кассе. Да и вправду – кассе. С нее главный доход. А днем она в школе – что? Учителка...

Нет, бога обижать не надо. Вот уже три года Ганя у Елены Федотовны – и свет увидела. А раньше нигде не держалась. Как что пропадет, сразу – в шею. И пропасть не успеет – за грязь гонят. Неряха, мол. А тут догляду никакого. Малого ребенка нету и мужика тоже не бывает. Носок ему не штопай, сранок не споласкивай. Одна дочка-очкаричка. Так той уже пятнадцатый год. Она ниже Гане не доверяет – сама простирнет. А дел всех – натри полы. У хозяйки чтоб полы блестели – это первым делом. А полов-то всего ничего. В комнате шешнадцать метров, так под мебелью половина. И второе дело – сосиски сварил или котлеты там стотовь, а лучше – отбивную шмяк на сковороду – пусть себе горит. Самое главное – вовремя подать-убрать. Хозяйка это любит. Так чтоб с виду был порядок. А за шкафы она не лазит, времени у нее нет лишнего. Если б не война, ездила бы к ним Ганя, ездила. Война все перевернула.

Еще только налеты первые пошли, хозяйка к ней подкатываться начала:

– Поезжайте, Ганя, с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылать буду.

– Да что вы, Елена Федотовна? Вы того... с работы совсем счумели. Куда я поеду? Кубышев! И надумали тоже! У меня хозяйство.

– Да какое там «хозяйство»? – рассердилась хозяйка.

Раньше смиренная была, голос прятала. По квартире ходила сжималась, хоть сама под потолок. А тут позволила.

– Полсарая со скворешней – хозяйство...

– Какое ни есть, Елена Федотовна. Не вы наживали. У вас и этого нету. Одна тарыхтелка, так и ту на неделе мастер два раза ковыряет.

Ну, «тарыхтелку» хозяйка стерпела, но со своим «Кубышевом» не отлегла. Хорошо хоть школу на лето прикрыли, и поступила Елена

Федотовна куда-то, где до ночи сидят. Так что теперь ее и не увидишь. Но по воскресеньям опять за свое:

– Поезжайте, Ганя, да поезжайте! Я вам всю зарплату высылать буду. Мне для себя ничего не надо.

И правда, для себя она не старается. Все для очкарички, для чуда природы. Для нее и Ганю держит, чтоб по часам горячее ела. А для себя хозяйка и платья не справит. Старое носит. И мужчин не водит. Некуда. Или некогда ей. Правда, был один интересный случай перед войной за неделю. Очкаричку в пионерлагерь спровадила, Гане на две недели отгул дала, а сама перед зеркалом села из косы седые нитки дергать. Потом соседки ввали – три дня не ночевала. Что ж, еще не старая – сорока нету. Может, и нашла кого, каб не война. Война... Она для всех не сахар... Племяшей враз – в армию. А Кланьку, сестру, лярву-разлучницу – надо же! – в больницу положили. Помрет, видно. Кровь у ней, как вода. А в больнице кормежка известная. Передачу вози. Какие-то продуктовые бумаги – карточки выдумали. Всем дали, а Гане – нет: ни рабочая, ни иждивенка. Договору, видишь, нету. А где концы сыщешь? Гоняли по райотделам с Москвы на Икшу, с Икши опять сюда. Неделю бегала, плюнула и бегать не стала. Перебивалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. А вчера вдруг вакуацию надумала. Теперь сама едет, Ганю не зовет.

– Стирайте, – говорит, – на дорогу!

– Хрен тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! – И кинула Ганя хозяйке деньги – мелочи больше было, а карточки – те особо! – смяла в кулаке и комом в лицо.

Теперь на станционном дворе, как баба-яга на клюку, припадая на лопату, Ганя глядела в землю, а видела свою жизнь, такую же мерзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Эссентуков, да и те чем кончились? Выскоблили из нее потом Эссентуки. А Кланька, лярва, спугалась и не схотела... У, гадючка... А теперь все равно помрет. Кровь у нее никуда стала...

Ничего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин. Одни окопы остались. Вот выкопает их Ганя и себе заодно два метра.

Эх, картошечка, картошка

Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.

– Давай-давай! – орали старшие команд.

– Скорей-скорей! – нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.

– Так неловко... – оправдывались женщины, прыгая на насыпь.

– Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями... Как не было...

Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:

– Ой, ногу подвернула!

– Ой, мамочки, пятка!

– Аж по зубам... Боль-на!..

– Раз! Раз! – кричали железнодорожники, машинист с кочегаром. – И живо, живо в поле. А то опять прилетят! – И опасно посматривали в сизое небо.

Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через необработанную картошку.

– Разберись по десяткам! – кричали старшие, но женщины шли кто как: идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.

– Пропадает! – вздыхали одни.

– Кланяйся да в подол! Потом напечем, – покрикивали другие.

– Сладкая небось, морозком прихватило... – останавливали их третьи.

Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.

–левой!левой! – орали старшие. – некогда.

– Все вскочь! Все вскочь! – сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало, да еще ее затравили в поезде.

«Грамотные, – сердилась она. – А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай-шагай», – и она топтала ботиками мерзлую ботву.

Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впере-

ди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт... Можно с телефоном или лучше с ракетой. Вместо креста – антенна! Вот сила будет! – думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин. – Первая – огонь! Вторая – огонь! – командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. – Как займут красноармейцы окопы, останусь. – И он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма. – Дальше, наверно, река, – думал Гошка. – Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала...» И он вспомнил, как они с Кариной лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не попадало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, – думал он. – А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?...»

Лия еле плелась в своих желтых, шнурованных, высоких до колена ботинках, несла на лопате ведро с кошелкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой земле. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки ужасно раздражали. Лучше бы их продали тогда на толкучем. Но мама упиралась, требовала меньше чем за пятьсот не отдавать. «Какая кожа! Это в Австрии, на курорте, в девятьсот двенадцатом покупали... Что ты, девочка!» Мама все надеялась, что вернется настоящая мода, и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я бы сама с радостью, когда бы вместились!» – уверяла ее вчера Санька. «А вдруг она назло мне? Вдруг нарочно? – с отчаяньем думала Лия. – Вдруг она только сверху такая хорошая, веселая и добрая... Ведь они у меня чуть комнату не отобрали...»

И Лия вспомнила предвоенное воскресенье в Центральном парке. Это было через полгода после маминой смерти. Санюра просто силой потащила ее в парк. Она уже спала в Лиинной комнате (убедила Лию, что той ночевать одной страшно), перетащила на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф свой сарафан и два платья.

«Пойдем да пойдем!» – приставала к ней Санюра в тот воскресный вечер. Лия даже не приоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдаст экстерном за школу, поступит в институт – пригодятся. Теперь эти деньги до конца войны будут лежать в сберкассе). Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке ходить одной по парку неприлично. А Санюра, хоть была годом моложе, уже очень томилась без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала», – подумала Лия, глядя в спину весело шагавшей по картофельному полю Саньке. – Что ж, она видная, бойкая!..»

«Нас не трогай, мы не тронем», – улыбнулась против воли Лия, вспомнив, как в тот вечер в парке Санька отваживала этой строкой из песни нестоящих, по ее мнению, кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лия со своими без одной четверти девятью слова выдать не могла.

После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра все дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос, как маленькие, противно пели, то на пяточок, где фокстротили – словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были старенькие Лиины тенниски и худые незагорелые руки.

Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они – как ей казалось – тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:

– Ауфвидерзеен! – или еще как-нибудь.

– Я пойду, – канючила Лия. – Я тебе только все порчу.

– Ничего-ничего. Другие будут, – обнимала ее Санюра и, похуже,

не бодрилась, а совершенно была в том уверена. И действительно нашла, что хотела.

– Вон, гляди... – Она толкнула Лию в бок. – Годятся? Тебе какого – Крючкова или Абрикосова?

Вдоль пруда лениво шли два парня – один кряжистый с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство со знаменитыми артистами.

– Ты шутишь! – сжалась Лия. «Это не для тебя!» – хотела она крикнуть, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчики даже не для Санюры. Во-первых, у них были удивительно приятные интеллигентные лица. Светловолосый, видимо, учился в техническом вузе, шатен, скорее всего, в университете. У него в глазах была какая-то ленивая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были даже чересчур прилично – оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках, и на ногах у них были не тенниски, а настоящие туфли – у блондина белые парусиновые, у высокого – темно-коричневые кожаные.

– Не надо, Санюра, – Лия схватила ее за руку, боясь конфуза и жалея подругу.

– Да не робей ты, – отмахнулась та. – Главное, виду не давай, что тушуешься. Что мы – не москвички, что ли?

Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.

– Ну как, студенты, аш-два-о? Подходяще? – спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские писюки. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки.

– Стесняется, – улыбнулась Санюра, похлопав Лию по плечу. – Пить хочет, а фигуру бережет. Больше стакана в день нельзя. Вот и смотрим, где вода получше.

– Напой их, Витька, и пошли, – буркнул физкультурник. – Это не Рио-де-Жанейро. – Он отошел от тележки.

– Чего-чего? Крем-брюле не советуете? – защebetала Санька.

– Глупая, тебя оскорбили, – готова была заплакать Лия.

– Торопятся, – засмеялась Санюра. – Студенты, они от харчей легкие... Ветром уносит.

– Глупая, тебя презирают, – горлом выдохнула Лия.

– Да не шипи, как змея...

– Извините, он не в настроении, – сказал темноволосый. – Жорка, иди сюда! – Но физкультурник куда-то исчез.

«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», – думала Лия.

Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе, размазавшая кошелками, позванивая ведрами.

– На церкву держи, антирелигиозницы! – кричала Марья Ивановна.

«Все-таки я ему по духу ближе, но Санюра больше женщина», – рассуждала Лия, помимо воли любясь ладной Санькой, которая в короткой, поверх лыжных брюк, юбке и в телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками необработанную картошку. «Словно по парку гуляет. Даже лом с лопатой ей не в тягость. Нет, странная вещь наша жизнь, и все мы в ней странные».

– Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, – сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили втроем по аллеям, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лии пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать ей с Виктором было неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала.

– Да бросьте вы о серьезном. Литература, литература! Сохнут с нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, – нарочно зевала она и прижималась к Виктору. Лия мешалась, и краснела, и все порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, держала под руку. Прямо висела на них, веселая, разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего не упустит. А студент (Лия уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить и пойти посередине.

– Так что звоните, миленький, – сказала у метро Санюра голосом, полным обещания.

– Ну ты подруга – первый сорт! – обняла она на эскалаторе Лию. – Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Дай и мне поглядеть про эту самую Рину-Женеву.

Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварами.

– Давай-давай сюда, голубушки! – кричал им худой военный, указывая на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полоторатонный грузовик «ГАЗ-АА».

«Вот оборотень! – подумала Ганя. – Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-сь пымал...»

Рядом с худым капитаном крутился очкастый кругленький старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и на чем-то, видимо, настаивая, размахивал ручками. Доберись допризывник Гошка до полуторки, он бы услышал, как старичок повторяет его собственные рассуждения.

– Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт, – восторгался старичок. – Обзор исключительный!

Капитан не отвечал. Его занимало другое.

– По берегу мы все перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.

– Ну-ну, только без самодеятельности. И на хрен тут ежи нужны? Не город ведь... – процедил капитан.

– ...Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности, – словно не слышал его старичок.

– Ну, узкоколейку – хрен с ней, – согласился капитан. – Только без самодеятельности. Вы что, в гражданской участвовали? – спросил скорее из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.

– Нет, скорее изучал, – неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.

– Сюда давайте! – кричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе. – Я вам, бабочки, продукт привез. Там разберите, в кузове, только чтоб без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.

«Я вроде как сам не свой, – думал он. – Были б вагоны, честное слово, запихнул бы в них окопниц и погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать...» Он жалел женщин, суеверно надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.

Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда выскочили пацаны с двумя

тачками – на каждой по баллону – и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.

«А, черт с ними! – подумал капитан. – Лишь бы были заняты. Безделье – мать паники. А за делом и страха поменьше... Кто знает, может, и пронесет...»

Но тоска грызла его отчаянная.

1968 г.

Андрей Турков

СТАРЫЙ ДОМ, СТАРЫЙ ДРУГ

Пестрые заметки

Эти слова, некогда обращенные Николаем Огаревым к дому на Тверском бульваре, где жил Александр Герцен, я давно «присвоил», думаю, как и многие другие бывшие студенты Литературного института имени Горького, который уже шестьдесят пять лет находится в этом историческом здании.

Старый скептик Илья Эренбург однажды сказал, что если за десять лет из этих стен выходит хотя бы один хороший писатель, то институт уже оправдывает свое существование. А ведь здесь учились Маргарита Алигер и Белла Ахмадулина, Юрий Казаков и Григорий Бакланов, Константин Ваншенкин и Евгений Винокуров, Расул Гамзатов и Юрий Бондарев, Николай Рубцов и Виктор Розов, Юрий Трифонов и Александр Яшин, Владимир Соколов и Константин Симонов...

Коридоры Дома Герцена, как часто называют институт, вечно, по выражению одного из студентов первых поколений Михаила Луколина, гудели от стихов: взалхлеб читались не только «свежие» свои, но и чужие, те, которыми восторгались, даже если их авторы еще находились в опале и забвении, как, например, Цветаева, Гумилев или Мандельштам.

В начале «сороковых, роковых» коридоры и аудитории заметно опустели: юноши уходили в армию, часто добровольцами, как двадцатилетний Николай Отрада, ставший одной из первых потерь в студенческой семье.

Одна из немногих редкостей моей библиотеки, изрядно потершшаяся и помятая в свое время в вещмешке тоненькая книжечка «Друзьям» с подзаголовком «Тетрадь стихов студентов Литературного институ-

та. 1942–1943 год». Здесь не только имена, вскоре ставшие широко известными (Сергей Смирнов, Сергей Наровчатов, Александр Яшин, Платон Воронько, Борис Заходер и другие), но и совсем редко ныне поминаемые, а то и незаслуженно забытые. Вот «Тревожный сонет» Евгения Ройтмана (надо ли объяснять, что он о воздушной тревоге?!):

*Ты, Одиссей, счастливец и чудаки!
Другими я сиренами разбужен:
Их голоса неизмеримо хуже,
Они зовут дежурить на чердак.
На чердаке же холод, грязь и мрак,
И позарез сонет на завтра нужен,
А, коченея в этой мрачной стуже,
Писать сонет, поверьте, не пустяк.
Но если ты мечтаешь быть поэтом,
Не жадуйся, что здорово продрог,
Что ночь длинна, что сложен строй сонета,
И не ищи конца своих тревог
В отбое или нежности рассвета,
Бредя неразберихою дорог...*

Ройтмана я знал еще по шахматному кружку столичного Дома пионеров. Впоследствии, когда литературная судьба его складывалась трудно, шахматное «прошлое» пригодились: он печатался в спортивной прессе под вынужденным псевдонимом.

С этим связано полупечатное-полукомическое воспоминание. В самом начале 80-х я встретил в доме отдыха литинститута другого поэта Бориса Куняева, израненного в войну и осевшего в Риге. Он все сокрушался, что нечем отметить встречу. А почему? Оказалось, что его соседом по столовой стал хмурый человек, показавшийся ему страшно знакомым. Борис украдкой заглянул в заполненный соседом листок заказа, но увидел совершенно незнакомую фамилию: Е.Ильин. И только когда тот собрался уезжать, Куняев, прощаясь, сказал, до чего, мол, вы похожи на моего однокашника Ройтмана. «А это я и есть», – последовал ответ.

Понятно, что тут пошла в ход вся винная наличность, хотя оба, ныне давно покойные, были невеликие пьяницы.

Драматически складывались многие судьбы и на фронте, и в «тыловой» Москве. Аркадий Белинков писал тогда не только сильно усложненные стихи, но и роман, в котором усмотрели антисоветскую направленность. Помимо Белинкова были арестованы Георгий Ингал, писавший роман о Клоде Дебюсси, и только что вернувшийся в институт по ранению Борис Гамеров. Впоследствии в «Архипелаге ГУЛАГе» Ингал и Гамеров, оказавшиеся в одном лагере с Солженицыным, были помянуты добром. Оба сгинули, Белинков же вернулся тяжелобольным, его трудно было узнать. Когда вышла его ныне широко известная книга о Тынянове, он прислал ее мне с надписью, в которой звучала нотка ностальгии по временам, когда автор легко взбегал по крутым институтским лестницам, а не с одышкой одолевал каждую ступеньку...

Тогда, в сорок третьем, в институт захаживал выписавшийся из госпиталя Семен Гудзенко и читал свое ставшее знаменитым стихотворение «Когда на смерть идут – поют...». И когда ныне думаешь о судьбе Белинкова, Ингала, Гамерова, строки этих стихов представляются говорящими не только о фронтовых буднях.

*Снег минами изрыт вокруг
И почернел от гари минной.
Разрыв! И умирает друг.
И значит смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед...*

В последние годы войны, и особенно после Победы, институт вновь пополнился – и не только теми, кто, как выразился однажды Юрий Левитанский, здесь учился «с перерывом на войну», но и новичками, часто жестоко израненными. Ставший позже известным детским писателем Иосиф Дик пресерьезно божился, что его путь в литературу начался в день, когда в самаркандском госпитале вывесили объявление:

«Ранбольные! Кто из вас, ввиду отрыва руки или ноги, хочет стать писателем, приходите сегодня к трем часам на сцену. Там будет профессор!» (Последним оказался поэт Сергей Малахов, сам человек очень драматической судьбы, который и помог напечатать первые стихи Дика, потерявшего обе руки.)

Директором института был тогда Федор Гладков, причисленный критикой к классикам социалистического реализма, человек с большими амбициями и норовом самодура. А новый студенческий народец был тертым, обстрелянным, глядевшим смерти в глаза и потому способным на дерзкие выходки. Когда поэт Григорий Поженян, герой обороны Одессы, чем-то прогневал Гладкова и услышал от него: «Чтоб ноги вашей здесь не было!», то «послушно» встал на руки и так проследовал к дверям кабинета.

«Мины» же продолжали сыпаться... Блистательного лингвиста, нашего любимца А.А. Реформатского травили за приверженность к «буржуазному» сравнительному методу в языкознании. А.Л. Слонимскому запретили вести популярный у студентов курс по опальному в то время Достоевскому. С трудом терпели философа, верного друга Пастернака В.Ф. Асмуса.

Зато вольготно жилось форменным монстрам. «Ленин пишет Горькому: «Вы хотите (!) показать то-то и то-то, но Ваше намерение...» – вещал профессор (!) Добрынин, читавший курс истории русской критики, а кроме того восседавший в печальной памяти Главреперткоме. Один потрясенный его логикой автор заметил, что так и Шекспира можно запретить, и услышал в ответ: «Надо будет, и запретим!» Не отставала от Добрынина и целая плеяда преподавателей марксизма-ленинизма, тупо и безграмотно излагавших затверженные азы «единственно верного учения» и оживлявших аудиторию лишь анекдотическими ляпсусами и уморительными штампами («целевая установка царя была бежать за границу», – говорилось, например, о Людовике XVI).

И как же они ополчались на любое вольное суждение! Известный ныне драматург Лев Устинов горячо хвалил на семинаре повесть Казакевича «Двое в степи» и не отрекся от своих слов даже после того, как ее разнесла «Правда». И пошла писать губерния, да так, что сменивший Гладкова профессор В.С. Сидорин потихоньку присоветовал «преступнику» исчезнуть из Москвы во избежание «оргвыводов».

Еще хуже пришлось Науму Манделю-Коржавину, чьи стихи подкупали душевной открытостью, энергией мысли, отвагой, с которой он шел наперекор господствующему мнению. В Литературной энциклопедии коржавинская биография изложена эпически спокойно:

«Окончил горный техникум в Караганде, в 1959 году Литературный институт...» Нет лишь совсем «мелких» деталей: он поступил в институт еще в 1945 году и «сменил» его на карагандинский техникум после ареста и высылки. Причиной же этой «перемены мест» были стихи о «повальном страхе тридцать седьмого года», о «сытеньком» бюрократе, который «спрятался за знаменем красным», и, вероятно, в особенности – о декабристах, вызывавших у поэта восхищение и зависть:

*Можем строки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
...Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женищины
Не поедут за нами.*

Вернувшийся в Москву в годы оттепели, Коржавин вновь пришел не ко двору в пору застоя и был почти вытолкнут на чужбину, «уехал из жизни своей», как горько сказано в его стихах.

А вот для контраста иная судьба, несравненно более благополучная и в своем роде тоже характерная для минувшего времени. Наш с Коржавиным однокурсник Игорь Кобзев, видимо, мучительно пытался понять и принять ждановскую «критику» стихов Ахматовой, многие из которых знал наизусть. Похожие операции тогда проделывали над собой и другие, но только не торопились облекать это в стихи, вроде написанных Кобзевым:

*Ваш домик с пачками любовных писем,
С гаданьями о собственной судьбе.
От планов пятилетки не зависим,
Живите сами по себе.*

Коготок увяз – всей птичке пропасть... Игорь поплыл по течению, оказался на коне в компании борьбы с пресловутым космополитизмом, с пафосом обличал фронтовика и инвалида Константина Левина, страстного поклонника Пастернака и Сельвинского. А после окончания института одним из первых был послан за границу и тоже не подкачал: пополнил коллекцию разоблачительных стихов о «гнилом

Западе» – хожу, дескать, по Лондону, и все мне тут чуждо, немилу, и вся душа в Москве, где у сына режутся зубки...

И все-таки теперь, когда Кобзева давно не стало, он вспоминается мне юношей с его тогдашними стихами об умершем друге, чья кончина томительно обострила восприятие жизни так, будто видишь все в последний раз, и жаль, что в памяти уцелели лишь какие-то осколки строф: «Ведь и я люблю ничуть не меньше... Опрометчивые руки женщин... Или смерть моя близка?!»

Жаль той нашей общей молодости, еще полной оптимизма, взаимного доброжелательства. Увы, в дальнейшем, как сказано в знаменитых стихах, кто-то камень положил в ее протянутую руку!

Давно разошлись пути иных былых однокашников и даже друзей, но очень многие из нас по-прежнему связаны и общими устремлениями, и не остывшим интересом к жизни и творчеству друг друга, и далеко не в последнюю очередь – памятью о студенчестве, наставниках...

В этих коридорах вывешивалась очередная стенгазета, и помню, как весной сорок третьего года на одном из ее листов была наклеена телеграмма: МОСКВА ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР 25 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ МОЙ МАЛЬЧИК ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ УБИТ МАМА. И тут же навсегда запомнившееся, пусть и не вполне уместные, строки его стихов:

*Если я останусь в живых
И сохраню все, что намечал,
То я от капель дождевых
Спать не буду по ночам.*

Это потом Петр Хорьков напишет «домой», в институт, из Берлина: «Я чувствую себя, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Дома Герцена на величайшем и неповторимом мировом торжестве».

А ведь Литинститут и впрямь, пожалуй, имел право «представительства» там! Его питомцы воевали и под Москвой, и в блокадном Ленинграде, и в пылавшем Сталинграде, и в партизанах у легендарного Ковпака. Ходили в разведку и в штыки, рыли окопы и взрывали мосты. Да и «по специальности» трудились, – повстречавшись в Карелии, во фронтовой редакции аж с несколькими однокашниками,

кто-то радостно воскликнул: «Ну, кажется, полный филиал Литинститута».

Для нас в институтских коридорах по-прежнему живут отзвуки давних разговоров, споров, смешиваясь с гомоном нового поколения. И так, бывает, хочется, чтобы и ему было внятно это «эхо», что, того и гляди, пристанешь к спующим вокруг юношам и девушкам с простодушными словами из стихов нашего сокурсника Владимира Корнилова:

Племя незнакомое,

Посиди со мной.

Впрочем, у них немало своих собственных проблем и забот, пожалуй, не менее трудных, чем были у нас...

Рой Медведев

ИОСИФ СТАЛИН И ИОСИФ АПАНАСЕНКО

Дальневосточный фронт в Великой Отечественной войне: новый командующий

Обстановка на восточных границах Советского Союза была в конце 1930-х годов более напряженной, чем на западных рубежах. Оккупировав Маньчжурию, японская военщина не только начала захватывать одну за другой более южные провинции Китая, но и готовилась к нападению на СССР. Созданная на севере Китая японская Квантунская армия постоянно проводила разведку боем, и разного рода нарушения советской границы были на Дальнем Востоке обычным делом. После нескольких крупных военных провокаций Сталин предложил преобразовать Дальневосточный военный округ (ДВО) и Особую Краснознаменную Дальневосточную армию (ОКДВА) в Дальневосточный фронт (ДВФ), что и было сделано еще в 1938 году.

Уже в июле – августе 1938 года в районе озера Хасан этот фронт принял боевое крещение, здесь произошло крупное и кровопролитное сражение, о котором тогда много говорили и писали. Но Сталин был недоволен его исходом: хотя японские войска были отогнаны, их полного разгрома не получилось, и наши потери были очень велики. Это стало одним из поводов проведенных осенью массовых репрессий среди командного состава ДВФ. В числе пострадавших был и первый командующий фронтом маршал Василий Блюхер, который уцелел в период массовых репрессий военных руководителей в 1937 году, но был по личному указанию Сталина расстрелян 9 ноября 1938 года. В мае 1939 года крупная военная группировка Квантунской армии вторглась на территорию союзной нам Монголии. Бои шли здесь в районе реки Халхин-Гол несколько месяцев. В конечном счете, японские ча-

сти были окружены и разгромлены. Военные действия были прекращены, однако, лишь осенью 1939 года по просьбе японской стороны. В Западной Европе уже шла война, и Сталин не хотел втягиваться в затяжные военные действия на востоке.

Хотя внимание Сталина было обращено в 1940 и в начале 1941 года к событиям на Западе, принимались меры и к укреплению обороны Дальнего Востока. К середине 1941 года в состав ДВФ входили десятки хорошо вооруженных и подготовленных дивизий, танковых, артиллерийских и авиационных частей с общей численностью личного состава в 704 тысячи человек. Однако и численность Квантунской армии была доведена Японией до 700 тысяч человек.

Укрепление ДВФ сопровождалось многими перемещениями и репрессиями. Генерал армии Г. К. Жуков, руководивший разгромом японских войск у реки Халхин-Гол, был назначен начальником Генерального штаба и вступил в эту должность 1 февраля 1941 года. Но в том же январе был арестован и расстрелян участник боев у озера Хасан и у реки Халхин-Гол генерал-полковник Г. М. Штерн, сменивший Блюхера на посту командующего Дальневосточным фронтом. Новым командующим фронтом был назначен генерал-полковник Иосиф Родионович Апанасенко, которого Сталин знал еще по годам Гражданской войны. Сталин вызвал Апанасенко из Ташкента, где тот командовал Среднеазиатским военным округом, чтобы лично объявить ему свое решение и дать соответствующее напутствие. Апанасенко было присвоено звание генерала армии.

Не буду излагать здесь детали военной карьеры Апанасенко, которая началась для него еще в 1914 году на фронтах Первой мировой войны. В годы Гражданской войны он быстро поднялся до должности командира дивизии в Первой Конной армии. В 1920–1930-е годы Апанасенко служил на разных постах в Ленинградском, Белорусском и Киевском военных округах. Сталин познакомился с Апанасенко еще во время боев под Царицыном в 1918 году, но вспомнил о нем лишь в начале 1938 года, пригласив в Кремль перед назначением в Ташкент. Позднее Сталин встречался с Апанасенко много раз и доверял ему. Тем не менее имя И. Р. Апанасенко почти неизвестно за пределами родного ему Ставропольского края. Перечисляя полководцев, отличившихся в годы Отечественной войны, советские историки не

упоминают Апанасенко. В 12-томной «Истории Второй мировой войны», которая создавалась в 1970-е годы, имя генерала армии И. Р. Апанасенко не упомянуто ни разу. А между тем этот генерал является, безусловно, одним из героев Отечественной войны.

Командиры частей и штабов в ДВФ не без тревоги встретили известие о назначении к ним Апанасенко, о нем в армии шла слава как об очень грубом генерале. Известный правозащитник 1960–1970-х годов генерал Петр Григоренко, служивший в 1941 году в звании подполковника в штабе Дальневосточного фронта, писал позднее в своих мемуарах: «За несколько месяцев до начала войны командующим Дальневосточным фронтом был назначен генерал армии Апанасенко Иосиф Родионович. Даже внешностью своей он был нам неприятен, не говоря уж о том, что за ним и впереди него шла слава самодура и человека малообразованного, неумного. По внешности он был как бы топором вырублен из ствола дуба. Могучая, но какая-то неотесанная фигура, грубые черты лица, голос громкий и хрипловатый, в разговоре имеет часто какой-то издевательский оттенок. Когда ругается, выражений не выбирает, как правило, делает это в оскорбительном тоне и с употреблением бранных слов. Может быстро прийти в бешенство, и тогда, виновник, пощады не жди. Шея начинает краснеть. Даже глаза наливаются кровью. В общем, все мы были не в восторге от смены командующего. Однако очень скоро те, кто стоял ближе к Апанасенко, убедились, что идущая за ним слава во многом ни на чем не основана. Прежде всего, мы скоро отметили колоссальный природный ум этого человека. Да, он необразован, но много читает и, главное, способен оценить предложения своих подчиненных, отобрать то, что в данных случаях наиболее целесообразно. Во-вторых, он смел. Если считает что-то целесообразным, то решает и делает, принимая всю ответственность на себя. Никогда не свалит вину на исполнителей, не поставит под удар подчиненного. Если считает кого-то из них виновным, то накажет сам. Ни министру, ни трибуналу на расправу не даст». Вместе с Апанасенко на Дальний Восток приехало много работников высшего звена фронтового управления, которых он отбирал самолично, и почти все они были сильными и компетентными командирами.

Начав знакомиться с делами фронта и оперативными планами,

Апанасенко обнаружил, что вдоль большей части Транссибирской железной дороги, с ее десятками мостов и тоннелей, нет надежной автомобильной трассы, которая шла бы параллельно железной дороге. Это обстоятельство делало войска фронта крайне уязвимыми, так как линия железной дороги проходила подчас совсем недалеко от границы. Японцам достаточно было взорвать несколько мостов или тоннелей, чтобы лишить армии фронта и свободы маневра, и надежного снабжения. Апанасенко тут же приказал начать строительство надежной дороги протяженностью почти в тысячу километров, используя при этом не только строительные подразделения фронта, но и население прилегающих районов. Срок для этой огромной работы был установлен предельно краткий – пять месяцев. Забегая вперед, нужно сказать, что приказ Апанасенко был выполнен, и дорога от Хабаровска до станции Куйбышевка – Восточная была построена к 1 сентября 1941 года.

Искушения для Японии

В первые месяцы 1941 года, когда Апанасенко принимал срочные и решительные меры по укреплению Дальневосточного фронта, в самой Японии – в правительстве, генеральном штабе и в окружении императора – шли тайные совещания и острые дискуссии по поводу главных направлений и целей японской военноколонизальной экспансии. Планы на этот счет имелись самые грандиозные, но порядок и последовательность их выполнения еще не были определены. Еще в 1930-е годы к власти в Японии пришли милитаристские группировки: здесь создавалась громадная и хорошо вооруженная армия, большой флот, военная авиация, особое значение придавалось авианосцам. Однако в Японии не было такого единоличного лидера, обладавшего тотальной властью, какими являлись Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Сталин в Советском Союзе. Император и его семья, командование сухопутной армией и командование флотом, дипломатическое руководство не всегда придерживались одинакового мнения. Поэтому все вопросы в Японии решались коллегиально путем обсуждений и консультаций, главным образом в совете старейшин при императоре. В 1940 году в совет старейшин было решено включать и всех бывших

премьеров, что создавало не только необходимую преемственность власти, но и трудности в слишком сложных ситуациях.

Общее направление военной и политической агрессии Японии и Германии было определено еще в конце 1936 года «Антикоминтерновским пактом», к которому присоединилась в 1937 году и Италия. В документах этого «Тройственного союза» прямо говорилось, что он направлен против СССР и Коммунистического Интернационала, а тайные соглашения предусматривали и разные формы сотрудничества и поддержки в «случае войны одного из участников пакта против СССР». Такое направление германской и японской экспансии вполне устраивало господствующие круги Великобритании и Франции, которые поэтому не только не препятствовали вооружению Германии, но во многом содействовали ему. Политика невмешательства и уступок позволила Германии аннексировать Австрию и Судеты и привела к победе Франко в Испании. Гитлер был не против похода на Восток, но не слишком торопился. Япония вела себя даже активнее, кроме Квантунской армии на Маньчжурском плацдарме она начала готовить и Курильско-Сахалинский плацдарм, на котором, по данным советской военной разведки, проводилось развертывание нескольких дивизий.

Война стояла на пороге, и генеральные штабы и разведки всех крупных стран лихорадочно просчитывали разные варианты. При этом одним из наиболее вероятных направлений агрессии «Тройственного союза» было нападение Германии на Польшу и Прибалтику с выходом на границы СССР, а затем и нападение на СССР с востока. Во всяком случае, именно на такое развитие событий надеялись в Париже и Лондоне, планы на этот счет имелись и в Берлине, и в Токио. Все изменилось, однако, в течение нескольких дней. «Пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом», или «пакт Молотова – Риббентропа», подписанный в конце августа в Москве, был полной неожиданностью не только для Англии и Франции, но и для Японии. Переговоры в Москве происходили слишком стремительно, и у Германии не было ни времени, ни желания проводить на этот счет какие-либо консультации с Японией, хотя это предусматривалось заключенными ранее между ними тайными соглашениями. Японское правительство, возглавляемое бароном Хиранумо, ушло в отставку,

направив перед этим Берлину ноту протеста, в которой говорилось, что советско-германский договор о ненападении противоречит секретному протоколу к «Антикоминтерновскому пакту». Растерянность в японских верхах была столь велика, что за год в Токио сменились еще два кабинета, пока в октябре 1940 года совет старейшин при японском императоре не назначил главой правительства принца Коноэ.

Быстрый разгром и капитуляция Франции и тяжелое поражение британского экспедиционного корпуса летом 1940 года были также большой неожиданностью для Японии. В юго-восточной Азии остались «бесхозными» колонии Франции, прежде всего Индокитай. Япония решила прибрать этот полуостров к рукам и оккупировала его в начале 1941 года. Но в крайне трудном положении оказалась и администрация многочисленных британских колоний в Азии – Индии и Бирмы, Сингапура и Гонконга, Малайзии и Цейлона. Для Японии, которая уже вела войну в Китае, и которая создала очень большую и сильную армию, а также многочисленный и мощный флот, возникало искушение, против которого трудно было устоять.

Советский Дальний Восток казался более трудной добычей. К тому же СССР был велик и силен, а Британия стояла на краю гибели, и ее участь казалась предрешенной. Неудивительно, что в конце 1940 года японский посол в Москве передал советскому правительству предложение от принца Коноэ – заключить между СССР и Японией пакт о нейтралитете. Переговоры на этот счет начались, но они велись не столь стремительно, как это было на переговорах о пакте Молотова – Риббентропа.

Прежде чем принимать окончательное решение, японское правительство сочло необходимым направить в Европу для оценки обстановки и для переговоров со своими союзниками министра иностранных дел Ёске (Исико) Мацуоко. Это был весьма влиятельный в правящих кругах политик и дипломат, который еще в 1933 году представлял Японию в Лиге Наций, а в 1936 году уже в качестве министра иностранных дел подписал «Антикоминтерновский пакт». Мацуоко отправился в свою поездку 12 марта 1941 года через Советский Союз. В Кремле внимательно следили за движением поезда с японским министром, и когда 25 марта он достиг Москвы, Мацуоко был пригла-

шен в Кремль и имел двухчасовую беседу со Сталиным и Молотовым. Известие об этой встрече вызвало беспокойство в Берлине, но Мацуоко заверил немецкого посла в Москве графа Шуленбурга, что обо всех подробностях своей беседы со Сталиным он расскажет Риббентропу. Японский министр прибыл в Берлин 27 марта. Он имел здесь несколько встреч и бесед с Риббентропом, а затем был принят Гитлером.

Перед Мацуоко раскрыли если и не все, то очень многие карты. В марте 1941 года Германия была на вершине своего могущества, под ее властью была практически вся континентальная часть Западной Европы. Вопрос о нападении на Советский Союз был уже решен, и по всем линиям шла энергичная подготовка к этому походу на восток, который должен был стать новым триумфом германского оружия и армейского духа. Готовился «блицкриг» и быстрый разгром Красной Армии.

Гитлер и Риббентроп были настолько уверены в успехе, что не просили от Японии никакой помощи в войне с СССР. Но они просили Японию рассмотреть вопрос о войне против Англии и, особенно, о быстрой атаке на Сингапур. Англия слишком занята в Европе, и у нее не было сил для обороны своих колоний в Азии. Если Япония нанесет там удар, то и в Европе Англия не сможет долго держаться, и ее можно будет разгромить еще до конца 1941 года.

После войны на международном судебном процессе по делу главных японских военных преступников, а также из публикаций японских секретных документов, осуществленных госдепартаментом США, стали известны подробности японо-германских переговоров весной 1941 года.

Уже в первой беседе с Мацуоко Риббентроп заявил, что договор о ненападении с Советским Союзом – это всего лишь тактическое соглашение, которое может быть нарушено в любой момент, когда этого захочет Гитлер. «Германия уверена, – сказал Риббентроп, – что русская кампания закончится абсолютной победой германского оружия и полным разгромом русской армии и русского государства. Фюрер убежден, что в случае действий против Советского Союза через несколько месяцев от великой русской державы не останется ничего».

В апреле, после поездки в Италию, Мацуоко снова встретился с Гитлером и Риббентропом. Он посетовал, что в Японии нет такого

единства в руководстве, когда во главе страны стоит один человек с необычайной силой воли. Но Япония постарается не упустить свой шанс, который случается всего раз в тысячу лет. Если будет нужно, Япония готова решительно атаковать. Риббентроп советовал Мацуоко не останавливаться на обратном пути в Москве и не вести там никаких переговоров. Но у японского министра имелись другие инструкции.

В Москве Мацуоко ждала очень теплая встреча, и он провел здесь неделю, несколько раз встречаясь с Молотовым и со Сталиным. Эти беседы вызвали тревогу как в Берлине, так и в Лондоне. Лишь утром 15 апреля Мацуоко сообщил германскому послу в Москве, что Япония и СССР подпишут в 2 часа дня пакт о нейтралитете. Сталин был очень доволен этим пактом, и он решил показать свое удовлетворение необычным в дипломатической практике образом. Поезд, в котором японский министр должен был отправиться в дальний путь, был задержан на час. Неожиданно на Ярославском вокзале появились Сталин и Молотов. Сталин тепло приветствовал Мацуоко и сопровождавших его японцев и после короткого разговора пожелал им счастливого пути. Затем Сталин попросил позвать к нему графа Шуленбурга, обнял его за плечи и сказал: «Мы должны оставаться друзьями. Вы должны сделать все, чтобы добиться этого». Столь же тепло Сталин приветствовал и германского военного атташе полковника Кребса. Разумеется, этот эпизод нашел отражение в дипломатической переписке всех находившихся на вокзале дипломатов.

В японских верхах подробно обсуждали все детали миссии Мацуоко. Япония была готова атаковать британские колонии в Азии, но ее беспокоила позиция США. Секретные переговоры, которые велись в Вашингтоне, зашли в тупик, так как требования США казались японским лидерам неприемлемыми. В Токио начала складываться идея о необходимости нанести США внезапный и мощный удар. В 1941 году США не казались многим серьезной военной державой: в Америке не было даже крупной сухопутной армии. Конечно, США располагали громадными потенциальными возможностями. Но в 1941 году все думали о «блицкригах»: на суше и на море. У США имелся большой военно-морской флот, отдельно на Тихом и на Атлантическом океанах. При этом почти весь Тихоокеанский флот США базировался на Гавайских островах в Перл-Харборе. Это создавало еще один соблазн

для японских военных. Все войны, которые в XX веке вела Япония, она начинала внезапным нападением на противника.

Мировая война расширяется

Нападение Германии на Советский Союз не было неожиданно для Японии, хотя подробности здесь узнавали из разных источников. Уже 22 июня в Токио было проведено специальное совещание правительства, на котором был обсужден и уточнен имевшийся здесь план нападения Квантунской армии на СССР. Этот план предполагалось, однако, ввести в действие после решающих побед германской армии. Еще через несколько недель на заседании правительства в присутствии императора было решено, что Япония будет придерживаться заключенного ею с СССР пакта о нейтралитете, но будет продолжать активную подготовку для движения на юг. Были сторонники и немедленного нападения на СССР, этого требовал и Мацуоко. Однако он не был поддержан другими лидерами. Летние сражения на советско-германском фронте можно рассматривать как поражение Советского Союза. Германская армия захватила большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию и Прибалтику. Однако Гитлер не сумел добиться своих главных целей: сражения под Одессой, Киевом, Смоленском сорвали германский блицкриг. Германская армия была остановлена у стен Ленинграда и на дальних подступах к Москве. Она начала готовиться к новому наступлению, намеченному на начало октября.

В Японии внимательно следили за всеми событиями на советско-германском фронте, и голоса в пользу немедленного нападения на СССР усиливались. Однако возобладала другая точка зрения. Как раз в октябре, в разгар сражений на дальних подступах к Москве, правительство принца Коноэ ушло в отставку, и к власти пришло новое правительство, возглавляемое генералом Хидеки Тодзио, который не без труда убедил императора Японии и принцев в необходимости нападения на Перл-Харбор, а также на британскую военно-морскую базу в Сингапуре. Началась подготовка большой эскадры, главной ударной силой которой были авианосцы. Ожидалось, что разгром американского флота произойдет почти одновременно с захватом гит-

леровцами Москвы и Ленинграда. Как известно, японцам полностью сопутствовал успех, чего нельзя сказать о Гитлере.

Генерал И. Апанасенко и битва под Москвой

Еще в июле и августе с Дальнего Востока на западные фронты было переброшено несколько стрелковых бригад. Но это была лишь малая часть сил ДВФ. Сталин очень опасался войны на два фронта, а по данным советской разведки, численность и вооружение Квантунской армии непрерывно увеличивались. К отправке в Маньчжурию готовились и несколько тысяч опытных железнодорожников, а это означало лишь одно – японские войска готовятся взять под свой контроль Транссибирскую магистраль.

Новое наступление немецких войск на Москву встретило ожесточенное сопротивление, однако на многих участках немцам удалось прорвать фронт и продвинуться далеко на восток. Многие из советских дивизий были окружены под Вязьмой. Дорогу на Москву прикрывали плохо вооруженные и наспех собранные части, а также несколько дивизий народного ополчения. В середине октября началась эвакуация из Москвы, которая не всегда проходила организованно. Большая часть министерств и ведомств переводилась в г. Куйбышев, на Волгу. Хотя от Рихарда Зорге из Токио приходили сведения о том, что Япония пока не собирается нападать на СССР, все могло измениться в случае падения Москвы. В составе Западного фронта уже воевали дивизии, переброшенные сюда с Урала, из Западной Сибири, Средней Азии и Казахстана. Но многие из них понесли существенные потери. А между тем на Дальнем Востоке находились десятки боееспособных дивизий и большое число боевой техники.

Мысли о переброске частей ДВФ на западные фронты возникли не только в Москве, но и на Дальнем Востоке. Многие офицеры-дальневосточники просили отправить их в действующую армию. 10 октября 1941 года первый секретарь Хабаровского крайкома ВКП(б) Г. А. Барков отправил Сталину большое письмо с предложением немедленно перебросить для обороны Москвы не менее десяти дивизий из состава ДВФ. «Наши дальневосточные рубежи, – писал Барков, – охраняет огромная армия, численно доходящая до миллиона обученных

и натренированных бойцов. Большую часть этой армии можно экстренными маршрутами перебросить на решающие участки Западного и Южного фронтов, оставив на Дальнем Востоке только необходимый минимум прикрытия, авиацию и часть Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Военное руководство Дальневосточного фронта будет, очевидно, возражать против этого предложения, да и сам я прекрасно понимаю, что здесь имеется большой риск – спровоцировать Японию на военное выступление. Но без риска в войне обойтись нельзя, ибо, если мы потерпим поражение на западных фронтах, одному Дальнему Востоку не устоять. При таком положении нас могут разбить по частям. Г. Барков».

Еще до получения этого письма Сталин вызвал в Москву И. Р. Апанасенко, а также командующего Тихоокеанским флотом И. С. Юмашева и первого секретаря Приморского крайкома ВКП(б) Н. М. Пегова. Их встреча состоялась в кабинете Сталина в Кремле 12 октября. Беседа была долгой, но решений в этот день не было принято. Однако обстановка под Москвой продолжала ухудшаться, и всего через несколько дней Сталин позвонил Апанасенко и спросил, сколько дивизий он смог бы перебросить на запад в конце октября и в ноябре. Апанасенко ответил, что могут быть переброшены до двадцати стрелковых дивизий и семь-восемь танковых соединений, если, конечно, железнодорожные службы смогут предоставить необходимое количество составов.

Переброска войск с Дальнего Востока началась почти немедленно и проходила под личным контролем Апанасенко. Генерал А. П. Белобородов, командовавший тогда одной из уходящих на запад дивизий, писал позднее в своих воспоминаниях: «Железнодорожники открыли нам зеленую улицу. На узловых станциях мы стояли не более пяти-семи минут. Отцепят один паровоз, прицепят другой, заправленный водой и углем, – и снова вперед! Точный график, жесткий контроль. В результате все тридцать шесть эшелонов дивизии пересекли страну с востока на запад со скоростью курьерских поездов. Последний эшелон вышел из-под Владивостока 17 октября, а 28 октября наши части уже выгружались в Подмосковье, в г. Истре и ближайших к нему станциях». В ноябре дальневосточные дивизии уже вели оборонительные бои под Москвой или готовились к наступлению, начавше-

муся 6 декабря. Без этих свежих и хорошо подготовленных дивизий выиграть битву под Москвой в декабре 1941 года было бы, вероятнее всего, невозможно.

Смелые инициативы генерала И. Апанасенко

Отправляя дивизию за дивизией на запад, Апанасенко не мог оставаться спокойным. И он принял решение, которое на его месте поостерегся бы принять другой командующий. Апанасенко решил на те же самые позиции, на которых стояли уходившие на запад полки и дивизии, ставить новые полки и дивизии, причем под прежними номерами. Это было смелое решение, так как самостоятельные военные формирования были в то время строжайше запрещены, и органы снабжения и тыла Красной Армии не выделяли на новые дивизии ДВФ ни оружия, ни продовольствия, ни одежды. Конечно, в Москве не могли не знать о смелой инициативе командующего фронтом. На нее смотрели как бы сквозь пальцы. Она не была ни одобрена, ни осуждена. По свидетельству бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР генерала армии М. А. Моисеева, у Ставки и Генерального штаба просто не было необходимых ресурсов для оснащения новых, не предусмотренных централизованными планами военных формирований.

Позицию Москвы можно было бы определить примерно так: мы не возражаем против инициативы Апанасенко, но пусть он сам находит выход из трудного положения.

И генерал Апанасенко развил бурную деятельность. Была расширена подготовка новобранцев, молодые призывники прибывали в части ДВФ даже из Москвы. На Дальнем Востоке и в Сибири стали призывать на военную службу мужчин 50–55-летнего возраста, всех тех, кто мог носить оружие. По условиям военного времени, командующий Дальневосточным фронтом являлся главным представителем власти в прилегающих областях. Его распоряжения были обязаны выполнять работники всех уровней, включая секретарей обкомов и крайкомов. При поддержке хозяйственных и партийных работников Апанасенко организовал на Дальнем Востоке новые военные производства.

Здесь переделывали тысячи учебных винтовок в боевые, ремонтировали орудия, наладили производство минометов, мин и снарядов, патронов и радиостанций. Мобилизовывался и ремонтировался автотранспорт, при войсках создавался конный парк. По свидетельству П. Григоренко, Апанасенко разослал наиболее активных офицеров даже по многим лагерям Колымы и всего Дальнего Востока с поручением – выявить и вернуть в армию способных командиров и комиссаров, ставших жертвами репрессий 1937–1938 годов. Это вызвало протесты начальников лагерей и всего руководства Дальстроя НКВД. На Апанасенко шли жалобы в адрес Берии и Сталина. Но Сталин в эти месяцы воздерживался от вмешательства в приказы Апанасенко и не давал его в обиду. К концу 1941 года Сталин начал изменять свое отношение к командующим фронтами, а Апанасенко он доверял и раньше. На Дальнем Востоке была расширена созданная еще при Блюхере система «военных совхозов», которая помогала обеспечивать армию провиантом. Здесь было много свободных земель, но мало рабочих рук, и работу «военных совхозов» обеспечивала сама армия.

Зимой 1941/42 года Япония воздержалась от нападения на СССР не только потому, что ее войска были заняты на других фронтах. Квантунская армия продолжала усиливаться. Предполагалось, что она начнет действовать после решающих побед Германии и при условии сокращения советских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири с 30 до 15, а авиации, бронетанковых сил и артиллерии – на две трети. Но никакого видимого сокращения войск на Дальнем Востоке не происходило. По данным немецкой разведки, дальневосточные дивизии уже воевали на Западном фронте. Однако японская военная разведка докладывала своему командованию, что все дивизии ДВФ занимают прежние позиции, проводя постоянные учения и тренировки. После войны стали известны многие документы о подготовке Квантунской армии к войне с СССР и планы «освоения» советской территории. Так, например, в «Плане управления территориями в сфере процветания Великой Восточной Азии», разработанном военным министерством и министерством колоний Японии к началу 1942 года, указывалось: «Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие к Маньчжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой страны, а Транссибирская железная дорога должна быть

отдана под полный контроль Японии и Германии, причем Омск будет пунктом разграничения между ними» .

Нападение Японии на США и Великобританию в декабре 1941 года облегчило все же положение Германии. Для США, а частично и для Великобритании, центр тяжести военных действий переместился на Тихий океан и в Юго-Восточную Азию. Планы второго фронта в Европе были отложены, и Германия, не слишком беспокоясь за свои тылы, смогла развернуть новое большое наступление на Восточном фронте. Немецкие войска вышли на Волгу у Сталинграда и развивали успех на Северном Кавказе. Временами положение казалось катастрофическим, и падение Баку и Сталинграда могло повести к тяжелейшим последствиям.

Ставка опять начала брать войска с Дальнего Востока. На западные фронты шли новые полки и дивизии Дальневосточного фронта. Подсчитано, что в первые два года войны из состава ДВФ было отправлено на запад 17 стрелковых, 3 танковые, 2 кавалерийские дивизии, 2 воздушно-десантные и 4 стрелковые бригады, десятки бомбардировочных и истребительных полков, частей и подразделений специального назначения .

И в это же время личный состав частей ДВФ не уменьшился. 22 июня 1941 года в составе фронта числилось 703,7 тысячи человек личного состава. На 1 июля 1942 года здесь числился уже 1 миллион 446 тысяч личного состава, а на 1 июля 1943 года – 1 миллион 156 тысяч. Труднее всего было накормить эту массу людей. Еще несколько лет назад я получил письмо от старого солдата и ветерана Дальневосточного фронта К. Н. Соловьева, проживающего в г. Пятигорске. Он писал, что в 1942–1943 годах солдаты фронта просто голодали, а некоторые из них были так истощены, что не могли нести службу. В этом случае их отправляли на несколько месяцев в колхозы края или в «военные совхозы» – на поправку. И, тем не менее, Соловьев свидетельствует, что армия в целом «была подкована, так как в ней было много старых солдат, прошедших и мировую войну 1914–1918 гг., и Гражданскую войну».

Осенью и зимой 1941 года Германия не просила Японию о помощи в войне против СССР. Но осенью 1942 года Германия была заинтересована не только в косвенной, но и в прямой помощи Квантунской армии. По данным немецкой разведки, у Советского Союза уже

не осталось боеспособных дивизий на Дальнем Востоке. Германия объявила войну Соединенным Штатам и топила везде, где могла, американские корабли. Но Япония не уничтожала американские суда с товарами по ленд-лизу, так как эти корабли шли в дальневосточные порты под советскими флагами. По японской версии, советские войска на Дальнем Востоке не ослабли, а усиливались.

И действительно, по приказам и под личным наблюдением Апанасенко на ДВФ непрерывно совершенствовалась оборона и возводились более прочные инженерные сооружения. Если в 1941 году здесь были созданы батальонные районы обороны 3–4 километра по фронту и 1,5–2 километра в глубину, – то к концу 1942 года фронт располагал по всей приграничной полосе глубокой многоступенчатой обороной, причем особое внимание уделялось противотанковой обороне и сооружению оборонительных объектов на основных доступных для противника направлениях.

Укреплялась оборона главных городов Дальнего Востока: Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. Дальний Восток действительно превращался в крепость, и нападение японских войск не могло быть для советских полков и дивизий неожиданным и внезапным. Чтобы одержать победу на Дальнем Востоке, Квантунская армия, рассредоточенная на тысячи километров вдоль границы, не имела ни достаточных сил, ни резервов. Поэтому даже осенью 1942 года, то есть в пору наибольшего продвижения германской армии на Восточном фронте, Япония предпочла сохранять вооруженный нейтралитет. Но нужно ясно сознавать, что японских милитаристов связывал в этом отношении не пакт о нейтралитете, заключенный в апреле 1941 года, а сила Дальневосточного фронта. В этой силе японцы могли убедиться не раз, так как подразделения Квантунской армии очень часто нарушали советскую границу, ведя настоящую разведку боем.

Между тем Сталин и Генеральный штаб продолжали и в первые месяцы 1943 года забирать на запад также и созданные по инициативе Апанасенко дивизии второй очереди, стоявшие на позициях вдоль советско-китайской границы. Но и в этом случае генерал Апанасенко не оголял позиции, а стал прилагать усилия по созданию дивизий третьей очереди. Там, где не было возможности поставить дивизию, формировалась стрелковая бригада. Но теперь делать это стало проще.

Ставка не могла держать на западе две дивизии с одинаковым номером. Пришлось признать «самодеятельность» Апанасенко. Всем новым дальневосточным дивизиям, бригадам и полкам были присвоены новые номера и выданы воинские знамена. Эти части становились на централизованное довольствие.

Гибель генерала И. Апанасенко

Иосиф Апанасенко встречался со Сталиным в октябре 1942 года. Сталин вызывал командующего ДВФ в Москву в январе, а затем в феврале 1943 года. Апанасенко очень просил Сталина направить его в действующую армию на один из фронтов. Сталин обещал подумать. Но только 25 апреля 1943 года Апанасенко получил приказ сдать дела на Дальнем Востоке и отбыть в Москву в распоряжение Ставки. Новое назначение, однако, задерживалось, и генерал решил напомнить о себе письмом. Он писал Сталину: «Я Ваш солдат, товарищ Сталин. Вы знаете, что с Дальнего Востока мы послали на запад немало стрелковых дивизий, отлично выученных и вооруженных, а также артиллерийских и авиаполков. Вместо отправленных, я тотчас старался сформировать и быстро обучить новые. Докладываю, что войска Дальневосточного фронта оставляю крепко боеспособными. Хозяйство тоже хорошо подготовлено. Промышленность и сельское хозяйство Приморского и Хабаровского краев выглядят неплохо. Ругать не будут».

В конце мая 1943 года Апанасенко был назначен заместителем командующего войсками Воронежского фронта генерала армии Н. Ф. Ватутина. «Ты не обижайся, – сказал ему Сталин. – У тебя нет еще опыта современной войны. Повоюй немного заместителем командующего, а потом я дам тебе фронт». Но судьба распорядилась иначе. Всего три месяца Апанасенко находился на своем новом посту. 5 августа 1943 года, в разгар Курской битвы, Иосиф Родионович был смертельно ранен и, не приходя в сознание, скончался. По его ранее высказанной просьбе генерал армии Апанасенко был похоронен на родине, в г. Ставрополе. В Великой Отечественной войне он не отличился в боях, в наступлениях и отступлениях. Но то, что он сделал для общей победы на Дальнем Востоке, позволяет назвать его имя в числе имен выдающихся военачальников Великой Отечественной войны.

Всеволод Остен

РАССКАЗЫ УЗНИКА МАУТХАУЗЕНА

Комендант получает удовольствие

Итак, я нахожусь в Гузене – филиале Маутхаузена, в самом, как утверждают бывалые узники, гнусном и грязном лагере третьей империи. Гузен – всего-навсего только небольшое звено в огромной сети лагерей смерти, разбросанных по всей Верхней Австрии. Управляет ими штандартенфюрер СС Франц Цирайс.

Владения этого господина, скромно называющего себя комендантом Маутхаузена, поистине необозримы. Головной лагерь Маутхаузен насчитывает 12 000 узников, Гузен-1 и Гузен-П – около 25 000, Линц-I и Линц-11 – около 6000, Эбензее– 12 000, Мелк– 10 000, Лойбл– пасс – около 3000, Вин-Швехат – 4000, Виннер– Нойдорф – 3000 и Вальс – 2000. Если к этому добавить десятки мелких лагерей, в которых количество заключенных колеблется от 200 до 500, то можно подсчитать, что Франц Цирайс является полномочным вершителем судеб свыше 120 тысяч человек, согнанных со всех концов Европы.

Обо всем этом я узнал от поляка по фамилии Ногай, работающего в лагерной канцелярии. Ногаю ежедневно приходится составлять списки заключенных, направляемых в филиалы Маутхаузена, и регистрировать новичков, прибывающих оттуда. И уж конечно, писарь не ограничивается только заполнением карточек. Он вытягивает из новичков все, что только можно узнать о том или ином лагере. Эти сведения крайне необходимы для тех, кто и в условиях фабрики смерти продолжает борьбу с фашизмом...

Штандартенфюрер Франц Цирайс предпочитает как можно реже появляться перед заключенными. Почему? Никто этого не знает. Может быть, здесь свою роль играет брезгливость, а может, осторож-

ность: чем меньше узников будут знать коменданта в лицо, тем лучше для него. Ибо кто знает, как кончится война...

Стоит жаркое лето 1943 года. Мы вчетвером – я и трое испанцев – целыми днями околачиваемся на задворках, в тени лагерной кухни. От огромных мусорных ящиков, куда сбрасываются отходы пищеблока, несет чем-то тошнотворно кислым. Но мы блаженствуем: команда «картофельшеллер» – по сравнению с каменоломней настоящий курорт. Здесь мы укрыты от беспощадно палящего солнца, избавлены от непосильной работы, здесь никто не подгоняет и не бьет нас. Больше того, старший команды – долговязый, тощий и гибкий, как удилище, – Хуан время от времени бросает низкорослому и подвижному Хозе несколько слов. Тот хватает трехлитровую жестянку из-под солдатских консервов и исчезает в дверях кухни. Возвращается он, как правило, с жестянкой, полной баланды.

Мы тут же вытаскиваем ложки, и начинается пир. А потом минут 15–20 лежим в тени мусорных ящиков и блаженно поглаживаем животы, вспухшие от брюквы. Не жизнь, а малина!

Но вот Хуан вскакивает на ноги и говорит:

– Травахо! Арбайт!

Последнее слово он адресует мне, поскольку убежден, что я никогда не научусь испанскому слову «работа».

Дело у нас несложное. Около сотни узников из барака инвалидов целыми днями чистят «СС-картофель». Именно такое громкое название носит обыкновенная картошка, которой предстоит исчезнуть в желудках лагерной охраны. Это же название присвоено и команде, занимающейся чисткой картошки.

А наша задача состоит в том, чтобы собирать очистки в корзины, выносить их из кухни и грузить в повозку-бестарку. Когда бестарка наполняется доверху, Хуан берет дышло, мы втроем становимся сзади и толкаем повозку к лагерным воротам. А за воротами нас обычно ждет хмурый, неразговорчивый австрийский крестьянин-старик. Рядом с ним точно такая же бестарка, в которую запряжена рыжая кобыла.

Старик распрягает лошадь и запрягает в ту повозку, которую привезли мы. А мы, в свою очередь, подхватываем пустую тележку и бегом проскакиваем через ворота...

За всеми этими манипуляциями пристально наблюдает дежурный обершарфюрер, специально вышедший из будки главных ворот. Конечно, он не боится, что мы убежим: в это время дня рабочий лагерь надежно оцеплен охраной. Дело в другом, не дай бог мы перекинемся со стариком-австрийцем парой слов, или, чего доброго, всучим ему записку...

... В час дня у нас по распорядку обед. Мы опорожнили две трехлитровые банки непроваренной брюквы, а потом минут двадцать повалялись в тени кухни, то и дело отгоняя крупных зеленых мух. Затем Хуан опять сказал: «Травахо!». В два часа за воротами нас должен был ждать старик австриец.

Повозка медленно пересекла плац и остановилась в арке главных ворот. Хуан открыл было рот, чтобы произнести привычные слова рапорта, но дежурный эсэсовец, разморенный жарой, оборвал его и хрипло выдавил из себя:

– Ап!

Мы проскочили арку, выехали на площадку перед главными воротами и остановились: старика австрийца с его рыжей кобылой не было. Впрочем, это нас не удивило. Старик нередко опаздывал.

И тут произошло нечто непредвиденное. Тревожно заверещал звонок, укрепленный над входом в караульное помещение. Часовой, до этого дремавший в тени крыльца, выскочил на площадку перед зданием и оглушительно заорал:

– Ахтунг! Аллее рауз!

И сразу же узкое крыльцо караулки наполнилось тяжелым грохотом подкованных башмаков, лязгом металла, дробным позвякиванием амуниции. Эсэсовцы, на бегу пристегивая подсумки и противогазы, выстраивались в одну шеренгу перед входом в караульное помещение. Вот последний из них, закрепив ремень каски под подбородком, стал в строй. Вот начальник караула – безусый штурмшарфюрер – окинул взглядом подчиненных и зычно скомандовал:

– Штильгештант! Ауге линкс!

Караул сделал «равнение налево», туда, откуда по лоснящемуся от августовской жары асфальту медленно приближался открытый «хорьх». За рулем автомобиля сидел офицер. Из-за ветрового стекла можно было разглядеть только фуражку с высокой тульей и эмбле-

мой «мертвой головы». Половину лица офицера прикрывали большие черные очки в роговой оправе.

Безусый штурмшарфюрер сделал несколько чеканных шагов навстречу автомашине, выбросил вверх правую руку и начал рапорт:

– Герр штандартенфюрер! Караул батальона «Эльба»...

– Данке! – лениво перебил офицер. – Стоять вольно!

– Вольно! – завопил начальник караула, а офицер, даже не взглянув на замерших в неподвижности эсэсовцев, покатил дальше, по направлению к нам. В трех шагах от нас «хорьх» остановился. И тут из-за наших спин вынырнул дежурный по главным воротам:

– Герр штандартенфюрер! В концлагере Гузен-1 числится 17 024 заключенных. На работах – 15 112, в жилом лагере – 1916, из них больных – 408. В побеге – нет...

– Спасибо, – все так же лениво сказал офицер и открыл дверцу «хорьха».

Только тут наш Хуан понял, что перед ним большая шишка, и, наверстывая упущенное, выкрикнул:

– Митцен ап!

Мы торопливо сдернули с бритых голов полосатые шапчонки. Офицер, явно заинтересованный, двинулся к нам. Это был высокий, хорошо сложенный мужчина лет 35–40. Румяное, чисто выбритое лицо, отливающий серебром мундир и сверкающие лаком сапоги придавали ему вид манекена, только что шагнувшего с витрины ателье для офицерского состава. Лишь глаза, спрятанные за мутными стеклами очков, выдавали какой-то интерес. Они не спеша скользили по нашим лицам, номерам и треугольникам на полосатых куртках. Петлицы мундира у офицера были расшиты золотыми дубовыми листьями, и я догадался, что перед нами лагеркомендант.

Цирайс приблизился к долговязому Хуану. Несколько секунд он вглядывался в лицо испанца, в треугольник на его груди, а потом резко спросил:

– Коммунист?

– Нет, анархист...

– Разница невелика! – сказал лагеркомендант и подошел к Хозе. Повторилась та же процедура изучения лица и треугольника. – Тоже испанец, – сказал Цирайс. – И тоже анархист?

– Нет, социалист...

Комендант перешел к Педро и, ткнув пальцем в голубой треугольник на груди испанца, прищурился и спросил:

– А ты?

– Просто рабочий, – уклончиво ответил Педро.

Цирайс направился ко мне, бросил взгляд на мой треугольник и тут же круто, на одном каблуке, повернулся к шедшему сзади дежурному по главным воротам:

– Это что такое? Почему он в этой команде? Ведь есть приказ: всех русских использовать только в каменоломне...

– Не могу знать, – бледнея и заикаясь, ответил дежурный. – Заключенных распределяют по командам арбайтенфюрер Хмелевский и лагерная канцелярия.

– Хорошо! – сказал Цирайс. – Этого завтра же направить на Верхнюю каменоломню. А сегодня вечером – выпороть! Пусть знает свое место...

Дежурный унтершарфюрер тут же записал мой номер в блокнот.

Вечером, после проверки, весь лагерь остался на плацу. Я вышел из строя, два молодых эсэсовца скрутили мне руки и бросили лицом на козлы. Засвистали бичи из бычьей кожи...

Потом, когда, еле передвигая ноги, я возвращался в строй, то случайно глянул на вышку главных ворот. Там рядом с пулеметчиком стоял Цирайс. Во всяком случае, сквозь туман, застилавший глаза, я разглядел высокую тулью офицерской фуражки и черные роговые очки.

Четверть века спустя я наткнулся в одной книге на следующие строки: «...Я часто порол заключенных для своего удовольствия».

Эти строки – из показаний Франца Цирайса.

День на день не приходится

Если стать на плацу спиной к главным воротам и повернуть голову немного вправо, то увидишь огромную гранитную скалу на вершине горы. С одной стороны скала полого опускается вниз, а с другой – обрывается, как вертикальная стена. Верхушка у нее плоская, и в

хорошую погоду отчетливо видно, как там копошатся крошечные фигурки людей.

Это Обербрух (Верхняя каменоломня) – самое страшное и самое опасное место в рабочей зоне Гузена. Команда Верхней каменоломни почти целиком обновляется каждую неделю: узники пачками погибают здесь от побоев, простуды и увечий, полученных во время работы.

Вот и меня загнали на Обербрух. Уже четвертые сутки с холодного свинцового неба льет мелкий и нудный дождь. Отдельных капель дождя почти не замечаешь, но стоит постоять на открытом месте хотя бы полчаса – ощущаешь, как тяжелеют куртка и брюки, а с полосатой шапчонки сбегает за воротник холодные струйки...

Впрочем, и летом Верхняя каменоломня – не мед. Плоская верхушка скалы раскаляется как сковорода, и тогда узники падают на камни от тепловых и солнечных ударов.

...Утром, до начала работ, на Обербрухе был произведен рассеянный взрыв. Он выбросил из гранитной толщи тысячи камней самой разной конфигурации и размеров. Теперь мы собираем эти камни, подносим к отвесной стене скалы и бросаем вниз. Там их погрузят на вагонетки и увезут в камнедробилку.

Я не столько работаю, сколько мокну и мерзну. Это действительно так. Я нахожу подходящую грудку камней, упираюсь в нее руками и стою в полусогнутом положении до тех пор, пока поблизости не появится капо или его помощник. Тогда я беру камень и иду с ним к обрыву. Камень надо выбирать с умом. Возьмешь слишком большой – не донесешь и получишь несколько ударов дубинкой от капо. Возьмешь слишком маленький – дашь капо возможность обвинить тебя в лени, а это опять-таки влечет за собой побои. Поэтому мои «любимые» камни – это осколки гранита размером в человеческую голову.

Правда, сегодня неприятности со стороны капо нам почти не угрожают. В роли нашего союзника выступает дождь, который загнал двухметрового Отто Хейдемана и его помощника, вертлявого чеха Ганзелку в будку. Над этим сооружением, напоминающим дачную уборную, вьется дымок. Отто и Ганзелка разожгли небольшую печурку и обсыхают. А мы лодырничаем самым бессовестным образом...

Все это не нравится эсэсовцу, торчащему на сторожевой вышке по

ту сторону колючей проволоки. Он, видимо, завидует капо и его помощнику, которые расположились с таким комфортом. А может быть, его раздражает наше откровенное безделье, кто знает...

Эсэсовец начинает действовать.

– Эй ты, француз! – кричит он худощавому парню, оказавшемуся в десяти–пятнадцати метрах от проволоки. – Иди сюда!

Француз оглядывается, убеждается, что окрик относится к нему, делает несколько шагов и нерешительно останавливается. Тогда эсэсовец срывает с головы пилотку, украшенную эмблемой «мертвой головы», бросает ее к подножию вышки и кричит:

– Эй, француз! Поддай мне шапку! Живо!

Француз колеблется. Эсэсовец угрожающе щелкает затвором автомата. Француз срывается с места, подбегает к пилотке, наклоняется над ней, и тут же по каменоломне прокатывается гулкий выстрел.

Парень, как надломленный, падает лицом вниз...

А из будки, на ходу натягивая свои суконные куртки, пулей вылетают Отто и Ганзелка. Они уже смекнули, что к чему, и теперь наворачивают упущенное, стремятся показать свое рвение. Град ударов обрушивается на заключенных, как собачий лай висят в воздухе хриплые выкрики:

– Живо! Живо! Бегом!

В сплошной грохот сливается треск камней, падающих вниз, темп работы все нарастает, все чаще слышны стоны и крики после особенно тяжелых ударов дубинки.

Побоище прерывает лишь появление четырех узников, принесших снизу два пятидесятилитровых термоса с баландой.

– Обед! – громко объявляет капо. Он отбрасывает в сторону черенок лопаты, который использовал в качестве дубинки, заходит в будку и возвращается со стопкой алюминиевых мисок. У котлов с баландой образуется очередь.

Получив свою порцию, я усаживаюсь на большой камень, достаю ложку и начинаю жадно хлебать варево из полугнилой брюквы. Рядом со мной садится поляк Константин Балицкий – журналист из Варшавы.

– Никогда не думал, – говорит он, – что миска свиного поила может доставить человеку столько радости. Ведь это не только еда, но

и тепло. Как приятно согреть о горячую миску руки, поддержать над ней лицо...

После обеда «филонить» нам не удается: теперь капо и его помощник поочередно наблюдают за нашей работой. Если один сидит в будке, то другой со своей неразлучной палкой шатается по всей площадке. А дождь все льет и льет...

В нашей команде работают десятка полтора евреев. Всех их три дня назад привезли из Голландии, и они еще не успели превратиться в доходяг. Евреи, в отличие от нас, быстро передвигаются по площадке и громко переговариваются между собой во время работы. Лишь один из них – высокий костлявый старик – движется медленно и степенно. Но это не от важности. Видимо, у него отобрали очки: он каждый камень, прежде чем взять, долго, как слепой, ощупывает обеими руками.

Старик время от времени останавливается и дыханием согревает посиневшие от холода пальцы. К нему подходит капо Отто:

– В чем дело? Почему ты остановился?

– Господин начальник! – вежливо, на чистом немецком языке говорит старик. – Эту работу нельзя выполнять без рукавиц. Нет ли у вас рукавиц?

– Есть, дорогой, есть! – смеется капо, решивший поразвлечься. – Идем, я тебе покажу, где они...

Он ласково обнимает старика и ведет к обрыву. Потом неожиданным толчком плеча пытается сбросить его вниз. Но старик каким-то чудом успевает задержаться на самом краю пропасти. Стоя на одной ноге, он балансирует, нелепо размахивая руками, ищет точку опоры. Но Отто с силой выбрасывает ногу, и старик летит вниз...

– Старый еврей пошел за перчатками! – громко объявляет капо. – Кому еще нужны перчатки?

Вечером мы спускаемся вниз по лестнице, состоящей из бесчисленного множества ступенек. Я не раз пытался считать их и каждый раз сбивался. Бывалые узники утверждают, что этих чертовых ступенек не меньше ста восьмидесяти.

Внизу капо командует:

– Хальт! Антретен!

Мы строимся в колонну по пять, а капо подходит к строю и тычет пальцем:

– Ты, ты, ты и ты! Возьмите это и несите в лагерь! – его палец описывает полукруг и указывает на полосато-бурый комочек, застрявший среди камней.

Да, день на день не приходится. Сегодня – всего два трупа. А бывает и в десять раз больше...

Цена жизни

Почему была назначена эта экзекуция, я до сих пор не знаю...

По лагерю ходили разные слухи. Одни утверждали, что лагерфюрер получил известие о смерти брата на Восточном фронте. Другие говорили о каком-то таинственном исчезновении группы русских заключенных. Третьи несли всякий вздор. Короче, версий и предположений было хоть отбавляй...

Но факт остается фактом: экзекуция 1943 года была самой страшной и самой кровавой из всех, которые знала история лагеря Гузен.

В тот день никто из русских не был выведен на работу. Всех нас построили на плацу. Колонну со всех сторон окружили эсэсовцы и заключенные уголовники с дубинками в руках.

Перед строем появился рапортфюрер Киллерманн – пожилой, страдающий одышкой толстяк. Фельдфебельский мундир сидел на нем как мешок. Пожалуй, ни одна уважающая себя армия не потерпела бы в своих рядах такого ходячего брюха. Но недостаток строевой выправки Киллерманн весьма усердно компенсировал необычайной свирепостью.

Киллерманн остановился перед колонной узников и объявил:

– По распоряжению лагерфюрера, для всех русских, находящихся в лагере, назначается экзекуция. Она будет продолжаться ровно месяц. Каждый русский в это время будет получать половинный паек. Никаких освобождений по болезни не допускается. Отныне русские не имеют права переступить порог лазарета. Все! Можете начинать!..

Последние слова Киллерманна относились к унтершарфюреру, на которого возлагалось руководство экзекуцией. Унтершарфюрер громко скомандовал:

– Бегом марш!

Всколыхнулись ряды, вразнобой застучали подошвы деревянных башмаков. Колонна сделала круг, второй, третий. Сначала все шло хорошо. Эсэсовцы и уголовники, расположившиеся на внешней стороне Фуга, лишь изредка пускали в ход свои дубинки. Попадало только тем, кто зазевался, споткнулся или упал...

Но уже после пятого круга, когда темп бега начал спадать, наши погонщики вошли в раж.

– Шнеллер! Шнеллер! – неслось со всех сторон.

И дубинки без перерыва молотили по тощим спинам, по бритым головам, по выпирающим из-под кожи ребрам...

А июльское солнце поднималось все выше, палило все беспощаднее. Пыль, выбиваемая из покрытого песком и гравием плаца тысячами башмаков, густым облаком висела в воздухе, набивалась в нос, щипала глаза.

В задних рядах кто-то упал и так остался лежать полосатым пятном на сером, выжженном солнцем песке. К упавшему тотчас же устремились два лагерполицая. Не скупясь на удары, они орали:

– Ауфштейн! Ауфштейн!

Но бедняга не поднялся. Тогда его отнесли в сторону, к стене пятого барака.

Экзекуция продолжалась. Выбиваясь из последних сил, люди продолжали бежать сквозь облака пыли, сквозь град сыплющихся со всех сторон ударов. Пот разъедал глаза, ходуном ходили грудные клетки, в бешеном ритме стучали сердца.

Наконец раздалась долгожданная команда:

– Шагом марш!

За ней последовала другая:

– Стой! Ложись!

Видимо, наши мучители тоже устали. Они отошли в сторону, собрались в круг, задымили сигаретами. Мы переживали величайшее блаженство. Нам казалось, что нет на свете ничего прекраснее, чем вот такая возможность лежать на земле без движений, без мыслей, без желаний...

Но спустя десять минут нас снова подняли, и мы опять побежали по кругу...

К вечеру на плацу у стенки пятого барака лежало около двухсот трупов. Это были жертвы первого дня экзекуции. А по улицам лагеря бродили еще десятки москвичей, ленинградцев, украинцев и сибиряков с окровавленными головами, перебитыми руками и сломанными ключицами. Им было запрещено даже показываться в лагерном лазарете.

В здоровом теле – здоровый дух. Казалось бы, это мудрое изречение, родившееся много веков назад, не вызывает никаких сомнений. Но лагерь решительно ломал наши представления о жизни, о ее законах. Каждый раз, когда я слышу сакраментальную фразу: «В здоровом теле – здоровый дух», я вспоминаю инженера Петрова.

Его никак нельзя было назвать богатырем: впалая грудь, ввалившиеся щеки и дряблые мускулы свидетельствовали о крайнем истощении физических сил. Да и мог ли быть силачом человек, которому перевалило на седьмой десяток...

Инженер Петров был старым русским интеллигентом. Еще в 1911 году он с отличием окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. С тех пор он все силы и знания отдавал любимому делу – строительству мостов. «Нет в России, – говорил он, – такой крупной реки, где бы я не приложил свои руки». С мнением Петрова считались крупнейшие международные авторитеты, с ним переписывались известные мостостроители разных стран.

Когда Петров попал в руки гитлеровцев, ему тут же предложили работу по специальности. Но старик наотрез отказался. Тогда его припугнули, но и это не помогло. «Я хочу умереть честным человеком», – твердо заявил он.

И вот теперь Петров изо дня в день бежит рядом со мной по пыльному плацу, увертываясь от ударов, а во время коротких передышек, стремясь сохранить силы, без движения лежит на песке. Вечером, усталые и запыленные, мы возвращаемся в барак и долго выплевываем скопившиеся в легких черные сгустки пыли. Потом я становлюсь в очередь за ужином, а старик понуро сидит на своей койке. После нескольких глотков горячего черного кофе он оживает, в его глазах появляется блеск.

– А палец срастается, – говорит Петров. – Он обязательно должен срастись...

Я молча киваю. Речь идет о мизинце...

Еще в первый день экзекуции один из эсэсовцев пытался ударить старика дубинкой по голове. Но Петров резко выбросил вверх правую руку, и удар пришелся по мизинцу. Палец хрустнул и повис на дряблой коже.

Петров нашел где-то две щепочки, оторвал полоску от своей рубахи и смастерил самодельную шину. Теперь каждый вечер он проверяет, как срастается кость.

– Я должен выжить, – любит повторять упрямый старик. – Я не боюсь смерти, но я должен остаться в живых. Я должен рассказать людям о том, что творилось за стенами гитлеровских лагерей. После этого я умру спокойно...

Настает утро. Мы снова выходим на плац. Снова бешеная гонка и пыль, жара и побои. И так изо дня в день – целый месяц.

К последнему дню экзекуции нас осталось четыреста тридцать два человека. А было тысяча семьсот с лишним.

Нас осталось бы гораздо меньше, если бы нам в эти трудные дни не помогали узники других национальностей. Поляки и испанцы, чехи и французы, немцы и югославы отрывали от себя часть скудного лагерного пайка, щедро делились посылками, полученными из дому.

А как самоотверженно вели себя заключенные, работавшие в лагерном лазарете! Они сами приходили в бараки, отыскивали раненых русских и тайком делали им перевязки и компрессы. Любой эсэсовец, заставший врача-заключенного у больного, имел право расстрелять его на месте. Таков был приказ начальника лагеря...

Начальник лагеря рассчитывал в течение месяца уничтожить всех русских. Но не вышло! Правда, победа досталась нам слишком дорогой ценой...

Нет в живых сотен молодых парней, нет в живых многих старых, умудренных опытом лагерников. И все же рядом со мной в одном строю по-прежнему стоит маленький сухонький инженер Петров. Он похудел настолько, что кажется прозрачным, но его глаза все так же полны огня, мужества и решимости.

– Ахтунг!

Со стороны ворот к нашей колонне приближается лагерфюрер Зайдлер. На нем отлично отутюженный мундир, кавалерийские брю-

ки с лямками и блестящие сапоги. На руках лайковые перчатки. Летний августовский ветерок доносит до нас запах крепких духов.

– Живет же, собака! – шепчет кто-то сзади.

Унтершарфюрер, проводивший экзекуцию, идет навстречу Зайдлеру, останавливается от него в трех шагах и, как семафор, выбрасывает вверх правую руку.

– Господин штурмбанфюрер! – докладывает он. – Срок экзекуции истек. Осталось четыреста тридцать два заключенных. Больных и в побеге нет.

Зайдлер лениво, по-кошачьи, щурит глаза.

– Спасибо! Четыре сотни оставим на развод. А насчет остальных тридцати двух побеспокойтесь сами. Не желаю их видеть на вечерней поверке. Отберите всех «мусульман»...

Похлопывая перчаткой по ладони, Зайдлер, не торопясь, уходит к воротам.

«Мусульманами» в лагере зовут тех, кто уже потерял способность передвигаться, дошел до последней степени истощения. Поэтому слова коменданта вызывают у каждого из нас тревогу. Ведь в данный момент каждый стоящий в строю с успехом может сойти за «мусульманина».

Но унтершарфюреру, видимо, уже надоело возиться с нами. Целый месяц он не выпускал из рук оглобли и теперь хочет отдохнуть.

– Ван-Лозен! – кричит он.

От группы уголовников – капо и старост, стоящих в стороне, отделяется человек, напоминающий гориллу. Кисти его рук болтаются возле колен, низкий покатый лоб злобно нависает над маленькими глазками. Это капо лагерной команды Ван-Лозен – садист по натуре, палач по призванию и аристократ по происхождению.

– Ты слышал, что сказал лагерфюрер? – спрашивает унтершарфюрер.

– Так точно!

– Тогда делай. Только не перестарайся. Ровно тридцать два. Понял?

– Так точно.

Унтершарфюрер уходит, а Ван-Лозен бесшумным шагом движется вдоль рядов. Вот поравнялся со мной и сверлит меня взглядом. Я

чувствую, как мурашки ползут у меня по спине, как сохнет во рту. Но, кажется, пронесло! Ван-Лозен идет дальше. Выводит из рядов одного человека, другого. Услужливые лагерполицаи помогают ему отделить смертников. Дойдя до левого фланга, капо неожиданно возвращается назад.

– Пересчитайте, – просит он полицаев.

Те пересчитывают:

– Тридцать один!

– Значит, нужен еще один, – рассуждает вслух Ван-Лозен и опять идет вдоль рядов. Его выбор пал на Петрова. Уж очень неприглядно, очень жалко выглядит телесная оболочка этой замечательной души!

Петров торопливо сует мне руку и говорит:

– Прощай! Адрес мой помнишь?

Но Ван-Лозен не дает мне ответить. Схватив старика за ворот куртки, он вышвыривает его из рядов. Петров падает, но тут же встает. Он бросает на капо презрительный взгляд и громко говорит по-немецки:

– А еще дворянин!.. Палач!..

Тридцать два кандидата на тот свет, подгоняемые капо и лагерполицаями, уходят в сторону прачечной. Многие из них не знают немецкого языка и не догадываются, что их ждет. Другие догадываются, но воля к жизни покинула их. Им теперь все равно. И только инженер Петров, маленький и сухой, шагает, гордо подняв голову. Он кажется на голову выше всех остальных.

В прачечной, куда загоняют обреченных, Ван-Лозен вооружается тяжелым четырехкилограммовым молотком. Один из лагерполицаяв наполняет водой пустую сорокаведерную бочку.

Ван-Лозен окидывает узников взглядом и спрашивает:

– Тут кто-то распространялся насчет дворянства. Где он?

Петров делает шаг вперед.

– Иди сюда...

Петров подходит к бочке. Ван-Лозен с силой бьет его молотком по голове и тут же подхватывает падающее тело. Ухватив оглушенного ударом старика за ворот, Ван-Лозен опускает его головой в бочку. Через несколько секунд на поверхности воды появляются пузыри. Тогда Ван-Лозен отшвыривает труп в сторону и громко объявляет:

– Следующий!

...После вечерней поверки лагерфюрер подзывает к себе Ван-Лозена и вручает ему синий талончик. Бывший дворянин сияет от удовольствия: за свое усердие он получил пропуск в лагерный бордель.

Половинка яблока

У моего соседа по бараку француза Жана Перкена очень обманчивая внешность. Всем своим обликом он напоминает угловатую и застенчивую девочку-подростка. Невысокий рост, узкие плечи, матово-бледный цвет лица и большие серые с поволокой глаза придают ему какую-то воздушность и хрупкость. В полосатом лагерном тряпье Жан выглядит и жалко и смешно. Никак не отделаешься от мысли, что перед тобой благовоспитанный гимназист, потехи ради напяливший на себя лохмотья...

Каждый, кто видит Жана первый раз, с трудом верит, что он капитан французской армии, известный летчик-истребитель и кавалер ордена Почетного легиона.

Единственное, что выдает Жана, – это руки. Они покрыты глубокими багрово-красными шрамами. Говорят, что Жан не выпускал из рук штурвала до тех пор, пока его товарищ не выпрыгнул из горящего самолета.

И в это можно поверить.

Однажды Жана остановил подвыпивший эсэсовец:

– Эй, француз! Иди сюда!..

Жан подошел.

Эсэсовец решил похвастаться:

– А я был во Франции... В Париже...

Жан промолчал.

Тогда эсэсовец добавил:

– Французы любят пожрать...

Жан вспыхнул, но сдержал себя и тихо сказал:

– Французы не жрут, а едят...

– Нет, жрут!

– Нет, едят!

– Нет, жрут!

– Нет, едят!

Тогда верзила, весивший вдвое больше Жана, одним ударом кулака сбил его с ног. Жан поднялся, выплюнул кровь и снова сказал:

– Нет, едят!

Гитлеровец пришел в ярость. И неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы над лагерем не завывала сирена. Услышав сигнал воздушной тревоги, эсэсовец втянул голову в плечи и затрусил к лагерным воротам.

Сегодня Жан очень доволен. Пусть он промок до нитки, пусть ему уже несколько раз попало от капо, он все равно улыбается.

Еще бы! Сегодня утром писарь барака – горбатый и юркий поляк – сказал Жану:

– Тебе пришла посылка. Из Франции. Вечером отпросишься у старосты барака и сходишь на лагерную почту. Понял?

– Понял!..

Ужинать Жан не стал. На радостях он сунул свою пайку хлеба и кусок колбасы первому попавшемуся соотечественнику и поспешил к старосте барака.

– Ну что ж, иди! Надеюсь, что ты не будешь жадничать... Сам бог велел делиться...

– О, конечно! Конечно!.. – согласился Жан.

И вот Жан стоит у двери, на которой висит табличка с надписью «Poststelle». Это лагерная почта. Тут же, дожидаясь раздачи посылок, толкуются десятка два заключенных. Среди них три-четыре чеха и несколько поляков. Большинство составляют французы.

Дождь не перестает ни на минуту. Промокшие насквозь люди, пытаясь укрыться от дождя и ветра, жмутся к стенам. Но это им не удается. Откормленные лагерполицай, щелкая длинными бичами, отгоняют их от стен:

– Соблюдайте очередь! Из очереди не выходить!..

Наконец толпа, стоящая у входа на почту, приходит в движение. Счастливики один за другим входят в помещение почты и спустя несколько минут покидают ее с посылками в руках.

Наступает очередь Жана. Он с каким-то неясным предчувствием тревоги переступает порог небольшой, ярко освещенной комнаты. В комнате трое. За столом, по-рачьи выпучив глаза, сидит страдающий одышкой толстяк в унтер-офицерском мундире. Это рапортфюрер

Киллерманн, в обязанности которого входит проверка содержимого посылки.

Рядом стоит сухощавый черноволосый человек в гороховом мундире, украшенном красной повязкой со свастикой. Человек в форме СА – руководитель местной организации НСДАП, по совместительству исполняющий обязанности почтмейстера. В углу над грудой посылок суетится заключенный – помощник почтмейстера и пройдоха из пройдох.

Жан еле успевает разглядеть эту картину, как рапортфюрер рывкает:

– Фамилия? Номер?

Жан отвечает. Уголовник, орудуя в углу, ловко выхватывает из груды нужную посылку, вскрывает ее, поднимает над столом и переворачивает. На стол сыплются пачки галет, плитки шоколада, банка каких-то овощных консервов, яблоки и пара летних кожаных перчаток. Несколько яблок скатываются под стол.

Рапортфюрер быстрым взглядом окидывает стол и протягивает руку к перчаткам. Он пытается натянуть их на свои пухлые руки, но ничего не получается. Однако это не смущает господина обершарфюрера.

– Запрещенное вложение! – громко объявляет он и прячет перчатки в карман шинели.

В разгром посылки включается почтмейстер. Жадно блеснув глазами, он почти кричит:

– Шоколад! Реквизируется для раненых солдат!

Две плитки шоколада исчезают в разбухших карманах почтмейстера.

Тем временем юркий уголовник незаметно сбрасывает на пол пачку галет. Жан невольно делает шаг вперед.

– Куда ты? – орет уголовник. – Назад!

– Забирай свое дерьмо и убирайся, – вторит ему рапортфюрер. – Живо!

Жан стряхивает в картонную коробку остатки разграбленной посылки и идет к выходу.

Дождь по-прежнему сечет стены и крыши бараков. Сквозь сетку дождя тускло мерцают окна бараков да красными светлячками горят

сигнальные фонари ограждения. От стены отделяется огромная фигура. Двухметровый лагерполицай подходит к Жану. Он поигрывает лицом, но голос его звучит заискивающе:

– Может быть, тебя проводить, француз?

Жан на секунду представляет себе, как верзила запускает в коробку свои громадные волосатые руки, и в ужасе говорит:

– Нет, нет! Пожалуйста, не надо!..

– Ну, как знаешь! – лениво бросает ему вдогонку полицай. – Только, смотри, пожалеешь...

Но Жан уже ничего не слышит. Осторожно ступая по мокрой мостовой, он нежно, как ребенка, несет посылку. Теперь он наверняка продержится еще недели две. А там, может быть, и война кончится. Молодец все же мама. Конечно, жаль перчаток. Он покупал их перед войной, в магазине на Елисейских полях...

В этот момент что-то полосатое резко бросается под ноги Жану. Сильный толчок в спину опрокидывает его лицом в землю. Жан выпускает посылку из рук.

Когда он встает, то вдали отчетливо слышен топот деревянных башмаков. На земле лежат два яблока. Это все, что осталось от посылки.

Жан подбирает яблоки. Одно он машинально сует в карман, другое – за пазуху.

А у входа в барак его уже ждет староста Зепп.

– Где посылка? – грубо спрашивает он.

– У меня ее отняли...

– Кто?

– Не знаю...

– Врешь, лягушатник! Наверное, рассовал по карманам...

И Зепп начинает самым бесцеремонным образом обшаривать карманы Жана. Найдя яблоко, он тут же надкусывает его. А Жан стоит. Жан ждет...

– Растяпа! Идиот! – неожиданно кричит староста. – Иди спать! Видал я идиотов, но таких...

Отбой. В бараке темно. Барак спит. Только Жан все что-то ворочается и вздыхает. Временами мне кажется, что он всхлипывает,

– Ты плачешь? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает он. – У тебя есть ложка-нож?

Ложка-нож – это ложка, заточенная так, чтобы можно было резать хлеб. Я протягиваю ложку в темноту. Жан берет ее, долго сопит, ворочается, потом говорит:

– На, возьми...

У меня в руке половинка яблока...

Юнна Мориц

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Да что вы знаете про нервную нагрузку?..
Противогаз. Воздушная тревога.
Бомбоубежище. Сосёт младенец блузку,
Нет молока, но в блузке есть немного.

Бинты кончаются. Кончаются носилки.
Наркоз для раненых – бутылки русской водки.
Особо ценятся окурки и обмылки,
А также ватники и толстые подмётки.

Мы отступаем, но за нами – Чувство Дома,
И страшной силой обладает это чувство,
Оно и есть военное искусство!
А без него – страна пылает, как солома.

Я в первом классе, шьём кисеты для махорки,
Они на фронте приближают час победный.
Победа курит, нет в её подкорке
Сейчасных надписей про табачок зловерный.

Победа курит, не давая спуску
Жестокой битве дьявола и Бога.
Бомбоубежище. Сосёт младенец блузку,
Нет молока, но в блузке есть немного.

Мы победим, за нами – Чувство Дома,
И страшной силой обладает это чувство,
Оно и есть военное искусство!
А без него – страна пылает, как солома.

...Без Чувства Дома – нет Победы, есть убийство.

III. ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Игорь Волгин

Александру Межирову

Октябрь сорок первого года
Патруль по Арбату идет.
И нет на вокзалы прохода.
И немец стоит у ворот.

И прусский полковник у Химок,
сглотив торжествующий вопль,
как будто бы делая снимок,
навел на столицу бинокль.

А что же столица? Столица
глядит тяжело и темно,
как будто всех жителей лица
столица сплотила в одно.

Бредут от застав погорельцы,
в метро голоса малыши,
и вбиты железные рельсы
крест-накрест во все рубежи.

Нестройно поет ополчение,
соседи дежурят в черед,
и странное в небе свечение
заснуть никому не дает.

...Но, смену всемирных коллизий
приблизив незримой рукой,
пехота сибирских дивизий
грядет, как судьба, по Тверской.

Но знает у ржевского леса
стоящая насмерть родня,
что в доме напротив МОГЭСа
к зиме ожидают меня.

Меня прикрывает столица,
меня накрывает беда.
И срок мой приходит – родиться
теперь – иль уже никогда.

Бьют пушки, колеблются своды –
и время являться на свет!
Октябрь сорок первого года.
Назад отступления нет.

Людмила Петрушевская

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ИЗ «МЕТРОПОЛЯ»

Главы из повести

Начало войны

А начало бесперебойной череды событий, отложившихся в памяти, следует отнести к 1941 году, к началу войны. Мама меня несла в бомбоубежище, вниз в метро «Площадь Свердлова» ночью, и было очень весело, над головами творилось что-то праздничное, как при салюте: лучи прожекторов, белые столбы света, сходясь шатром, двигались и перекрещивались в темном небе (на самом деле шарили в поисках самолетов).

Я не хотела спускаться под землю, все задирала голову (я помню, как тянула шею), радовалась и требовала стоять. Но пришлось уйти вниз. Мы ночевали на станции метро, там, в туннелях были уложены щиты. Мама несла с собой постоянную сумку с подстилкой. Мы располагались на твердых досках. Виднелась черная арка туннеля. Это было приключение!

В октябре 1941 года мы на товарняке уехали с Дедей, с моей мамой Люлей, с бабой Валею и моей тетей Вавой в эвакуацию в город Куйбышев (теперь это Самара).

По словам моей тетушки Веры Николаевны Яковлевой (ей сейчас, в 2005 году, 91 год), всех отправляли из Москвы в эвакуацию очень настойчиво, особенно стариков и детей. Моя тетя поехала на вокзал, где уже находился приготовленный эшелон. Вышла на перрон, посмотрела. Там на сцепленных открытых платформах стояли новенькие троллейбусы. И сзади один грязный товарный вагон с раздвижной дверью. В нем на полу толстым слоем лежал какой-то порошок, мо-

жет быть, мел. Тетушка Вава поняла, что в новенький троллейбус нас, членов семьи врагов народа, не посадят, и начала убирать в вагоне, сгребать порошок. На следующий день они пришли вместе с моей мамой Валентиной, уже вооруженные фанерками. Много часов сгребали мел. И когда все было чисто, привезли нас – Дедю, меня и мою бабушку Валою плюс скарб, главное, в котором были одеяла. Стояли холода, был конец октября, начало морозов 1941 года. Наша семья постелила одеяло, закуталась в другие и просидела несколько суток на вокзале в таком состоянии. Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком шести лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку (хотя она тоже была ледяная).

Но нам повезло с ним – на первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для паровоза. И добился печурки. На остановках взрослые прыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно, к тому же на печке, рядом с трубой, кипели два чайника

Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты вдруг чиркает спичка, зажигается огонек, вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для спанья, пальто чтобы укрыться – это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышкой – и жизнь начинается! Начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни, свой дом.

Моя родина мала

Света свечки круг

В этом круге край стола

Вереница рук

Крошки хлебушка для птиц

Чай для стариков

Вереница детских лиц

Во веки веков

Я помню, что все время сидела у Деди на руках, внутри его волчьей шубы-дохи с шелковой подкладкой (узор на шелке был восточный, полосчатый) и смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь глядеть часами. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Деда же из-за меня существовал на манер беременного кенгуру и выпускал меня только побегать.

Ночами поезд останавливался в степи. Пропускали военные эшелоны, идущие к Москве. Это ехали на фронт могучие сибирские полки в тулупах и с оружием, подкрепление. Свои, московское ополчение, не имели ни винтовок, ни теплой одежды, шинельки им выдали, на том конец, и интеллигенты, работяги, школьники, мелкие служащие массово гибли на бывших дачных рубежах. Начальству было не до них. В ноябре уже все замерзло, шел снег. Лютая зима приблизилась.

Меня иногда спускали из вагона далеко вниз, в сугробы, погулять на воздух и по естественным надобностям. Я помню, как мама, пользуясь новой обстановкой, дает мне из руки «пирожино» – какой-то кусочек булки. Видимо, я плохо ела. Но тут, глядя в белые пространства под черным небом, я забеспокоилась, как бы предчувствуя будущее, и подобрала все «пирожино» с маминой руки. Всех заботило, что у меня начался туберкулез. Недавно у Деди от чахотки умер сын Люсик (меня в честь него назвали Люсик, так-то мое имя было Долорес, присвоено в честь очень популярной тогда Долорес Ибаррури, испанской революционерки, бежавшей в СССР. Нашли, как назвать, «Долорес» означает «страдание»).

Семейные обстоятельства

У моего отца-студента с юности была открытая форма туберкулеза. Я уже упоминала, что многие из его семьи в селе Верхние Рогачики тоже болели, кто-то уже умер. Он, поселившись у мамы в «Метрополе», может быть, и не стал проверяться у врачей. А когда мама, уже беременная мною, стала кашлять кровью, всю семью обследовали. Далеко зашедший туберкулез нашли у Стефана. Моего бедного будущего отца положили в больницу, в доме все облили дезинфекцией

и запретили вытирать лужи. Бабушка похлопотала, чтобы ему сделали операцию, так называемый пневмоторакс. Операцию произвели успешно, Стефан Антонович прожил долгую плодотворную жизнь. Но тогда мой будущий отец обиделся, что его заподозрили в обмане, в сокрытии болезни, причем обиделся, видимо, на всю жизнь.

Ну что же, вся Москва перед войной болела ТБЦ. Заразиться можно было везде. Из лекарств был стрептоцид. Я почему-то помню, что он был белый и красный. Красным стрептоцитом (так произносилось) женщины красили волосы. За Вавой ухаживал тоже туберкулезный мальчик, и у Люли нашелся преданный друг Володя, находящийся в последней стадии ТБЦ. На собрании в ИФЛИ, в Институте философии, литературы и истории, где обсуждали мою беременную маму, «че эс», члена семьи врагов народа (и меня вместе с ней, мы всюду были неразлучны, в том числе и на допросе на Лубянке) – и где Стефан сделал публичное заявление, что он отказывается от связи с «че эс», этот Володя вдруг выступил и сказал, что тогда он готов жениться на Яковлевой. После собрания, однако, мой будущий папа быстро на нас с мамой женился. Как заметила мама, «его забрало за живое на счет Володи».

Однако мои родители вскоре расстались.

О, эти семейные тайны, о, непрощенные обиды! Эти письма, заявления! Замужества и женитьбы, разводы, разъезды, о, это молчание длиной в жизнь! О, нищие деньги, о, переполненные, перегороженные на клетушки квартиры, все эти эвакуации и проблемы возвращения, эти прописки, углы, квадратные метры! Эти в каждой семье возникающие беременности девочек-школьниц... О, еще большие тайны – рожденные и не взятые матерью, оставленные где-то дети... Брошенные семьей сироты, покинутые старики...

Эти сплетенные ветвями деревья должны были страшно страдать, когда ломались сучья – не говоря о горестях новых побегов, отрубленных от родительского ствола, лишенных подпорки. Маленькие деревца, оставленные на произвол судьбы... Засохшие старые пни.

Ни слова больше...

Куйбышев

На одной станции Деда вынул меня из своей дохи, передал женщинам, сошел на перрон и исчез – а это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице (он в гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в Туркестане, работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором «Чапаева»). Так что мы приехали к уже получившему жилье Деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гарнизона идут квартирьеры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати одна за другой и маленький столик. Я спала у Деда под мышкой, а Баба с дочерьми ютились втроем на койке и приставных стульях.

Деда, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой (миска воды и кусок полотна), а также делал гимнастику по системе Мюллера. Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывалась контузия после взрыва в Московском комитете партии.

В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство. Туда вывезли также Большой театр и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама, сколачивать ящики в тарном цехе, а Ваву зачислили туда же, как инженера с незаконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшная, надо сказать, была вещь! Я ее почему-то прекрасно помню, видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось скитаться. Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести. Скорее ужас. Мама написала об этой картине целый очерк.

Деде затем дали две смежно-изолированные комнаты в гарнизонном доме около Окружного дома офицеров, угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то, что его дети были расстреляны, деда в партии почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее

нормально, я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у Деда, он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу «хлеб с хлебом не едят», когда я к вермишели попросила еще и хлебушка. Но когда Деда уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС, Институт театрального искусства, она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в ИФЛИ, находясь в так называемом декрете, т. е. в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена, во всяком случае, неизвестно на что надеясь, мама послала в ГИТИС свои документы, сообщив, что закончила четыре курса литфака. Она скрыла тогда правду о родственниках – врагах народа (она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до XX съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегала слова «репрессии»). Когда она уже лежала последний год, я сказала: «Давай что-нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как бы отбрасывая что-то).

Но все-таки хорошее было, вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не знаю, как относились к ее планам Баба и Вава, спрашивать сейчас об этом у старенькой тетки неудобно.

Я знаю, что мама тогда часто плакала.

Она уехала случайно, в одном сарафане, машинисты ее взяли на паровоз, т. к. билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, которое она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата, ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так: по дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть (как всегда) на московский поезд под парами, подошла к паровозу, как обычно попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да, я думаю, она и боялась возвращаться.

И я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю...

Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве на заводе в тарном цехе? На всю жизнь остаться без диплома?

А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву даже с нашей соседкой по куйбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге.

* * *

Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре и нашла свою квартиру, а в ней древнюю, ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я рассказала ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы, бабушка получила орден, квартиру в Москве и кремлевский паек, мою маму мы схоронили, а вот Вава как персональный пенсионер живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что по моим сведениям мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль (в присутствии соседей) торжественно возразила, что вообще во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты, уносить с кухни от нас. «Конечно, ведь мы голодали, а мне было пять лет, кормить было нечем», – подтвердила я и вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседок глаза на лоб вылезли – как это так, не покормить голодающего ребенка! Рахиль как могла быстро убралась к себе, бедная, немощная старуха.

* * *

Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, угваривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы и сестры, сестра работает, девочка в детском саду. Ничего, проживут. Надо получать образование и потом забирать ребенка.

Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел! В Москву, в Москву! Ей было 27 лет.

Приехав к своему отцу Николаю Феофановичу Яковлеву в его двенадцатиметровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкапами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в Куйбышев письмо и денежный перевод, добилась алиментов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем, она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель.

Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без большой радости. Ее имя не упоминалось больше. Однако столько уже было в их жизни потерь... Тогда ведь обычно как бывало – люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда.

Но я маму ждала упорно и непрерывно.

* * *

Я встретила с ней только через четыре года.

Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. Она всю жизнь оправдывалась передо мной, бедная.

Куйбышев. Способы существования

Так вот, мы остались в Куйбышеве втроем, я бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. Ваву как «че эс» уволили с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах.

Жили мы на то, что присылала мама – на алименты от моего отца Стефана Антоновича, молодого философа.

В войну все было по карточкам. Карточки у нас с Бабой и Вавой были одна детская и две иждивенческие. На них мы покупали черный хлеб, при этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказывался «выбран»...

Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах, очередь в хлебную лавку, к тяжелой, замороженной двери.

Наконец мы оказывались внутри, в тепле, в тесной толпе, каждый, прижавшись к впереди-стоящему, чтобы его не потерять. Формула «кто последний, я за вами» – это было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой, и ни в коем случае не отликая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, ты получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого! Тогда из очереди отходить не полагалось.

В магазинчике крепко, до головокружения, пахло вкуснейшим черным хлебом, от этого запаха ломило в челюстях и сосало под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая продвигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетапывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась.

Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы: имитируя шаг и оставаясь на месте.

Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного, и продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный «довесок», так что железная чашка, на которой стояла буханка, под ударом резко опускалась – и тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же.

Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отщипывая из-под подушки. Потом тетя и Баба скармливали мне свои порции...

Когда я спрашиваю Ваву, как же мы выжили, она пожимает плечами и улыбается довольно растерянно: «Не знаю».

В садик я ходила какое-то время, там детский народ жил своей жизнью, мы тайно ели клей, прошел слух, что он «вишневый», мы запускали в баночку пальцы и их облизывали, когда мастерили бумажные самолечки в отсутствие воспитательниц. А также мы дружно считали, что в коридоре живет Баба-яга, поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол (так сказала нам нянечка). Было и еще одно правило: глядя на пролетающие самолечки, мои товарищи малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте и якобы летел в этот момент над нами. И гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то

пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала, мужчин на фронте у нас не было (Женя, ее любимый дядя, был посажен, муж ее тетки тоже, мой ушедший из семьи отец как туберкулезник в счет не шел). Но все-таки Вава наскребла два имени. Я стала тоже, как все, говорить гордо и звонко: «Вон летят мои Сережа и Володя». Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки, а зато Сережа был мой собственный сводный дедушка! Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось.

(Спустя почти шестьдесят лет я с ним познакомилась, когда мы все, потомки, праздновали в гостинице «Метрополь» 140-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа – последний сынок Деди, рожденный в пятьдесят с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком.)

Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую Бабу-ягу, но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору как ненормальные, толкались, орали, махали кулаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума! В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилось (видимо, за счет снежной ночи) высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки на этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень, черная как бы обезьяна, она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сиганула куда-то вбок совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. Это и была Баба-яга! Я догадалась. Ужас был у меня на всю детскую жизнь. Нянечка была права, что нельзя выходить в коридор.

(Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте, этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник.)

И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный, о встрече с ним скажу позже.

Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые...

Потом уже нечем было платить и не во что меня обути, и я осталась без детского садика.

Обувь для северных бедняков самое главное. А лапти в городах не плетут.

С апреля по октябрь было хорошо – я босиком бегала на воле. От снега до снега.

О туберкулезе уже речь не шла, у меня и соплей-то не бывало.

Как меня спасли

Нас был целый табун детей, мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать, да это и не нужно было, плещись, сколько хочешь на мелком берегу, он полого уходил под воду.

Но когда однажды пришла весна, и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось, я чуть не утонула.

В мае Волга разлилась до размеров моря, наш низкий берег затопило, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить, пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли, берег как берег, но не пологий, вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку и опустила ноги с этой ступени, но не достала до воды. А хотелось по ней побродить, как я делала это на своем берегу.

Спрыгнула туда и мгновенно ушла в глубину, как ослепла и оглохла, утонула.

Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости, замечала бурные, кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхали перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая. Достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день, воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вдохнуть – и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху как скрюченного человечка, опускающегося лицом вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающий эмбрион, если бы знала тогда это слово. Опять оттолкнулась от дна. Снова пошла наверх, но уже не решилась поднять голову, болталась спиной вверх, бессильно глядя вниз, в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть – проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз. Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воз-

духу. Сердце колотилось, в голове громко стучало. Уши наполнились шумящей водой. И вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень, что-то маячило наверху там, где было светло, что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли... Я мигом вытянула руку, схватилась за это – и как пробка вылетела наружу!

Оказалось, что молодая женщина вышла по воду к реке с ведрами и коромыслом, и она заметила, что там внизу барахтается, она подумала, собачонка. Она захотела подцепить ее коромыслом – и тут выснулась детская рука! Тетя даже испугалась и отшатнулась. Но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой!

А моя подруга, как только увидела, что я утонула и не показываюсь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара под кровать.

Потом я, трясаясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана, огольцы, ходила вокруг домика и гнусно хихикала по моему поводу – гля, голая. Мокрый сарафан прилип к телу... Что там мне было, семь или восемь лет, но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора – это почти шариаат!

Имелось и еще одно обстоятельство – как у каждого голодающего ребенка, при полном истощении, ножки и ручки спички, у меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем: «Смотри, девка беременная». Я поверила сразу! Я не знала, отчего это бывает, сколько времени длится и чем заканчивается, но я знала, что это позор и моя тайна, и только молилась своему Богу, Боженька, помилуй. Боженька, помилуй. Спаси. Молить я не знала.

Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает, ужас. Или змея, или ребенок!

Некоторые американские ужастики типа «Чужого» наверняка сочинены были еще в детстве.

Мы сели на обратный паром, наступал вечер, и я еще долго пыталась высохнуть, стуча зубами, в парке – домой в мокром идти было нельзя, догадаются. (Это при том, что родные меня никогда не наказывали! Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось).

Цирк Дурова

Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось Струковский сад. Вечерами и днем в воскресенье на эстраде играл оркестр.

Парк был огромный, заросший как лес, он спускался к Волге аллеями и склонами. Мы искали в траве и ели «баранчики» – такие шишечки, зеленые мелкие лепешки. Возможно, это была единственная пища детей за день. Ели также цветы акации, кислицу и щавель. Ягоды там не водились.

Когда раскинул свой шатер цирк-шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала! Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах, через широкие двери шапито. Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь. Но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себе под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках. Важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих, это тоже мне удалось, необходимо было сесть подальше, рядом со взрослыми и вступить с ними в беседу. Как будто я их родная лохматая дочь.

Я увидела знаменитый номер Дурова со слоном! На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек, садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил! Слон ставил его на тумбочку. Потом он ложился боком. Играла медленная музыка. Но слоновья туша тут же начинала бугриться, взмахивали передние толстые копыта, слон медленно вставал (Дуров, правда, подбадривал его палочкой). Дальше в дело шел хобот, слон поднимал и откладывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник! Клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался! Стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку.

Еще были обезьянки. Одна, в костюмчике, читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорей листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась и почесывалась.

Всеми своими хаотическими движениями она напоминала голодного вшивого мальчишку.

Или голодную девчонку.

В поисках еды

Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячие щенята. Однажды я забралась в кабину фырчащего грузовика и отогнула полочку, висящую над передним стеклом. И там неожиданно нашлись три рубля! Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала: «Там, над стеклом!»

Все тут же полезли смотреть, ничего не нашли.

Я стояла как победитель!

Конечно, деньги у меня отобрали известным способом: «А ну покажь!» – «Да не буду!!!» – «Ля! Ничего у тебя нету! Покажь!» – «Не покажу!» – «А в морду?» – «Оставьте меня в покое вообще, дураки!» – «Огольцы, у ней нету ниче, у падлы бляцкой!» – «Нету, да? Нету? А на! Вот, смотри!» (Деньги на раскрытой ладони.) Хлоп снизу по руке! (Деньги падают, исчезают.)

Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, «на зимние квартиры» к бабушке и тетке. В холода босиком не побегаешь. Валенки не было, одежды не было никакой. Еды тоже.

В школу я не ходила.

Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями – по Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось!

(Когда моему сыну Кирюше исполнилось два годика, мне удалось купить ему и его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми пуговицами! Тогда трудно было что-нибудь достать, это были простенькие байковые с начесом одежды, но я была почему-то так счастлива, когда их купила!)

Вава приносила от столовой Дома офицеров картофельные очистки – их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку, без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи...

Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас на пускали.

Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате Деди поселился майор, у которого имелся патефон и одна пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена «Заздравную» («Выпьем, ей-богу, еще») и арию из оперетты «Сильва» («Красотки, красотки, красотки кабаре»). В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то Баба звала красивым именем Фурия. У нее были две дочери постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже железнодорожное начальство.

Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было. Там же лежал топор. Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали, она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей не повадно было ходить туда. Слава Богу, что удар прошел по касательной. Вава вызвала «скорую», врач забинтовал бабушкину седую голову (единственное, что на ней было белое за все пятнадцать лет, которые мои родные провели в Куйбышеве). Они, разумеется, никуда не пожаловались. Имя того начальника было Кретин, так я его и запомнила. А вся семья называлась «рвачи».

Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, зеленые капустные листья. Горелых хлебных корок почти не имелось.

Но это надо было тоже добыть, избежавши позора и ругани! Т.е. когда соседи спали.

Если удавалось достать керосин, Баба варила суп!

Куклы

Однажды наступил обычный момент, когда квартира угомонилась, дело шло к ночи. Голод уже полностью сожрал наши кишки, и, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром.

Помня о топоре, я прокралась на кухню.

У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные тряпичные куклы без платьев.

Их явно выкинули дети нашей соседки, Фурии Яковлевны.

Куклы были с головами из папье-маше, без волос, с облупленными носами, туловища, руки и ноги тряпичные.

У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлулоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом: нарисовала ему глаз. Конь показался мне ненастоящим. И я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолка.

А тут две такие огромные красавицы!

Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки: они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость, и если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать все! Их всюду носят с собой, крепко до зверства прижимая к груди, их насильно кормят, приговаривая «ам!», и могут оставить навсегда с замурзанным, засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови, и краску с губ. Срезать волосы. И потом способны жалеть и любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле (только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке). С куклой можно делать все! Играть с ней даже во врача, чтобы, глотая слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки мальчишкам! Они ее разорррвут!

Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом.

Но тут я как замерла. Я ничего не могла с собой поделывать. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платья и где найти лоскутики, я не смела даже думать, куда их положу и какую жизнь мы могли бы прожить вместе!

Эти две огромные куклы стали первыми моими божествами. Я сразу начала по ним тосковать. Нам предстояло разлучиться. Я встала на колени, усадила их, положила их набитые ватой бедные грязные руки как следует. Эти гигантши постепенно занимали свое место в

моей душе, уплотняли ее, наполняли (так ребенок наполняет душу, грудь и брюхо матери, если прижать его). Я попеременно обнимала их. Потом я взяла их на руки, прильнула к ним и замерла. Они были огромные, прекрасные и покорные.

Не помню, сколько это все длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. Перед школой в кухню заглянула Рахиль, деловая женщина, и вскоре вышли обе девочки, мстительно взяли своих кукол и уплыли.

Победа

Теперь про счастье, про Ночь Победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения, и потом все радостно повторяли эту непонятную формулу – «безоговорочная капитуляция». В четыре часа утра меня разбудил шум на улице, как будто бежала и бормотала, что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Было еще темно (часов у нас не имелось, но почему я думаю, что это было в четыре – в пятом часу уже начинался рассвет).

Я вскочила и как была, в сарафанчике и босая, убежала на улицу, где и носилась целый день. Качали военных, остервенело подбрасывали даже наших бездельников из Окружного дома офицеров, осторожно качали раненых из госпиталей, везде играли патефоны, гармошки и балалайки, в Струковском саду были танцы, у входа продавали подснежники.

Начиналась новая жизнь, и наступал великий голод послевоенных лет.

ОДО

Я все больше отбивалась от дома.

В первый раз я убежала летом уже в более-менее сознательном возрасте, лет в семь. Видимо, после Дня Победы.

В начале июня я провела несколько дней на свободе. Ночевала не на улице, не в Струковском саду под эстрадой, где видела пролом в досках и черную, заплесневелую землю, от которой несло сыростью

и застарелым людским навозом, там уже все было изгажено (днем я кружила, искала себе пристанище на ночь). А нашла я место ночевки в кабинете начальника ОДО (Окружного дома офицеров).

Я давно вместе со всеми ребятами с нашего двора научилась пробираться туда на киносеансы, прячась за дверями, научилась собирать хлебные крошки из фанерного фургона, в котором привозили буханки в столовую ОДО (когда кучер и приемщик уходили вместе в дверь черного хода с последним поддоном хлеба и с бумажками, фургон оставался пустым, открытым. Кляча стояла, поставив заднее копыто на ногу, а мы, голодные дети, забиралась внутрь, где невыразимо вкусно пахло сухарями, и собирали с полу в щепоть крошки).

ОДО был родным местом, его черный ход маячил у нас на задворках. А сам двор и здание были огорожены сараями и гаражами. Солдаты ОДО гоняли голубей, швыряли им хлебные корки, которые, попав на железные крыши сараев, засыхали, голуби не могли их склевать, и мы, дети, залезали со стороны двора на эти раскаленные крыши, бегали на пяточках и искали там корки.

На крышу можно было взобраться только одним способом – уцепившись пальцами ног за острый край огромной бочки с варом.

Кто уж ее поставил у сараев, неизвестно, но по сути это была настоящая ловушка для голодных ребят. Взрослые ведь знали, что дети все равно полезут, но бочку не убирали!

В жару вар расплавлялся, вытекал наружу, и все понимали, что можно упасть в бочку и насмерть утонуть в варе. Никто бы не смог вытащить, вар не отпустит. Но дети лезли. На крыше, возможно, валялись корки! Для меня голод был сильнее опасности. Стало быть, мне надо было улучшить момент, когда мальчишки не крутились около бочки.

Под бочкой всегда огромной бугристой лепешкой лежала лужа расплавленного вара, вытекшего наружу. В нее меня однажды все-таки толкнули. Я сидела в этом страшном вязком месиве и старалась не плакать. Вокруг стоял безудержный хохот. Я не могла выдраться и только водила, как во сне, черными огромными руками, превращенными в рукавицы, пыталась расклеить пальцы, а с них тянулись со-сульки и нити вара. Ладони стекленели, но я боялась опустить руки обратно в толщу клейкого вара, чтобы опереться, а это была един-

ственная возможность встать. Какой-то взрослый человек с руганью отлепил и поднял меня. Под дикий смех дворовых ребят я поплелась домой, стараясь не касаться головы. Меня кое-как отскребли. Трусики пришлось выкинуть. А других не имелось... Я приспособилась завязывать майку внизу узлом.

В этом мире было не до размышлений. Только бежать, или прятаться, или, если уж настигнут, кричать и драться.

Во всем остальном у меня было нормальное по тем временам детство. Подружки, прятки, бешеные «казаки-разбойники». Играли в «чижа», в «замри». В спокойные моменты мы делали в земле «секретики» – клали в ямку цветные стеклышки и накрывали одним большим стеклом, а потом засыпали сверху грязным дворовым песком. И ходили, искали чужие «секретики», не выдавая свои. Хотя, разумеется, дети смеялись над моей московской речью, передразнивали эти «видишь ли» и «дело в том, что».

Но самой близкой и любимой была у меня собака Дамка. Иногда мы с ней валялись вместе где-нибудь, я ее обнимала за худенькую шею, а то мы бегали и прыгали, она приносила брошенную палку, я хохотала. Но как-то раз она мчалась, улепетывая, в том числе и от меня, с ужасной скоростью, она с трудом тащила в зубах как бы окровавленную гребенку – видимо, кухонные солдаты выкинули обчищенные бараньи ребра. Я побежала за ней, а она предупредительно зарычала на ходу, первый раз за все время. Я отстала. Дамке было не до шуток!

Я все упрашивала тетю и бабу родить мне «хоть котеночка, да хоть щеночечка».

Однажды зимой моя мечта исполнилась, я привела в комнату голодную кошку, это был как раз вечер Нового года. Она дежурила на лестнице и мяукала, я ей открыла дверь. У нас по случаю праздника горела керосиновая лампа! Было невероятно светло и прекрасно. Я обнималась на диване с моей новоявленной Мурочкой, она робко урчала. Мы ждали полночи, а потом вместе пировали тем, что выкинули соседи. Она ела все, даже картофельные очистки и селедочную головку! Потом, поевши, мы с этой серенькой Муркой водили хоровод вокруг еловой веточки, воткнутой в консервную банку. Кошка вынужденно перебирала тощими задними лапками, заплетающимися неров-

ными шажками, таскаясь по кругу, я держала ее за передние ручки и пела «Красотки, красотки, красотки кабаре», совместно с соседским патефоном. У нас был праздник!

Потом она попросилась наружу и убежала.

Вся жизнь проистекала у меня летом.

Иногда мне все-таки удавалось забраться на крышу и найти кусочек черной корки. Обратного пути не было (как раз угодишь в бочку с варом), и приходилось тайно спрыгивать с той стороны сараев во двор ОДО. Затем я проникала в Дом офицеров мимо дежурных, не помню как. Для нас для всех в ОДО была одна главнейшая приманка – там вечерами крутили кино. Трофейные фильмы «Королевские пираты», «Остров страдания» с Эрролом Флинном. Фильмы с Диной Дурбин. «Большой вальс». «Серенаду Солнечной долины» (любимейший мой фильм, кроме глупого финала).

Так что летом было много счастья.

Мы смотрели подряд все, прячась за дверьми и особенно за портьерами в промежутках между сеансами, как наши шпионы в позднейших военных кинофильмах («Секретная миссия», «Подвиг разведчика», к примеру), и так же я однажды спряталась уже после кино. Потом, как во сне, я промчалась по совершенно пустым коридорам и нашла себе для ночевки кабинет начальника, там стоял диван грубошерстной обивки, которая всю ночь колола мне щеку. Подложив под голову локоть, я было собралась спать, а ночь стояла светлая, июньская, и тут моим взволнованным глазам предстала в полном и грубом блеске картина, на которой Сталин и Ворошилов в шинелях принимают парад, а мимо катит кавалерия (тачанки?). В первый раз в жизни я увидела перед собой произведение живописи и испугалась.

В дальнейшем я еще расскажу об ужасе моей жизни, о «Портрете» Гоголя.

Язык придворных

Днем я, как полагается беспризорному ребенку, побиралась. т. е. просила милостыню. Голод я переносила легко, мы голодали уже давно, бабушка лежала огромная, раздутая водянкой, хотя моя тетя и говорит, что она иногда ходила на разгрузку в порт, за что Бабе дава-

ли бутылку денатурата, которую можно было обменять на хлеб. Вава один раз откуда-то принесла в ладони кучку виногрета, а другой раз – чашку сливового повидла. Я как присела перед повидлом, так его сразу и съела, как звереныш, понимая, что другого такого случая в жизни не будет. Десятки лет потом я не могла выносить даже запаха сливового джема!

У нас отрубили за неуплату электричество, но временами удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там долгие часы. С тех пор запах керосина вызывает у меня предчувствие света и радость. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу, и торжественный, ярчайший, золотой свет заливал нашу комнату с высоты диванной спинки.

Вот вам вопрос о радости жизни – особенно острое счастье ведь зарабатывается лишениями, как ни крути. И только разлука дает возможность немислимой встречи.

Я переносила легко голод, но не могла вынести несвободы. Боясь за меня (все-таки тут маленькая девочка из порядочной семьи, а город дикий, полно бандитов, во дворе жизнь вольная), бабушка и тетя Вава объяснили мне, что в городе цыгане украли ребенка, и под этим лозунгом они не велели мне гулять. Я тут же сбежала, явилась домой через несколько дней и, простодушно воспользовавшись их же легендой, сказала, что меня крали цыгане, а освободила милиция.

Они тревожно переговаривались над моей бесшабашной головой, употребляя так называемый «язык придворных», код подпольщиков.

Они не знали, что я научилась его понимать, я тоже это скрывала. Я помню, что они ругались словом «чешпо». Дедя цитировал довольно часто стишок Пушкина про князя Дундука (я его воспринимала как детский: «Отчего же, почему же Дундуку такая честь? Отчего он заседает?») – И тут Дедя торжественно завершал: «Потому что хона есть!»). Слово «хона» я быстро поняла, на улице «огольцы», то есть шпана, ругалась приблизительно так же.

Вава, моя тетка, недавно открыла мне секрет этого кода. Он назывался у большевиков «язык придворных». Список согласных там делится пополам, и первая буква менялась на последнюю и т. д., «ж» на

«х» и обратно, «г» на «ч», «н» на «п». Известное ругательство звучало бы как «жуй». То есть «И-ци-па-жуй», нечто китайское.

Поэтому все их тревоги, все страхи за меня я понимала, все намерения, предвидения, все горькие слова слышала. Но мне это было ничем, я в эти дела не вникала, им не верила, моя задача была уйти на улицу.

Так я все летние месяцы войны и прожила – носилась по городу, просила милостыню, косила под сиротку: «Нет ни мамы, ни папы, помогите».

Большой театр

Однажды я даже проникла на балкон (видимо, осветительский) оперного театра, вход туда был снаружи по железной лестнице. Я кружила под стенами Оперы, поскольку войти в театр не удалось, а огни сияли, публика валила, сладкая музыка слышалась... И тепло было внутри.

И вдруг я заметила вдали от входа, за углом, крутую металлическую лестницу. Она уходила под небеса, на высоту примерно пяти этажей. Уже темнело, висели низкие тучи, накрапывало. Я полезла вверх руками и босыми ногами по мокрым железным ступенькам, жутко боясь смотреть вниз. Вскарabalась, поскреблась, изобразила сиротку, страх возвращаться по этой крутой лестнице вниз, в пропасть, придал моему голосу, видимо, настоящее отчаяние. Я исполнила весь текст детей-нищих про то что, «папи нету, мамы нету... Разрешии-ить войти!?! Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну умоляю вас, смилюйтесь, будьте любезны, мне так хо-олодно!!! Так хочется му-узыку послушать, ну пустите хоть на пять минуточек!» Ветер, действительно, свистал. Ноги заледенели на железе. И вдруг дверь открылась в тепло, тьму, загремели праздничные звуки оркестра, добрая тетя пустила.

Я оказалась на балкончике у осветительницы, около раскаленных, воняющих горелой краской софитов, а внизу, рукой подать, было что-то волшебное, цветное, яркое, какой-то дворец в искусственном саду среди нарисованных деревьев – и на нем тоже имелся балкон, чуть пониже моего! И буквально в нескольких метрах от меня стояла розовая дама и нежным голосом пела «Милый друг мой, я слушаю вас». В тот

вечер я прослушала «Севильского цирюльника» Россини в исполнении эвакуированного Большого театра. На следующий вечер я полезла вверх снова. Скреблась. Замерзла в своем сарафанчике. Выла. Но мне уже не открыли.

Как побитая собака, я поплелась домой. Там хоть было тепло.

На всю жизнь я запомнила этот кусочек из дуэта Розины и Альмавивы...

В дальнейшем, когда я возвращалась, тетя и бабушка делали вид, что все в порядке, они уже не спрашивали меня, но я продолжала им рассказывать свои байки (как меня украли).

Видимо, Баба и Вава были счастливы, что я вообще есть на свете, и не рисковали выводить меня на чистую воду. Иногда они меня кормили супом из капустных листьев, которые Вава подбирала на рынке на земле. («Для козы? Это ты для козы?» – спрашивали торговые бабы, чтобы не расстраиваться, видимо. Моя тетка Вава, недавняя студентка Академии бронетанковых войск, я это видела, тайно заплакала, нагнувшись над втоптаннами в землю капустными листьями, от таких вопросов). Поздно вечером я, как всегда, была посылаема на промысел за соседским помойным ведром.

Вниз по лестнице

А однажды я, вернувшись, видимо, наплела такого, что бабушка с тетей посуровели и, посоветовавшись на своем языке, пошептавшись, вынесли решение.

И Вава пошла и заперла дверь на ключ!

В общем, все было не напрасно: каждая маленькая девочка, растая, должна была занять свою позицию во дворе. И как правило, должна была пройти через многие руки.

Там, за сараями.

Девчонки постарше между собой об этом не говорили, но намекали, показывая подбородками в ту страшную сторону.

Я не понимала ровно ничего. Не чувствовала опасности. Я была худая как скелет. Меня били, но пока что не использовали в своих целях.

Однако это будущее – так или иначе – меня бы не миновало. Хотя бы в качестве наказания, чтобы знала свое место.

А тут из Москвы приехала тетя Маруся Яковлева, сестра моего деда Николая Феофановича. Она была педагог, по линии театрального общества инспектировала провинциальные театры, и с посылочкой от моей мамы также навестила и нас. Она привезла мне подарки – коробку трехслойного мармелада и коробку с детской алюминиевой посудкой – там были кастрюлечки с крышками и даже половничек, все приделанное к картону резинками.

Совершенно неслыханная и невиданная роскошь!

Тетка Маруся дисциплинированно поговорила с нами, порасспрашивала и уехала.

Она, как актриса и педагог, а также как сестра мужа бабушки (злая золовка) и бровью не повела, увидев, как мы живем.

Но в Москве она высказала моей маме напрямую все, что ей пришлось увидеть и пережить! Так я думаю.

Мама в тот момент заканчивала ГИТИС и устраивалась на работу.

Мои бабушка и тетка из гордости ведь никому ничего не писали.

Итак, встревоженные родные меня заперли.

И однажды, танцую под собственное громкое пение, показывая лежащей бабушке и Ваве свое искусство, я подплясала к двери с торчащим ключом и успела повернуть его в замке, но меня настигли любящие руки. Больше ключ уже в двери не торчал. Сердце у меня бешено билось. Меня держали под стражей.

И тогда я, охваченная жаждой свободы, вышла на балкон. Мы жили на третьем этаже, прыгнуть было страшно. Подумав, я, дико волнуясь, перелезла на соседский балкон, оттуда с трудом дотянулась до пожарной лестницы. Она качалась, была деревянная, трухлявая, пролеты между перекладинами казались мне огромными. Повисая каждый раз на руках, я на ощупь ловила ногой ступеньку и спускалась шаг за шагом на волю. Внизу, метра за полтора до земли, лестница кончилась. Что было делать, я ухнула вниз. Хлопнулась задом. Вскочила. Ура. Долетела. Был солнечный зеленый день. Я заранее все предусмотрела, оделась во все свои одежды – в майку, сарафан и суконную салатного цвета жилеточку, которую подарила мне добрая соседка из другого подъезда. Она мне и хлеба иногда выносила.

Потом я с бурно бьющимся сердцем, дрожа от счастья и свободы, все-таки погуляла под балконом, дождалась, пока не появилась над перилами седая голова моей тридцатидвухлетней тети. Я смотрела вверх на нее, она смотрела своими огромными темно-синими глазами вниз на меня. «Как ты спустилась?» – громко крикнула тетя, чтобы выиграть время и подольше поддержать меня на месте (может быть, она надеялась, что бабушка все поняла и уже кинулась по лестнице за мной, хотя куда ей было, ноги опухшие не ходили). «Спрыгнула», – ответила я на всякий случай, чтобы они не догадались, и быстрее вихря умчалась вон, пока меня не поймали. Я сбегала, как выяснилось, навсегда. В следующий раз я их увидела только через девять лет, и они меня не узнали. Мне уже было восемнадцать. «Это кто?» – спросила моя крошечная бабушка, поднимаясь по лестнице еле-еле своими раздутыми ногами. Я все еще чувствовала себя виноватой...

Как я теперь понимаю, пройдя путь воспитания своих трех детей, троих бывших подростков, – они тоже, дети, воспитывают взрослых. Вынуждают их принимать меры.

Какой следующий шаг в борьбе за свободу был у меня?

Не возвращаться домой вообще.

А у них, у бабушки Вали и у Вавы?

Поймав меня, запереть и балконную дверь.

Потому что только в теплое время ребенок на улице останется жив. Как только станет холодно, он погибнет. Потому-то бездомные дети вертятся вокруг теплых вокзалов. Но все равно они умирают.

Однако совсем не давать им воли – убегут.

О воспитание, борьба неразрешимых противоречий.

Впрочем, когда меня спросили, о чем пишутся пьесы, я ответила наскоро – о неразрешимых проблемах.

Они все, по сути, неразрешимые...

Лев Аннинский

БАТЯ САША

Из воспоминаний семилетнего сына, записанных десятилетие спустя

Война!

Война началась перезвоном телефонов. Я понял, что происходит нечто важное. Я смутно улавливал несправедливость громких переговоров с родственниками, но страшного не чувствовал. Отец был в возбуждении, почти в радости, он то и дело бегал в коридор, куда-то звонил, говорил что-то ликующим голосом. (Мать потом рассказывала, что уход на фронт был им решён в первую же секунду; даже и вопроса не было; вопрос был, кажется, только в том, через сколько ДНЕЙ ИЛИ НЕДЕЛЬ он пришлёт подарки из Берлина; кажется, именно об этом он говорил по телефону с родственниками... господа, именно об этом).

Мать притихла. Я стал приставать к ней с расспросами. Она непривычно приласкала меня: «Война».

Я никак не мог связать это с теми танками и самолётами, которые рисовал в детском саду. – «Какая война?» – «Большая». – «А какая большая?»

Из её объяснений я не понял ничего, кроме того, что они уже когда-то пережили ТАКУЮ войну, что прятались в подвалах, и что немцы требовали женскую одежду.

Меня это странным образом успокоило, и я решил принять участие в общей суете. Крутили радиоприемник (гордость семьи), ещё раз звонили родственникам, уточняя: «На какой волне»; потом кто-то предположил: «Пожалуй, на ВСЕХ», – и тотчас подтвердилось, что

ЭТО на всех волнах; стихли, слушая; помню своё изумление от первых слов, прозвучавших по радио: «Граждане и граждaнки», – меня удивило ударение, в смысл я не вник.

Новостей было сверх головы, и, улучив момент, я выскользнул во двор.

Я молил бога, чтобы во дворе был кто-нибудь из ребят: новости прямо-таки распирали меня. Я со всех ног кинулся к Юрке Мершину, появившемуся из соседнего подъезда, и выпалил ему, что война. Юрка не упал от удивления, а презрительно смерил меня взглядом и сообщил, что это он ДАВНО знает, а вот только что по нашей улице проскакал в Троицкое всадник, и на «Второй Москве» стреляли, и вечером на студии будет устроен учебный пожар...

Я был сражён широтой и многообразием его информации: я тут явно проигрывал, война сразу стала неинтересна.

Вернулся домой – радио все крутили. Вдруг мать произнесла фразу, которая возбудила моё воображение: «От немцев всё только марши идут». Парадоксальным образом эти «немцы» встали у меня где-то рядом с украинцами, узбеками и эстонцами, от которых идёт хлеб, хлопок и прочее (это нам в детсаду уже преподали), и я решил, что раз уж нам все помогают, и от всех что-нибудь «идёт», то мы, конечно же, победим. Я так и не осознал ещё, что мы начали воевать с немцами.

На этом я успокоился и перестал думать о войне. Ничего вроде и не переменилось, разве что улицы запестрели красным (на плакате красный снаряд разрывает чёрного обезьяноподобного Гитлера), да запели в детсаду новую песенку:

«Внимание, внимание!

Идёт на нас Германия,
с вилами, с лопатами,
с бабами горбатыми...».

Я быстро привык и к плакату, и к песенке: жизнь продолжалась по заведенному порядку, и так было ещё с неделю.

Потом наступил день ухода отца, и тут я впервые почувствовал – смутно, как сквозь сон или сквозь смех: что-то СО МНОЙ сделали...

Саша уходит

Мысль о том, что Саша идёт на фронт добровольцем, наполняла меня гордостью (слово «доброволец» было особенное, и я неизменно писал его в своих автобиографиях вплоть до окончания университета). Тревога подступающей разлуки ощущалась скорее номинально, чем реально. Я знал, что буду скучать без него и ждать; я привык скучать без него и ждать; меня больше занимали частности. Я допытывался у матери, зачем она зашила в уголки заплечного мешка пробки; эти пробки меня заинтриговали, и теперь я уже едва помню сквозь всю эту муть пришибленное молчание матери.

Я, кажется, перестал её бояться в те дни, её словно не стало.

Эти восемь дней между началом войны и уходом отца – были безостаточно заполнены отцом. Но и здесь всё у меня вывернулось глупостями.

Вдруг выперла такая подробность. Дело в том, что я никогда не мог заставить себя спать днем в детском саду; со мной бились воспитатели; в лучшем случае я притворялся, и на меня махнули рукой. Но в эти дни мне особенно не спалось, возможно, я вёл себя вызывающе; кажется, воспитательница пожаловалась родителям.

Против обыкновения, мать не тронула меня (я думаю, она была просто парализована предстоящей разлукой с отцом). Саша, однако, поманил меня пальцем и сказал, что если завтра я не буду спать в детсаду, он мне всыплет. С грустью я понял, что наказания не миновать, потому что я, разумеется, не усну и завтра, но, хотя отцовы порки были куда веселее долгих выговоров и скандалов матери, – я вовсе не хотел, чтобы Саша меня наказывал. Поэтому весть о том, что он уходит на фронт ЗАВТРА ЖЕ, наполнила меня чувством облегчения: весь этот последний день я, кажется, только и высчитывал, успеет ли он спросить и наказать меня.

Он не успел. Он не спросил. Бог миловал – соврать бы ему я не смог. Господи, что подсказало ему прикрыть меня этим мелким страхом, отвлечь от страшной догадки! Что было бы со мной, если бы в тот момент я понял, что он уходит – навсегда. Судьба оттянула этот ужас, и лишь год спустя, в эвакуации, в Свердловске, забившись в уголок огромной – на всех детей – постели, я плакал ночами, давась,

чтобы не слышали и не стали утешать, я примерялся к слову «сирота», и мучительно вспоминал подробности того последнего дня.

А в тот, последний день всё как-то затерялось в гомоне. Пришло огромное количество людей. Я просто не помню такого скопления знакомых и родственников. Отец уходил вечером, все провожали его, медленно идя двумя шеренгами, перегородив аллею, и Саша шёл в центре этой дружины, и я был горд тем, что в семье Юрки Мершина ничего подобного не происходит.

Как я выяснил много лет спустя, что-то сдвинулось в механизме отправки, и поэтому новобранцев отпустили домой переночевать. А тогда всё казалось чуть не игрой: только ушёл – и вернулся. И опять ушёл – наутро. Судьба подарила эту последнюю ночь матери моей, но не мне... я опять начал думать про этот проклятый детсад: вдруг Саша спросит...

Я понял, что он не спросит, когда с вещмешком за плечами он уже стоял у дверей. Внизу ждала какая-то машина. Мать сказала:

– Подожди... Я выпущу щегла... – побежала к окну, выставила клетку на подоконник, открыла дверцу, вернулась и сказала неестественно громко: – Ну, вот, Лёсик, у нас в это утро два добровольца... – и вдруг с воем упала ему на грудь.

Отец поцеловал её, потом меня, привычно исколов щетиной. Обыденность этого прощанья совсем успокоила: кажется, я уже стал воспринимать его как «очередное». Поэтому я смутился, когда в привычном ритуале что-то сместилось, и, уже расцеловавшись с нами, отец вдруг протянул мне руку. Я не понял, что надо делать.

«Бей! – сказал он. Я осторожно шлёпнул. «Сильней!! – крикнул он, – Батя на фронт уходит! Бей».

Я смутился так же, как всегда, когда он приказывал звать его «Батей», – однако послушался и изо всех сил хлопнул рукой по его ладони, и моя рука утонула в ней.

Он сказал: «Ну, бывай» или «Будь здоров, казак» – дверь лязгнула замком... и всё.

Эвакуация

Не помню сборов – помню гордость, что за нами придет МАШИНА (кажется: папа Ёсиф добыл что-то военно-санитарное), я жалел, что в пустынном дворе никто не увидит этого факта. Впрочем, когда мы, погрузившись, тронулись, откуда-то с дерева спрыгнул Толька Миронов и пустился бежать за нами, делая вид, что сейчас подцепится! Это было разом и противозаконно (чего цепляется за НАШУ машину!), и законно (всё-таки хоть кто-то видел, что мы уезжаем НА МАШИНЕ!).

Начиная с вокзала, всё было ново: галдёж вагона, незнакомые города, ощущение войны, гордость, что я сын добровольца. И ещё – неслыханное скопление родственников. В таком тесном обществе я ещё не вращался. Нас провожало море народа, а ехало пятеро: кроме меня с матерью, мама Люба, её сын Вадим (уже любимый мой брат!), и ещё дочь Миши-военного трёхлетняя Леночка. Как самая младшая – она была главным объектом забот, но в ходе четырёхдневного странствия наступил момент, когда именно я оказался в центре всеобщего внимания, слетев с верхней полки от толчка поезда. Я упал на батарею бутылок с боржомом (знал бы, что следующий боржом в моей жизни появится не раньше, чем через десять лет). Был большой грохот, все меня утешали... Зачем? Я был только горд происшедшим. Я был героем. Жаль, что скоро мы приехали.

Я с интересом рассматривал приземистые каменные дома и мощенные плитами тротуары Свердловска. Ощущение провала, катастрофы, прерыва жизни не сразу пробилось сквозь новизну случившегося. Я решительно не замечал тесноты маленькой комнатки, куда всё наше многоступенчатое семейство ввалилось 7 июля 1941 года, – меня куда больше поразила старинная резная фисгармония хозяев. Хозяина комнатки звали Лев Яковлевич Эфрос; это был лысеющий человек с орлиным носом и смеющимися глазами. Его жену звали Елена, в ней было что-то светящееся: то ли от светлых волос, то ли от светлых глаз; так и запомнилась: маленькая, круглая, живая и – светится вся. Невозмутимая приветливость хозяев смутно беспокоила меня; я чувствовал странность происходящего и не умел сформулировать своего вопроса, я осторожно допытывался у старших, к кому

же это мы приехали, и кем нам приходится человек с орлиным носом, спокойно созерцающий из уголка наше фантастическое вселение.

Мне объяснили, что этот человек «из того же местечка, что мы все», что он приходится «нам всем» каким-то очень сложным родственником; мне, например, он троюродный дядя и четвероюродный брат. Нумераций этих я не понимал, родство было слишком замысловатым, а из «нашего местечка» могло быть, вообще говоря, полно народу. А тут хозяева пустили жить целую толпу, сами куда-то ушли ночевать, чтобы наш табор как-то на первое время разместился...

Первое время продлилось несколько месяцев, пока нами «уплотнили» какую-то бабуся в том же доме. Просторней не стало: к Леночке приехала мать, жена Миши-военного – тётя Тоня, а к Эфросам – после нашего от них отселения – моя добрая тетка Роза. Кагал оказался-таки будь здоров, и я всё гадал, как это такое устроилось.

Я не знал тогда ничего о двух соседних домах в старинном Любече, ни о двойном клане потомков старого Залмана, женившегося по второму разу на молоденькой сестре своего первого зятя, ни о самом этом зяте книгочее и добряке, убитом погромщиками, ни о его детях: Сендере, Мироне, Айзике, Льве и Моисее, до революции приготовившихся перелететь в Америку, но на горе своё оставшихся; они же старому Залману приходились разом и внуками, и племянниками. Я вообще ничего не знал тогда о клейкой силе еврейской солидарности, сцепляющей фантастические петли родства в прочную живучую ткань.

Просто я вместе с матерью, тетками и другими детьми приехал в Свердловск летом 1941 года.

Домик-крошечка

Круглые настенные часы с римскими цифрами. В цифрах я разобрался самостоятельно, а вот музыкальное чудище, занимавшее главное место в маленькой комнатке Эфросов, требовало объяснений: эдакое слегка уменьшенное пианино на тоненьких ножках. «Фисгар-

мония», – объяснил дядя Лёва. Я почувствовал: что-то дореволюционное – и потерял интерес.

Куда занятнее был чёрно-белый кот по имени Остик, мягкий и ласковый, а также хозяйка кота (и дома), жена дяди Лёвы тётя Лена, такая же приветливая и ласковая, как ее кот. Вообще-то в ту пору все взрослые были у меня на один возраст, но в тётя Лене так отчетливо чувствовалась молодость, что я решил звать ее про себя: тётя Леночка.

Профессия ее была более или менее понятна: певица, а вот голос определялся словом, которое мне пришлось выучить: ко-ло-ра-ту-ра. А чем эта «колоратура» отличается от всего остального? Вместо ответа тётя Леночка улыбнулась, что-то сделала со своим миловидным лицом, подтянула к скулам уголки рта и пропела:

*Одинок стоит домик-крошечка,
Он на всех глядят в три окошечка,
На одном из них занавесочка,
А за ней висит с птичкой клеточка...*

Я был покорён.

Стоял июль, число 8 или 9-е... Шепнули бы мне, что в этот день Батя мой на берегу реки Ущи истекает кровью в минной воронке, а письмо его, брошенное сутки назад на великолукском вокзале, бодро катит к нам, в уральский город Свердловск, на улицу Шарташскую, в Дом Артиста, Эфросам для Аннинских...

С птичкой клее-е-точка...

Письмо Саши

Письмо Саши пришло очень скоро. – «Откуда?» – «Из Великих Лук». – «А что там?» – «Действующая армия». – «А какой обратный адрес?» – «Нету». – «Почему? Там же что-то написано?» – «Действующая армия»...

Я брал конверт и всматривался в пустое место там, где должен быть обратный адрес, и даже строгими печатными буквами было велено: «На каждом почтовом отправлении пишите свой обратный

адрес»! Но на этом почтовом отправлении обратного адреса не было. Не было обратного адреса! Не было.

Это получалось неправильно, нехорошо, недобро... Но веселое письмо отца легло в душу успокаивающе: не очень я понял, что там было написано, но понял, что письмо весёлое. И успокоился.

Много лет спустя, узнав более или менее точно о последних днях отца, вернее, ПОВЕРИВ окончательно, что он погиб 8 июля 1941 года в лесу на полпути из Идрицы в Невель, – я сопоставил события. Всё происходило так быстро, так неостановимо быстро...

Когда началась война, ему оставалось воевать – восемнадцать дней. Когда он уходил, и я видел его в последний раз, – оставалось одиннадцать. Когда мы ехали в Свердловск, и под Ярославлем поезд дернуло, и я полетел вниз на бутылки с боржомом – это было числа 5-го – ему оставалось три дня. Когда мы приехали, и я в первый раз шёл по Шарташской, разглядывая тротуарные плиты, – он уже отправил это письмо с Великолукского вокзала, вернее, дал кому-то в поезде, идущем на восток, и письмо побежало догонять нас. Когда мы сидели в первый раз за столом Эфросов, и я украдкой разглядывал физгармонию, – мой отец уже шёл по лесу, обходя воронки, и только ночь отделяла его от минного поля...

Что же я делал на второй день после приезда? Утром научился сливать воду на руки (первое дело, которому научился в эвакуации – из кранов вода уже не шла). А потом? Потом... в обед мать вдруг закричала на меня и при всех выгнала из-за стола. Это запомнилось, потому что-то был первый скандал по приезде. Помню, что кусок не лез мне в горло, мать закричала, но обошлось без оплеухи – она ещё немного стеснялась хозяев. Поэтому меня просто выпроводили вон, и я доедал молочный суп на лестничной площадке. Этот момент я помню очень хорошо. Лестница деревянная (я в Москве таких не видел), белая тарелка с белым супом на коричневых ступенях (красиво!). Я был наказан и должен был испытывать страх и огорчение, но вдруг мне сделалось так покойно и хорошо, словно ангел пролетел, так гулко и пусто стало на душе...

Дорога к дому

Дорогу сорок первого – из дома в эвакуацию – помню; дорогу сорок третьего – из эвакуации домой – не помню. В сорок первом нас везли невесть куда, но это было всё-таки продолжение жизни.

В сорок третьем я уже понимаю: эвакуация – перерыв жизни; жизнь – это ДО ВОЙНЫ. А теперь? Война ещё идёт, и Саша там, на войне. И всё-таки я не могу отрешиться от непроизвольного ожидания: вот только доедем, только доберемся до дома, и тогда...

Москва. Санитарная машина. Пустынные улицы. Санэпидлаборатория армии в Мало-Вузовском переулке у Покровского бульвара: майору Мазо разрешили на первое время приютить семью – «Мама, а на Потылиху?»

По-моему, она просто боится туда ехать.

Тянутся дни в Мало-Вузовском. Белые мышки и запах йода. Большая пустая, освобождённая от коек палата, отданная нам для житья.

Умывальник у двери несколько скрашивает впечатление: такого чуда, чтобы умываться, не выходя из комнаты, в моей жизни ещё не было.

С трудом выуживаю из памяти, что мы с Вадимом прячем клад – роем ямку на Покровском бульваре и кладём туда пару медяков.

Остальное – провал.

Возвращение ещё предстоит. Куда? В дом? Где дом? Что там, в доме?

Дом

Наконец, мать берёт меня за руку, и мы едем ТУДА. На Потылиху!

В наш дом! Сердце моё прыгает, когда от троллейбусного круга идём привычной дорогой по «аллейке», и над верхушками деревьев показывается знакомая крыша.

Я теряюсь, когда мы подходим ближе: дом неузнаваем: вместо прежней ослепительно солнечной краски – он вымазан чёрными полосами.

Мать объясняет:

– Это маскировка. С самолёта кажется, что это ряд маленьких до-

миков. Большой дом немцы разбомбят, а на маленькие тратиться не станут.

Не помню, как вошли. Какие-то голоса, крики – кажется, кто-то из соседей.

Комната тёмная. Мать отдёргивает штору – становится пыльно. Она выпрямляется, молчит и вдруг, обернувшись ко мне, говорит странно хриплым голосом:

– Пойди во двор, погуляй...

Двор пуст. Иду знакомой дорожкой, стараясь не смотреть на бурно-чёрно-полосатую стену. Вдруг – откуда-то сверху – свист, и в ту же секунду с дерева спрыгивает Толя Миронов.

И я, наконец, понимаю, что – вернулся домой.

Довоенные вещи

Комната пахнет довоенным. Вот тут раньше стояла клетка со щеглом Петькой, его выпустили на волю в то утро, когда ушёл Саша... «У нас два добровольца!» Вот тут стоял радиоприёмник – его пришлось сдать в первые дни войны. И ещё полно игрушек, карандашей, моих старых рисунков, которые кажутся теперь такими смехотворно неумелыми. Ничего, радиоприёмник вернут. Саша вернётся, купим нового щегла. Какое счастье – вернуться из свердловской стужи в эту теплую комнату!

Раскладываем вещи. Моя кровать мне мала, мать решает, что я буду спать на раскладном кресле. Эта новость приводит меня в восторг, я немедленно решаю опробовать место: выдвигаю и раскладываю кресло.

К ногам падает что-то разноцветное. Яркий журнал с глянцевой довоенной обложкой, портрет красавца-принца.

Принц-нищий!..

Что-то обрывается во мне.

Много лет спустя поэт Бурч отворил боль строками:

«Нашёл в шкафу кусок довоенного мыла.

Не знал, что делать: мыться, плакать?»

Залпы, гирлянды, флажки

Летом с экипировкой было проще, а на душе тяжелей: летом всегда наступали немцы. Наши – зимой.

Путь из Свердловска – под тоскливый рефрен «оборонительных боев». Когда через неделю после приезда вдруг прозвучало по радио и в газетах: «наступление», я подумал, что это ненадолго – ведь июль. Но весь июль оно продолжалось – наше летнее наступление!

В августе – небывалое: салют.

Захлопали залпы. Орёл, Белгород. Потом – Харьков. Я сидел у репродуктора, считал залпы. Юрка Мершин сказал:

– Ну и дурак! Смотреть надо! Трассирующими лупят!

Так я понял, что на салют надо выбегать. Трассирующими больше не лупили. Но небо цвело гирляндами, и вальсировали прожектора. Киев! Новороссийск! Ленинград!

В апреле ко дню рождения Роза подарила мне тетрадь в «довоенной» толстой обложке. Я решил, что это для вечности, и начал дневник. Дневник получился такой: «Сегодня наши войска освободили...» – и я лез в атлас искать, где этот очередной город. Купили большую карту Восточной Европы. Я думаю, повесить карту СССР не хватило бы духу, а эту – повесили: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Мать дала мне спичечный коробок булавок, и я нарезал красных флажков. Самое счастливое было – делать новые флажки, когда старых не хватало. Теперь утро начиналось с поиска городов, названных в сводке; после вечерней сводки я снова лез к карте. Я втыкал флажки, слезал со стула, отходил и любовался картой, как настоящий живописец.

Это была моя война.

Второй фронт. Виллис и студебеккер

Я сначала не понимал, что за второй фронт, но слова висели в воздухе. И фамилии Черчилля и Рузвельта мелькали. Впервые мне растолковал ситуацию Вадим, прокомментировав визит в Москву Уэнделла Уилки следующим образом: – Черчили-черчили уилками по воде, и никаких рузвельтатов!

Разумеется, в другом виде Уилки в мое сознание влететь не мог. Зато влетало другое. Газета «Британский союзник» с двумя железными бойцами возле заголовка.

Песенка: «Путь далекий до Типперери...». Заграничная тушёнка. Лендлизовская плащ-палатка, которую подарил мне папа Ёсиф.

Потом – первый живой американец. Прямо возле нашего дома. По уши в осенней грязи (или уже весенней? не помню) застрял виллис. Вскоре появился студебеккер, взял виллис на привязь, включил какую-то вертелку и выволок виллис из грязи, так что мы все, от Мершина до Дючкина и от Миронова до Гунчикова остолбенели: от легкости, с какой это было сделано, и ещё от того, что водитель студебеккера, здоровенный детина ни слова не понимал по-русски.

Впрочем, когда мы ему проорали «Гудбай!», он сказал: «Шпасы-ба!». Тот, который сидел в виллисе, так и не вышел из кабины.

Второй фронт. Вода и трава

Во дворе решили, что я петрю по-английски. Возможно, оттого, что я первым вякнул «гудбай». А может, трепанул что-нибудь глумяге Кашехлебу в хлестаковском экстазе. Кроме «гудбая», я не знал ни одного слова, но отступить было поздно, расплачиваться же пришлось скоро – как только зазеленела трава.

На берегу Москвы-реки, куда мы бегали купаться, американцы появились уже не на виллисе и не на студебеккере, а на легковушке – целое семейство. Расстелили скатерть на травке у воды, выложили снедь и сели закусывать. Пикник.

Далее – картинка из эпохи фронта. Или из Миклухо-Маклая. Или из капитана Кука.

Вокруг пришельцев – кольцом – туземцы. То есть мы. Сидим и смотрим, как они едят. Чем ближе к ним подлезешь, тем, значит, ты смелее. Мершин, Тумин и Дючкин, Гунчиков и Миронов и, разумеется, глумяга Кашехлеб, и, само собой, красавец Эрлен подталкивают меня вперед: «Скажи им!»

И я сiju впереди фронта, на полшага ближе всех к американцам, боясь пошевеливаться: ни вперед, ни назад. Сзади на меня шипят, и наконец, когда я делаю мучительную попытку издать звук («Гуд-

бай?»), звук этот застревает у меня в горле. Один американец оборачивается на меня и что-то говорит другому, другой тоже оборачивается, махнув рукой, что-то отвечает первому, они продолжают есть, лопоча по-своему, а мы продолжаем сидеть и глазеть на них.

Жгучий стыд от этого папуасского сидения вокруг белых мучил меня потом всю жизнь, так что полвека спустя, чтобы облегчить душу, я рассказал об этом эпизоде одной знакомой американке. Она не сразу поняла, в чем я каюсь, а потом радостно улыбнулась:

– О, я много слышала об этой миссии. Я родилась как раз в том году, когда Айк открыл второй фронт!

С Новым Годом!

В экипировке появилась вещь роскошная: коньки на ботинках.

Рахиль сделала мне такой подарок. Коньки на ботинках – это совсем не то, что просто коньки. Просто коньки у меня и так были: их надо было прикручивать к валенкам с помощью палки и веревки (буквально). На коньках с ботинками я еще не стоял ни разу. Это было что-то довоенное.

Много позднее я узнал, что коньки принадлежали младшей сестре Рахили Сусанне. Сусанна была на фронте. Коньки отдали мне, потому что пришло сообщение о её гибели. Тогда я ничего этого не осознавал. Я надел обновку и на подгибающихся ногах заковылял во двор.

Там была ледяная горка, и с неё лихо скатывались ребята, с шиком высекая коньками искры из торчащего внизу камня. Я никогда бы не рискнул на такой подвиг, но внизу стояли девочки. Я вскарабкался на горку, доковылял до края, глянул вниз, оттолкнулся и... очнулся внизу, возле камня, без шапки, с синими кругами в глазах. Видимо, без сознания я был какие-то доли секунды, потому что никто не подбежал, а глумяга Кашехлеб даже захохотал.

Я поднялся, взглянул на горку, на камень, на глумягу, и понял, что надо идти домой.

Дома я наткнулся на буфет. Остальное – в полудреме: подскочившая мать, горячее у ног, холодное у затылка, тазик у рта. Звонки по телефону, Роза, доктор, санитарная машина. Незнакомая нянечка, тём-

пный душ, постель... и сразу – утро: белый потолок, длинные спокойные мысли. Какой-то стонущий мальчик на соседней койке, вытащенный из-под машины, поллица содрано, страшно смотреть. А у меня всё в порядке: что ещё за «сотрясение мозга», когда всё цело? Почему я здесь?

Мать – каждый день. Что-то новое в ней. И во мне: я обнаружил, что ЖДУ её. Она странно ласкова, не ругает меня. Приносит яблоки и нарезанный пирог. Через несколько дней меня переводят из бокса в общую палату, и тут начинается пытка. Палата полна покалеченных парней; у одного подвешена между ног баночка – туда сочится моча из дырки в животе. Но ужас не в этом – ужас в том, что мать продолжает возить мне еду. Едва она уходит, её пироги и яблоки хрустят на зубах всех ходячих обитателей палаты, среди которых я – младший.

Мне жалко мать: она возит мне каждый день эти кульки, а я всё отдаю. Я ж сказал: не надо возить... Она посмотрела на меня: – Я тебе все это СВОИМИ РУКАМИ готовлю! – и я смолк. Одно яблоко я припрятал и, когда все стихли после отбоя, сгрыз его под одеялом, давясь и замирая.

Наутро парень с баночкой громко сказал:

– Этот пидор ночью жрал яблоко!

В наступившей тишине какой-то лоб на костыле навис надо мной и деловито врезал между глаз звонким щелчком, так что лицо матери на несколько секунд померкло. Я отвернулся к стене. Кто-то заметил: – Ладно, хер с ним, его по голове нельзя. На моё счастье, я вспомнил карточный пасьянс, показанный мне Вадимом. Карты в палате были, причём в полном ходу, и то, что я умею гадать, сразу обеспечило мне ампулу. Последние два дня я, не переставая, раскладывал карты «на исполнение желаний»; меня окружало кольцо костылей и гипсовых рук и ног.

Потом была какая-то жалкая ёлка в соседней палате, куда всех привели под вечер.

Потом я увидел мать в конце коридора с моими вещами в руках.

Я всё понял и бросился к ней.

– Стой, мальчик, ты же больной! – заголосила мне вслед медсестра, но я уже был около матери и зарылся лицом в свою одежду, которая пахла домом.

Дома стояла наряженная ёлка.

Много лет спустя мать рассказала мне, что облила её слезами, пока наряжала.

Я попал в больницу 26 декабря и вернулся домой 2 января.

– С Новым годом, сыночек!

С новым – 1945-м – годом!

Войне конец

Как под гору, всё катилось, несло, летело к Победе – не было сил ждать. Уже почти неделя, как Берлин на карте проколот красным флажком. Пришла с Мосфильма Роза и говорит, что ей сказал Абрам Матвейч, которому сказал Михаил Ильич, что ночью Сергей Михайлович слушал Би-Би-Си по-английски и понял, что капитуляция уже подписана. Телефонный перезвон не умолкает. Вот-вот, вот-вот! Мы подхватываемся: ехать к маме Любе! Вадим у радиоприемника крутит ручку. Наконец, Левитан раскатистым голосом объявляет: **свершилось!**

Мы выходим все вместе и с Новинского бульвара поднимаемся на Садовое кольцо, потом поворачиваем к площади Маяковского.

Мы движемся, стиснутые плачущей, смеющейся толпой, – по той улице, где в прошлом году шли колонны немецких пленных и куда Мирон, Гуна и Дюка (Мионов, Гунчиков и Дючкин) ездили с рогатками их обстреливать.

Где тридцать лет спустя я буду сидеть в отделе критики журнала «Дружба народов».

Где пятьдесят лет спустя журнал «Родина» будет печатать мои ежемесячные колонки.

...Гремят залпы, расцветает салют. Я не могу понять, что со мной; душа кричит: конец! Конец! Назавтра в школе назначены консультации к экзаменам за четвёртый класс. Кругом слышно: Жуков, Жуков!

Жуков – мальчик в нашем классе. Рыжеватый, щекастый, с неправильным прикусом, он чем-то напоминает мне прославленного маршала, я как-то даже спросил его, не сын ли. Оказалось, нет, не сын маршала. Сын лейтенанта.

И вот этот Жуков подошёл ко мне и сказал:

– Мой папка возвращается! Дал телеграмму из Праги. Он теперь старший лейтенант. А твой?

– Старший политрук, – выговорил я.

– Он тоже возвращается?

– Да... то есть, нет... он ещё... там.

Не дослушав, Жуков хлопнул меня по плечу, засмеялся и побежал дальше.

На следующей перемене ко мне подошло несколько человек:

– Это правда!? Жуков говорит, что папка твой возвращается? Тебя можно поздравить?

Я собрался с силами и сказал:– Нет. Я не знаю. Отойдите.

Они помолчали и отошли.

Эпилог

Дядя Вася вернулся!

Весть разнеслась мгновенно: отец Кольки Гунчикова вернулся с фронта и идёт домой!

Именно так: идёт. Не едет, а – пёхом. Может, из самого Берлина.

Я дядю Васю с «до войны» помнил плохо, боялся не узнать. (Потом, позже, много лет носил ему чинить ботинки, пока дядя Вася не помер тихо в той же комнатке первого этажа эйзенштейновского подъезда, где и сапожничал).

Он появился во дворе – не со стороны троллейбусной остановки, как если бы приехал, а со стороны кутузовского поля, откуда он пришёл то ли барачной дорожкой, то ли напрямик, через огороды, как и положено бывалому солдату.

Не узнать его было невозможно: загорелый, пышноусый, в выцветшей добела гимнастёрке.

Он стоял у своего подъезда, окружённый взволнованной толпой: дома дядя Вася никого не застал; и уже кто-то побежал на огороды за его женой, а с другой стороны ребята вели Кольку.

Колька не бежал, он шёл как-то недоверчиво, вытянув вперёд шею. Словно не верил. Подошёл и ткнулся отцу головой в медали.

Это был не плач, нет. Колька Гунчиков, неустрашимый Гуна, плакать не умел. Он взвыл. Он так завыл, что во мне что-то остановилось.

Я спрятался за подъездный столб, и от столба к столбу, прячась, чтобы никто за мной не увязался, пошёл на задний двор. Я встал там, в кустах акаций. Домой не хотелось: я не смог бы объяснить матери, что со мной.

Вдруг сзади кусты загрещали, и, обернувшись, я увидел компанию девочек-малолеток, возглавляемую сестрой Тольки Миронова Ольгой. Она хихикнула и спросила, подмигивая подружкам:

– Скажи честно, ты убежал потому, что твой папа не вернулся! Скажешь, нет?!

И прищурилась.

Я тоже прищурился:

– Иди в жопу.

И когда она пошла, крикнул уже вслед, в её соблазнительную круглую попку, о которой мечтал весь двор:

– Не твоё дело!

И – криком, когда вся эта малолетняя команда отошла подальше:

– Он вернётся!!!

В это мгновенье окончательно понял: нет. Не вернётся.

Александра Коробова

ДОМ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ

Из мемуарной повести

22 июня 1941 года

Мать вернулась домой с сумками полными мыла, спичек, соли и «мануфактуры» (опыт прошлых военных коллизий)... И с ворохом новостей. Новости были тревожные. Оказывается, война началась уже несколько дней назад, но о ней не сообщали, и много городов уже захвачено немцами. Правда, есть люди интеллигентные, которые говорят, что мы к войне тоже готовились, и поэтому она очень скоро кончится.

Отец решительно поддержал вторую версию, сказав, что русские всегда много воевали и всегда побеждали.

Не помню уже, участвовали ли в этом разговоре мама Саша и Крёстный, но помню, как они подтрунивали над матерью:

– Нюся, куда ж ты столько соли накупила! Ну, ладно, осенью грибов засолим... А вот мыло куда девать?..

А мать, несколько обескураженная, оправдывалась:

– Так ведь народ брал!

О, как она оказалась права!

По радио объявили, что все – и немедленно! – должны сдать радиоприёмники и оружие. Радио в доме Коробовых не было, а вот из-за оружия поднялся лёгкий переполох: выяснилось, что в доме хранится пистолет. Крёстный откуда-то извлёк его – это был старинный, серебряный, с резными деревянными планками Лепаж, видимо, дульный, с длинным дулом, которое к концу расширялось на манер граммофонной трубы. Я так и вцепилась в это сокровище, тем более,

что мама Саша шепнула мне: «Это пушкинский пистолет...» (Я тогда поняла это буквально, боюсь, что и мама Саша тоже). Но Крёстный пистолет у меня отнял, завернул в газету, положил в портфель и, озираясь, ушел. Ходил он довольно долго, а вернувшись, с величайшим облегчением сообщил, что ему удалось незаметно бросить свёрток в «чужую помойку».

Все это было необычно, так удивительно! Новая невиданная жизнь ощущалась всюду – и в городе, и дома, и во дворе.

Однажды вся ребятня, прекратив игру, бросилась к воротам и там застыла в неподвижности: по нашей улице двигалась странная процессия – мужчины в котелках и с бабочками у ворота, напряженно глядя только вперёд, размеренным шагом направлялись в сторону Арбатского метро. В руках они несли большие чемоданы. Русские прохожие, прижавшись к стенам домов, молча смотрели на них. Кто-то из старших ребят негромко заметил:

– Немцы бегут. Из посольства.

И тут мальчишки начали улюлюкать. Что-то произошло со мной, и я вдруг тоже закричала, и улюлюкала до тех пор, пока немцы не скрылись за поворотом.

Вечером на крыше нашего дома взвыла сирена. Тревога! Это тоже было интересно: занятия ПВО уже несколько недель шли в нашем дворе. Почти для всех это было игрой, в которой, кроме детей, заняты и взрослые. Ребятам нравилось, когда их носят на носилках, забавно было примерять противогазы. Мы все уже знали, кому – что делать по тревоге. Мой отец, например, во время тревоги должен дежурить во дворе, старик Палей и Степан Степанович Скворцов – на крыше. А мы с мамой Сашей и матерью должны идти через улицу в бомбоубежище, то есть в подвальчик Кустарного музея. Что мы теперь и сделали совершенно спокойно.

Когда мы вернулись домой, я услышала фразу, вскользь сказанную моим отцом:

– Знаешь, Нюся, а тревога-то, кажется, была не учебная, а настоящая.

А мама Саша сказала такое, что врезалось на всю жизнь:

– Вспоминай меня, Шурёночка, если меня убьют...

Эдуард Русаков

ОТКРЫТКА С ФРОНТА

Рассказы

Двадцать второе июня

Городской парк. Воскресенье. У павильончика в китайском стиле, оборудованного под пивной ларек, выстроилась длинная очередь. Жарко. Похрустывает мелкий гравий под ногами гуляющих. Из репродукторов разносится тоненький голосок Эдит Утесовой:

Расстались мы! Светила из-за туч луна!

Прощались мы! И снова я одна, совсем одна...

Расстались мы! Другой любви я не ищу.

Но если ты вернешься – я тогда тебя прощу!..

Голос ее замолкает, и надрывную мелодию подхватывают плачущие скрипки, и саксофон рыдает, и стонет тромбон, и никто не обращает внимания на эту музыкальную игру в разлуку, потому что всем хорошо и весело, и солнышко ярко светит, и бочковое пиво пенится в кружках и утоляет жажду.

– Куда загляделась? – спрашивает мой отец, хмурый юноша в строгом полувоенном кителе. На груди – значок «Ворошиловский стрелок».

– Любуюсь драконами, – моя мама кивает в сторону крутого ската крыши китайского павильончика, украшенной резными деревянными фигурами крылатых драконов.

– А почему не пьешь? – спрашивает отец. – Пиво вкусное. И не очень холодное. Попробуй.

– Мне ведь нельзя, – и мама смотрит на него укоризненно. – Ты что, забыл?

Он отводит глаза в сторону. Молчит.

С ними за столиком сидят еще двое: брат мамы Виктор и его жена Лариса, вылизывающая вторую порцию мороженого.

– Ларка, ты не очень-то на эскимо налегай, – говорит Виктор. – Давно ли ангиной болела?

– Обожаю мороженое, – вздыхает Лариса и жмурится от наслаждения, безостановочно работая красным язычком. – Могу хоть сто порций съесть. И съем! И съем! – она хлопает Виктора ладошкой по затылку.

Тот притворно охает, закрывает голову руками, пригибается к столу.

Они молоды. Все четверо очень молоды. И все у них впереди. Так им кажется в тот момент.

Пиво вкусное, как никогда.

Эдит Утесова поет уже другую песню – и на смену томительному танго приходит мелкий ритм фокстрота:

Думаю, гадаю,

Ночи все не сплю,

Я его не знаю,

Но уже люблю!..

– Чепуха какая, – бормочет отец.

– Что? – спрашивает мама.

– Да песня дурацкая. «Я его не знаю, но уже люблю!» Как так можно?

– Ты что, всерьез? – удивляется мама. – Тебя и вправду это волнует?

– О чем ты? – раздражается он.

– Да вот песня эта – ты ее слушаешь, что ли? – взрывается мама. – А больше тебе думать не о чем? И ты забыл?

– Ну конечно, конечно! – перебивает отец. – Я все помню, Леночка. Я все помню. Я все скажу в свое время.

– Эй, братцы, в чем дело? – вмешивается Виктор. – Что за секреты в обществе?

– Да так, пустяки, – отмахивается отец.

– Пустяки? – мама бледнеет.

– Что с тобой? – настораживается Виктор. – Ты чего, сестренка?

– Нет, нет... – она качает головой. – Он же сказал: пустяки.

– Лена! – восклицает отец.

Мама молчит.

– Леночка, ты слишком серьезна для женщины, – говорит Лариса.

– Женщина должна быть пикантной и легкомысленной.

– А ты кушай, кушай мороженое, – говорит ей Виктор.

Приходи, милый,

В предвечерний час,

Птицей сизокрылой

Ночь сойдет на нас!..

А мама сидит в своем сиреновом платье, губы подведены помадой в форме сердечка, на ногах белые носочки и новые желтые туфли. Мама мнет шелковый надушенный платочек в потных пальцах. Мама ждет, когда же, в конце концов, отец объявит об их свадьбе, и когда же он, проклятый молчун, освободит ее от неопределенности? Ей стыдно и страшно. И ей тоскливо, оттого что чистая ее любовь к отцу с каждым днем и с каждой минутой все более омрачается неприязнью. «Почему он молчит? – думает она. – Ведь договорились же: сегодня обо всем объявить и назначить день свадьбы, ведь он обещал! Я для этого и в парк пошла. Не за пивом же я сюда потащилась! Не за песнями этими дурацкими! Почему, почему он молчит?..»

«Надо, надо, обязательно надо сказать, – убеждает себя отец, приплатывая безвкусное пресное пиво. – Почему я молчу? Как мне не стыдно? Ведь она беременна... И не может быть речи о том, чтобы...»

Ах ты, господи...»

Девичий покой ты

Навсегда унес.

Посмотреть, какой ты,

Хочется до слез!.. –

не унимается писклявая Эдит, и скрипочки подвизгивают, и трубы подвывают.

– Если ты сейчас же им все не объявишь, я встану и уйду, – шепчет мама. – Меня тошнит. Я не могу так больше. Меня тошнит.

– Леночка! – кривясь от сочувствия, восклицает отец. – Лена! Я сейчас. Минуточку!..

Стоп. Остановись и ты, ради Бога. Откуда ты можешь все это знать? Как ты можешь все это помнить? Ведь тебя тогда еще не было, ты еще не родился, ты в те дни лишь возник в чреве матери горячей завязью плоти, бессознательным слепым эмбрионом, скорчившимся в жарком лоне. Как ты можешь сейчас что-то помнить?

Но я помню. Я слышу их голоса, я вижу их бледные лица, вижу то июньское полуденное солнце, всей кожей своей ощущаю тот нескончаемый зной и ту тяжкую жажду, терзавшую их, ту неутолимую жажду и тоску... Я все это знаю, честное слово, хотя и ничем не могу доказать.

– Ты не любишь меня? – шепчет мама умиравшим голосом. – Ваня... ты меня бросишь?

– Нет, ни за что! – шепотом восклицает отец, и лицо его густо краснеет от стыда. – Леночка, как ты можешь? Разве теперь я могу тебя бросить?

– Теперь? – повторяет мама, и глаза ее раздуваются от слез. – Теперь?.. Значит, если б не это, если б не это... значит, ты только жалеешь меня?

– Лена! – вздыхает он, оглядываясь на Виктора и Ларису. – Ну зачем ты меня мучаешь?

– Я тебя? – так же шепотом изумляется мама. – Я тебя мучаю?..

– Ох, прости, – отец хватая ее руки, сжимает в своих ладонях. – Прости. Я не то говорю. Я все сделаю, как обещал...

– Ты не любишь меня? – повторяет она еле слышно. – Скажи правду.

– Я тебя люблю, – говорит он и смотрит сквозь нее куда-то далеко-далеко, и повторяет чужим голосом: – Я тебя очень люблю.

Мама беззвучно плачет. Отец обнимает ее. Жалость к ней нестерпимо терзает его, томит его сердце, и он повторяет как заклинание, словно убеждая самого себя:

– Я тебя очень люблю, Леночка. Все будет хорошо.

И обнимает ее крепче, и гладит ее крепдешиновые плечи, и смущенно улыбается в ответ на вопросительные взгляды Виктора и Ларисы, и кивает им утвердительно, словно угадывая их беззвучный вопрос, – «да-да, у нас все в порядке, не волнуйтесь, ребята, все нормально...»

– Вот и чудесно! – смеется Лариса, хлопая в ладоши. – Давно бы так!

– А что же ты такой невеселый? – с кривой усмешкой спрашивает Виктор, сжимая ручку кружки так крепко, что костяшки пальцев белеют. – И почему сестра плачет? В чем дело, Иван?

В этот момент репродуктор на крутом скате крыши китайского павильончика вдруг захлебывается очередным фокстротом, всхрапывает, трещит, замолкает – и после недолгой паузы над парком разносится глуховатый голос Молотова. Не сразу доходит до сознания смысл страшных слов. Еще пиво пенится в кружках, еще слезы льются по маминым щекам, еще в глазах Виктора, устремленных на отца, таится немая угроза, еще наслаждается Лариса сливочным своим эскимо, обсасывая сладкую щечку, еще слышится от соседнего столика детский беззаботный смех, – но все уже изменилось: и солнце померкло, клонясь к закату, и зной пронзился внезапной студеной прохладой, и яркая зелень пожухла, и цветы завяли, и лица людей покрылись серой пылью.

– Война? – с тихим ужасом спросила мама, поднимая заплаканное лицо. – Это правда, война?..

– Да, сестричка, – сказал Виктор. – Дождались... Эх, пойду, возьму еще пива.

– И мне! – крикнул отец. – И мне пару кружек!

– Ты что? – удивилась мама, глядя в возбужденное лицо отца. – Какое может быть пиво? Тут такое... а ты...

– А что? – улыбнулся отец. – Нас не запугаешь. Напьюсь пива до-сыта. Может, в последний раз? – он рассмеялся и обнял маму.

– Ты с ума сошел. Чему радуешься? Тебя могут убить... Как ты не понимаешь? А я?.. Что со мной будет? А с ним... с маленьким? Что будет с ним, если тебя убьют?

– Все будет хорошо! – беззаботно говорит отец. – Ничего не бойся.

Недавняя тоска его исчезла, растаяла, испарилась. Он взвинчен, взбудоражен, словно хоть сейчас готов рвануться в бой, в жестокую кровавую битву. Он вдруг почувствовал себя... свободным! Вот в чем была причина его хмельного возбуждения.

Вернулся Виктор с четырьмя кружками пива. Лариса сидела притихшая, испуганная. Виктор был хмур, сосредоточен. Мамино лицо

искажала гримаса отчаяния. Лишь отец возбужденно суетился, шутил, что-то насвистывал, подмигивая Виктору, и жадно пил пиво.

– Яп-понский бог! – сказал отец. – Да чего вы все скисли? Война – ну и что страшного? Мы этих фашистов быстро успокоим, будьте у Верочки!

– Что? – встрепенулась мама. – При чем тут Верочка?

– Да это шутка, – рассмеялся отец. – Шутка такая: будьте у Верочки. Значит – будьте уверены.

– Фу, как глупо, – прошептала мама.

– Яп-понский бог, – прищурился отец, одолеваемый боевым азартом. – Чего загрузили, орлы?

– Замолчи, – сказала мама, прикрывая глаза. – Я ведь знаю, чему ты радуешься. Ты рад, что избавишься от меня. Ты бросишь меня. Разве не так?

– Чепуха! – возмутился отец, опять краснея. – Что за глупости ты городишь, Лена? Разумеется, я пойду на фронт... но при чем тут ты?

– Вот именно, я ни при чем.

И мама опять заплакала.

День рождения

В этот день стояла ясная солнечная погода. Ни дождя, ни снега, ни ветерка. Все заводы и фабрики работали в три смены, все конторы исправно функционировали.

В этот день в местных и центральных газетах были опубликованы правительственные лозунги: *«Рабочие и крестьяне! Советская интеллигенция! Враг хочет захватить наши земли, превратить нас в рабов немецких баронов. Отстоим свою родину! Все силы – на разгром ненавистного врага!»*

В этот день в Доме офицеров были танцы, а в Доме учителя – концерт художественной самодеятельности.

В этот день наши доблестные войска продолжали вести тяжелые кровопролитные бои с противником на всех фронтах.

В этот день римское радио передало очередную фальшивку о налете на Ленинград. Римские лгуны сообщили, что германская авиация якобы совершила успешный налет на «Петербург». Сброшенные

бомбы вызвали крупные пожары. В воздушных дуэлях над «Петроградом» и его окрестностями якобы сбито 44 советских самолета, а германские потери составили 2 самолета. В этом сообщении, разумеется, не было ни слова правды.

В этот день Рая-дурочка гуляла по улицам Кырска и распевала похабные частушки антисоветского содержания, в связи с чем была задержана сотрудниками милиции. В этот день военный трибунал в Венгрии приговорил к смертной казни 11 человек.

В этот день в редакции газеты «Кырский рабочий» состоялось сошествие поэтов и прозаиков.

В этот день в переполненном поезде парижского метро немецкому офицеру приколоты на спину записку: «Я за де Голля». Другой немецкий офицер уступил место старушке-француженке, но она сделала вид, что не замечает его. Видя, что весь вагон наблюдает за ними, офицер в приказном тоне вновь предложил ей сесть, но старушка продолжала смотреть мимо него, словно глухая. На ближайшей остановке офицер поспешно выскочил из вагона.

В этот день в кинотеатре «Октябрь» шел фильм «Богдан Хмельницкий», а в кинотеатре «Луч» – «Парень из нашего города».

В этот день протестантский пастор в Швейцарии беседовал с бежавшими из Германии русскими военнопленными. *«Я должен констатировать, – сказал пастор, – что советская молодежь в моральном и нравственном отношении стоит неизмеримо выше швейцарской молодежи. Этот факт нельзя объяснить особенностями «русской души». Очевидно, за 25 лет, прошедших с момента взятия власти большевиками, в русском народе произошел громадный внутренний сдвиг. Я констатировал у них ярко выраженное чувство товарищества, которое помогает им лучше переносить плен и делает невозможным эгоизм отдельной личности. Они так сильно проникнуты своей идеей и духом порядочности, что я должен сознаться: я ничего не могу им дать. Все мы можем только учиться у этих юношей».*

В этот день моя мама, лежа на койке родильного отделения железнодорожной больницы, долго разглядывала в старом журнале цветную репродукцию с картины Брейгеля «Падение Икара» и безуспешно пыталась найти: где же сам-то Икар?.. Так ведь и не нашла.

В этот день ваш покорный слуга появился на белый свет, но никто, кроме мамы и врача, принимавшего роды, не заметил исторического события.

А потом, не успев близорукий Всевышний и глазом моргнуть, не успела косая судьба оглянуться во гневе, как банальнейший план моей жизни был перевыполнен досрочно – и мифический воск растаял, и самодельные крылья унесло встречным ветром прочь...

Открытка с фронта

«Дорогой сынок!

Поздравляю тебя с днем рождения, сегодня тебе исполнилось два годика. Как хотелось бы мне повидать тебя, мой славный мальчик. Как поется в одной глупой песенке, «я тебя не знаю, но уже люблю». Шлю тебе фронтовой привет, у нас тут идут ожесточенные бои. Очень скоро мы разобьем фашистских гадов, и тогда я вернусь, и мы с тобой встретимся и подружимся. Подрастай, мой хороший, будь умницей, слушай маму, скажи ей, что я очень вас люблю и без вас скучаю. Твой папа».

Мой папа – японский шпион

Я смотрел на них с любопытством.

– Как вам не надоест? – сердито сказала мама.

– А что? – удивился лейтенант.

– Как что? Третий день вы за мной ходите, задаете дурацкие вопросы, пристааете к ребенку.

– Ага! Зачем пристаешь к ребенку? – крикнул я и засмеялся.

Я думал, что это такая игра. Я был в вельветовых штанишках и шелковой матроске. Вельвет мама достала на барахолке, а матроску выкроила из своей старой кофточки. Мне было пять лет.

– Извините, – сказал лейтенант, – мне просто казалось...

– Что вам казалось? – вспыхнула мама. – Что вам могло казаться? Зачем вы к нам вяжетесь? Парк большой, шли бы на другую аллею. Девушек мало, что ли?

– Хороших – мало, – сказал лейтенант.

– Мам, ты его не ругай, – сказал я. – Ему просто не с кем играть. Пусть играет со мной. Хочешь? Хочешь?

– Хочу, – сказал лейтенант.

– Ох, господи, – мама покачала головой. – Ну, должны же вы хоть что-то соображать. Ведь я не одна... Неловко даже объяснять взрослому человеку.

– Я все понимаю, – сказал лейтенант и протянул к ней руку, но быстро отдернул. – Честное слово, я все понимаю...

– Ага! – засмеялся я. – Притворяешься, значит?

– Отойди в сторону, – приказала мне мама. – Иди, поиграй с другими ребятами.

Я обиделся и отошел. Но я все видел и слышал.

Мама сидела на скамейке. Лейтенант стоял, переминаясь с ноги на ногу. Мама была в крепдешинном сиреновом платье с высокими плечиками. Лейтенант был в форме, ему было жарко. Народ прогуливался по аллеям. Где-то неподалеку играл духовой оркестр.

– Ну, что вы стоите? Садитесь, – сказала мама.

– Спасибо, – лейтенант сел. – Извините, у меня пыльные сапоги...

– Только не вздумайте их здесь чистить, – усмехнулась мама.

– Пожалуйста, не надо так, – тихо попросил лейтенант.

Мама посмотрела на него и нахмурилась.

– У вас что, какие-то неприятности? – спросила она.

– Нет, все в порядке. Просто мне очень хотелось, чтобы вы оказались доброй. И очень жаль, что это не так.

– Да вы что? – воскликнула мама. – Я вас впервые вижу.

– Нет, вы же сами сказали, что я третий день за вами... И потом, не все ли равно: впервые, не впервые?

– Ничего не понимаю. Слышите? Ничего не понимаю!

Лейтенант не ответил.

Мне стало скучно, я подошел к ним, сел на скамейку рядом с лейтенантом.

– Поговори со мной, – сказал я ему. – Мама у меня строгая. А ты не бойся, поговори со мной.

– Хорошо, – кивнул он.

– Ты был на войне?

– Был, но недолго. Меня только в конце войны призвали.

– Сколько ты убил немцев?

– Не знаю. Я служил в артиллерии. Наверное, много.

– А ордена у тебя есть?

– Есть один. И медали есть.

– Покажешь?

– Покажу в следующий раз.

– Следующего раза не будет, – сказала мама.

– Пожалуйста, помолчите, – попросил лейтенант.

– Что-о? – удивилась мама.

– Слушай, слушай! – перебил я ее, обращаясь к лейтенанту. – Пошли в тир, ты научишь меня стрелять!

– Хорошо.

– Пошли сейчас?

Лейтенант улыбнулся, пожал плечами, растерянно посмотрел на маму. Он был молодой и странный, этот лейтенант, у него были пушистые ресницы, он часто шурил синие глаза и морщил лоб.

– Ну, что же ты? – я вскочил со скамейки, потянул его за собой. – Пошли в тир. Ты же обещал!

– Не спеши, – лейтенант снова посмотрел на маму. – Сядь, пожалуйста. Видишь, мама на нас сердится. В тир сходим позже... Ты что, никогда не был в тире?

– Был один раз. Вместе с папой. Он обещал еще со мной пойти, обещал научить.

– А где твой папа?

– Это военная тайна, – прошептал я. – Мой папа – японский шпион. Понял?

– Понял, – сказал лейтенант и приложил палец к губам. – Тс-с. Молчу. Военная тайна – ежу понятно. А хочешь, раскрою тебе свою военную тайну?

– Хочу, – прошептал я.

– Слушай. Знаешь, кто я?

– Кто-о?..

– Я – американский шпион!

– Прекратите! – вмешалась мама. – Товарищ лейтенант, вы же не маленький...

– Ради Бога, извините. Я вовсе не хотел оскорбить вашего мужа. Я ведь просто играл с ребенком.

– Поиграли и хватит. Дело в том, что мальчик сказал правду, – и она невесело улыбнулась сжатыми губами. – Наш папа – японский шпион.

– Вы шутите?.. Не понимаю.

– Ох, какой нудный. Вам что, разжевать и в рот положить? Неужели не ясно? Ну, забрали его, сразу, как демобилизовался. Я ждала, ждала... не дождалась. А потом, когда пыталась узнать, за что, почему, мне сказали: ваш муж – японский шпион. Смешно, правда? Смешно?

Лейтенант побледнел. Он ничего не ответил.

– Вот и все, – сказала мама. – Или вам еще что-нибудь не ясно?

Лейтенант отрицательно покачал головой.

– Вот и хорошо. А теперь отвяжитесь от меня. На вашу кислую физиономию смотреть противно, – и она крикнула: – Слышите? Уходите!

Лейтенант молча кивнул, встал и пошел прочь.

Мне стало его жалко, и маму жалко – и я заплакал.

– Замолчи! – строго сказала мама. – Не смей реветь. Нам с тобой нечего стыдиться. Пусть все уходят. Пусть все молчат. Пусть. Слышишь? Во всех анкетах, всегда и везде – слышишь? – и в школе, и потом, позже – всегда говори и пиши: мой папа – японский шпион! Я тебе приказываю!

– Да, да, да, – сказал я, всхлипывая.

Лейтенант вернулся.

– Я так не могу, – он наморщил лоб и тихо повторил: – Я так не могу. Я буду думать о вас. Говорите, что хотите. Не могу уйти, ноги не идут...

– Чего вам надо? – рассердилась мама. – Чего вы хотите?

– Ничего. Я ничего не хочу для себя. Мне просто хочется быть возле вас... Понимаете? Просто – быть рядом. А больше мне ничего от вас не надо.

– Это вы сейчас так говорите, – усмехнулась мама. – А три дня пройдет, и скажете: надо. Эх... постыдились бы!..

И вдруг мама замолчала, замерла и испуганно посмотрела на лейтенанта.

– Что с вами? – сказала она. – Ну, что вы, ей-богу, не надо, не обижайтесь. Простите меня.

И мама прикоснулась кончиком указательного пальца к щеке лейтенанта. А он – прикрыл глаза.

– Вы представить не можете, – прошептал он, – вы даже не догадываетесь, какая во мне жалость к вам.

– Понимаю, – кивнула мама. – А мне – вас жалко.

– Правда? Правда? – обрадовался он. – Ведь должен же я быть возле кого-то!.. Правильно? Я не хочу быть один. А вы – такая хорошая!

– Да ну, перестаньте, – растерянно пробормотала мама, а потом рассмеялась: – А вас не смущает то обстоятельство, что я вдова шпиона?

– Даже вдова? – прошептал лейтенант, и лицо его скривилось от боли.

– Ну что вы, что вы?.. Опять вы... Да что же вы, в самом деле! А еще боевой офицер! Ну, не надо, не надо... Я вас очень прошу... Ведь ребенок же смотрит...

Я смотрел на них с любопытством. Я ничего не понимал, но старался все запомнить.

Гордая мама

Моя мама никогда ни у кого ничего не просила.

Она с детства была приучена немилосердной судьбой к тому, что не стоит ждать от людей поддержки и помощи. Надо во всем рассчитывать только на себя.

Ей было четыре года, когда мой дед, ее отец – умер от туберкулеза на германском фронте. Он был ветеринарным фельдшером, и когда началась первая мировая война, его призвали в кавалерийские войска, лечить лошадей. Лошадей он лечил хорошо, а вот за собственным здоровьем не уследил. В ту пору не было ни ПАСКа, ни фтивазида, и поэтому дед мой прекрасно понимал, что он обречен. Месяца за два до смерти он выпросил увольнительную, чтобы съездить домой и проститься с женой и детьми. Сохранилась фотография, на которой изображены смертельно больной дед с вымученной улыбкой, печальная бабушка и четверо детей, среди которых можно видеть и мою

маму – маленькую, с короткими растрепанными волосами, насуспенную и даже сердитую. По этому снимку можно понять, что маме уже тогда не нравилась предстоящая жизнь.

Мой дедушка, ее отец – умер вскоре после возвращения на фронт, летом семнадцатого года. Там, на западе, и был похоронен. В ту лихую революционную пору никакой поддержки от государства ждать не приходилось. Власть менялась неоднократно, и разномастными представителями этой власти было не до молодой вдовы и ее осиротевших детей. И моя бабушка осталась одна с четырьмя детишками на руках. Один сын, три дочери, средняя – моя мама. Но бабушка выстояла, вырастила всех четверых, работая учительницей начальных классов, выкормила, вывела их в люди. Впрочем, мама моя уже со школьных лет привыкла сама зарабатывать, чтобы помогать семье.

Мама была пионеркой и комсомолкой, звонко распевала вместе со всеми «Взвейтесь кострами, синие ночи», хотя в комсомол ее приняли не сразу, как члена семьи социальных лишенцев: ведь отец бабушки был деревенским священником, и поэтому ей и ее детям нельзя было ни участвовать в выборах, ни поступать в вуз без рабочего стажа. Вот и пришлось маме сразу после окончания школы отправиться на Север, в деревню Ворогово, где она три года проработала учительницей в местной школе. В те годы голод добрался и до Сибири, и мама подкармливала своих сестренку и братишку, посылая им с попутными пароходами свежесоленую рыбу, топленое масло, муку и прочие необходимые для выживания продукты.

Обеспечив себе рабочий стаж, мама поступила в Ленинградский институт народного хозяйства, сдав все вступительные экзамены на отлично. После окончания института она поехала по распределению в Магнитогорск, и вот там познакомилась с моим отцом, который был на комбинате большим начальником. Дальше всё понятно – любовь, планы на будущее. Молодые влюбленные стали жить вместе, обзавелись хозяйством. У меня дома от тех маминих юных лет сохранилась вилка из нержавеющей стали и стеклянная вазочка в стиле модерн (явно дореволюционная). Даже сплю я на той самой кровати с никелированными шарами на спинке, на которой когда-то спали мои родители и на которой я был зачат в Магнитогорске... Но тут началась война – и отец мой стал рваться на фронт, хотя у него, как у большого

начальника, была броня. Мама очень переживала, ведь она уже была «в положении», и ей, конечно же, не хотелось остаться одинокой вдовой с ребенком на руках. Но гордость мешала ей просить отца остаться, да это было бы все равно бесполезно.

«Роди мне сына!» – кричал отец, высовываясь из вагона, когда мама его провожала. «Рожу, не сомневайся!» – отвечала она, не вытирая слез. «И не плачь!» – кричал отец. «Я вовсе не плачу!» – отвечала плачущая, но гордая мама. – Это ветер!.. а я не плачу!»

Она была гордой, а он был порывистым и торопливым. Они даже расписаться в Загсе не успели. Поначалу маме казалось, что это все равно, ну какая разница – расписались, не расписались. Но вскоре она поняла, что разница большая – потому что, если бы они расписались, то мама получала бы от отца аттестат, то есть деньги. А так она не получала от него никакого аттестата, и деньги он ей присылал нерегулярно и понемногу. И гордая мама ничего не писала ему об этом. А он тоже об этом ничего не писал, но зато каждое его письмо было переполнено объяснениями в любви и обещаниями грядущего счастья. Мама вскоре вынуждена была уехать из Магнитогорска и вернуться рожать меня в Кырск, к своей маме, вернее, к своей младшей сестре, которая охотно ее приютила. По вечерам они читали друг другу письма от своих мужей. И если в письмах мужа младшей сестры были постоянные упоминания о денежном аттестате и напоминания о заготовке на зиму дров, картошки и прочих домашних делах, то в письмах моего отца были только бесконечные объяснения в любви и мольбы простить его за какую-то давнюю, не понятную мне вину...

Когда спустя много лет мне довелось прочесть все эти письма, я с жуткой ясностью понял, что больше всего моя гордая мама страдала от унижения, от роли приживалки, нахлебницы в доме родной сестры. Это она-то, привыкшая быть в семье главной добытчицей, быть всегда и во всем свободной и независимой, вдруг по вине моего отца стала... да, да! – нахлебницей, приживалкой, незаконной женой, нерасписанной матерью-одиночкой. Именно это терзало ее уязвленную душу куда сильнее, чем разлука с любимым... Да и таким ли уж он был любимым, мой бедный отец?

Когда я всё это понял – мне стало так жаль их обоих... Особенно, конечно, ее, мою бедную гордую маму! Бедная, бедная мама...

Но когда я перечитываю письма моего отца с фронта – мне жаль и его. «Здравствуй, моя «сердитка»... – вот как он к ней обращался. «Буду верен тебе до последнего вздоха. Твой «страшенький»... «Прошу тебя, не рискуй здоровьем, береги ребенка и нашу любовь...» «Моя любимая, ты стыдишься перед своей мамой за свой «поступок»?.. Напрасно. Скажи маме только правду – что, мол, всё произошло по обоюдному согласию, как мы хотели вместе с тобой. Ведь это правда. Мама тебя любит и поймет...»

Уверен, что бабушка, мамина мама, всё понимала прекрасно. И несколько их не осуждала.

Но письма мамы к отцу становились с каждым разом все более злыми и ожесточенными. И наконец она совсем перестала ему отвечать.

Два с лишним года – вы только представьте! – отец ей писал, умолял о прощении, о пощаде... Хотя, если уж совсем честно – в чем он был виноват? Только в том, что слишком поторопился на фронт, не успев узаконить их отношения? А на фронте он, между прочим, ежедневно рисковал жизнью... Два с лишним года – с ума сойти! – он писал ей, писал, писал – и не получал ответа. Мама, мамочка, почему ты была так к нему жестока?.. ведь могла бы и пожалеть, и простить.

Отец не вернулся с фронта, пропал без вести, скорее всего – погиб.

Бедный, бедный отец. Бедные мы люди.

Бедный я, сирота-одиночка.

Бедный Боженька – не может дать бедным людям хоть капельку счастья. Не может или не хочет?

Если мы созданы Им по Его образу и подобию – значит, Он так же несчастлив, как и мы все?

Такой же гордой, независимой и одинокой мама оставалась всегда. Ни разу не вышла замуж. Никогда ни один мужчина не переступал порог нашего дома. У нее никогда никого не было – это я знаю точно, потому что мама всегда была со мной, я всегда был при ней, с ней рядом. Я был вечным ее стражем, спутником и невольным свидетелем ее вечной верности, моей гордой мамы, хотя никогда и не задумывался об этом. Мне казалось это само собой разумеющимся – мама только моя! И ничья больше! Ничья рука не смеет!

«Ты никогда ни в чем не сможешь меня упрекнуть», – сурово нахмурившись, говорила мне частенько моя мама. Да, жила она только ради меня. И я ее ни в чем не упрекаю.

Она была гордой и независимой даже в последние дни своей жизни, когда категорически отказывалась от врачей, от больницы. Никого не подпускала к себе. Никого, кроме меня. А разве мог я остановить смерть?

Мамы нет уже много лет, но она всегда рядом, всегда со мной.

Ее фотографии передо мной, ее вещи нетронуты, даже любимое ее сиреневое платье с брошкой из чешского стекла висит в шкафу, и будет висеть там, пока я жив. И все ее безделушки, сувениры и фарфоровые статуэтки – стоят на полках, и даже значок «Ворошиловский стрелок» лежит там же, напоминая о том времени, когда мама, на зависть всем мужчинам, выбивала в тире центрального парка десять баллов из десяти... Она очень метко стреляла, моя мама! И я до сих пор пью из маминой серебряной рюмки и ем маминой вилкой из нержавеющей стали, на которой отчетливо видно клеймо: «Нерж., Магнитогорск, 1937 г.». Да что вилка! В той самой старинной вазочке из фиолетового стекла до сих пор стоят три засохшие хризантемы, поставленные туда мамой незадолго до смерти. И я до сих пор сплю на маминой кровати с никелированными шарами на спинках, на той самой кровати, на которой когда-то я был зачат...

...Я до сих пор слышу мамин голос, я вижу ее, она снится мне каждую ночь – она учит меня, как надо жить, чтобы не терять своего достоинства и свободы, хотя жизнь моя тоже ведь скоро кончится.

Мама, мама, ну хватит же, хватит учить меня жизни. Научи меня лучше, как умереть достойно.

Мама... мамочка... оставь ты меня в покое, ради Христа.

Вячеслав Карпенко

ГОД ЛОШАДИ

Рассказ

Выбора не было, и мы оба знали это.

Серый лежал на боку, мне видна была его спина с тяжёлым кавалерийским седлом. Спальный мешок, обычно переброшенный через седло и прихваченный третьей подпругой, сам собой медленно сползал по осыпи вблизи головы коня. Рюкзак почему-то оказался рядом со мной, хотя он тоже был привязан к седлу. При чём здесь рюкзак? Я пнул его в сердцах и растерянно – чтобы не лез в голову, хотя, что это теперь изменит? Вина, в любом случае, всегда всадника... но и эта мысль не ко времени. Серый!

Серый поднял голову, по горлу его прошла судорога, он выдохнул тяжело, но почти беззвучно: «Й-ы-xxx». Коричневый его глаз, обычно даже лукавый, смотрел на меня без надежды. Может, он не понимал ещё? Или? У спины коня остановившейся волной собрался гравий. Шуршали небольшие окатыши, догоняя медленно оплывавший книзу язык осыпи, который будто осторожно спускал Серого ко дну щели. А это?..

Задняя нога коня была неестественно вывернута, правое копыто виднелось из-под крупа возле разметавшегося хвоста. И несколько репейников вцепились в хвост... да стоп же! Подкову на эту я сменил совсем недавно, она ещё черновата от окалины, лишь чуть поблескивает – не успела даже сбиться как следует... не успеет уже. Чушь какая! Я ведь понимал, что Серый больше не встанет и отсюда его не поднять. Сейчас к нему придёт боль, и он тоже будет знать. И будет смотреть на меня этим коричневым своим глазом, и слеза выкатится.

Кони всегда чувствуют безнадёгу. Рукой я проверил кобуру, хотя не представлял себе, как это сделаю...

Я присел на край тропы. С которой почему-то оступился Серый, а мне повезло: потому что я сидел в седле боком и без стремян и ничего не предвещало падения... сколько подобных троп мы с ним прошли!.. Осыпь расступилась под ним, конь шарахнулся, медленно стал заваливаться, оползень мягко перевернул Серого раз-другой, потом, казалось, даже и осторожно, потащил вниз, замедляя скольжение собирающимися под животом гравием. А я тупо смотрел вслед и ничего не мог поделать. И вот...

Серый, Серый... мне так хочется поверить в чудо! Что-то ведь должно произойти, разве жизнь может оборваться так нелепо? Серый ты мой конь, мне так хочется заплакать: это-то я знал – чуда не будет. Потому что до ближайшей юрты два перевала и пешим, а уже сумеречно, и вороны вон расселись на деревьях, быстро накличут волка... как уйду. Чуда не будет.

А как безмятежно было то время, когда в чудо верилось искренне и безоглядно, и с этого было прекрасно начинать жить...

И серый конь смотрел на меня со стола, а я верил, что он, конечно же, поедет вместе со мной! Верил, хотя и не понимал, почему взрослые так торопливы и почему так срочно надо собираться и куда-то ехать на вокзал... так срочно, что даже не могу забрать своего лихого Серого (в яблоках, как же я помню эти тёмные «яблоки» на боках, так старательно прорисованные, каких и не бывает вовсе у живых лошадей – но это позднее знание!). Нет, говорят, сейчас нельзя забрать его с собой. И приходится верить этим взрослым, тем более что они и не родственники даже – соседи. А няня Поля вышла куда-то, и её нет. «Она догонит, ты не беспокойся, малыш. И лошадку твою приведёт», – говорят они. И хотя я ещё цепляюсь за ножку стола, на котором стоит мой скакун с седлом, настоящими стремянами и настоящей уздечкой, ещё пытаюсь крикнуть, что нет, не пойду без... но уже сопротивление моё погашено их обещанием и непререкаемой верой в чудеса.

Где папа? Где мама? Я привык без них и спокойно относился к тому, что они часто и надолго уезжают, оставляя меня с няней Полей. Мама приезжала чаще, всегда что-то вкусное и сладкое привози-

ла, она строго разговаривала с няней, но была тёплая, от неё сладко пахло. «Ещё бы, – ворчала няня Поля. – Таки отдухи тильки во Львиве и бачут». И отца я любил без тоски: за то, что у него такой ремень со звездой на пряжке и портупея, а главное – он привёз мне такого замечательного коня. На коне можно было лететь на врага, раскачиваясь вперёд-назад и слушая нянькины испуганные причитания: «Ведь обернёс-си во счас! Вот головку-т сломат, что мне тодди?!» Няня была «кацапка», она пыталась говорить, как все, но когда волновалась, получалась и вовсе тарабарщина. Как она оказалась в Харькове и в нашей семье, я так никогда и не узнал. И это была моя первая в жизни утрата...

И серого своего в яблоках коня, так и оставшегося для меня на всю жизнь стоящим на столе, словно готовым вот сейчас соскочить и помчаться следом, а потом нести меня, нет, того коня я больше никогда не увидел. Потому что соседи, не дожидаясь няни Поли, спешили со мной на вокзал. Потому что уже шла война. И, оказывается, она была близко.

Незадолго до этого дети, даже самые маленькие, но уже умеющие бегать и кричать, играли в войну. Во дворе громко спорили из-за места в игре: все хотели быть «красными командирами», а вот «белополяком» или «желтопузым» – то есть японцем – становиться не хотел никто. За «красного кавалериста» во дворе порой доходило до драки. Меня, конечно, туда няня отпускала редко и только в собственном сопровождении. Зато я мог в стороне надувать щёки – «он сын красного командира», сообщала двору Полина. На гам, «засады», «разведку боем» и сами «бои» я смотрел в окошко. И размахивал саблей, раскачиваясь на своём коне. Потом окна вдруг стали закрывать, стекло зачем-то крестом клеивали бумажными полосами. Няне принесли несколько телеграмм, она шелестела деньгами, пересчитывая, хваталась за вещи, пришивала внутри моей шубки карман: «Документ твой, малыш», – поясняла. А после которых причитала: «Как же я доберуся у тот Херсон. И каку-таку бабушку Нину Миколаву там искать!» – было весело.

Я никогда до этого не видел столько народа, потому что в свои пять лет не ездил на поезде. Только на трамвае – к мамину брату, где был дом, а в саду росли груши, которые назывались «дули». И

сладкий сок этих «дуль» стекал на подбородок, а мама его вытирала, чтобы не обрызгать пышный бант на моей шее, которого я стеснялся, как и коротких штанишек с чулками-«гольфами», привезёнными «аж с самого Львива».

А теперь я цеплялся за юбку соседки «тёти Галю», натываясь на чьи-то ноги и боясь потеряться в этой вокзальной гудящей толпе. Тётя тащила огромный баул, другая – бабушка – какой-то круглый узел и ещё несколько «оклунков» – «та здесь же еда, как это кинуть!» И при них ещё большая толстая девчонка Люська, она косилась на меня, исподтишка подталкивая вперёд одной рукой, потому что вторая тоже была занята узлом. Было холодно и слякотно, мои белые бурки уже заляпались грязью, и я давно бы заплакал, если бы здесь была няня. Потом появился здоровый дядька в железнодорожной форме – это я потом понял, что он железнодорожник, потому что он расталкивал всех впереди и объяснял, что у него какая-то «броня», и он имеет право, да ещё везёт сына командира: «Они с женой там воюют, а дитё на нас доверили!» А в вагоне было душно и тесно. И тоже стоял гомон, и кто-то громко звал: «Оксана, доню, та где ж ты?» – «Та успокойтесь, мамо», – звенело с другого конца вагона. Поезд дёрнулся, засвистел паровоз. Поехали.

«А няня? – прошептал я, дёргая тётю Галю. – Мы в Херсон едем?» – «Тю, який такий Херсон! На Урал, мальчишечка, с заводом мы... Вот, пожуй пока». Она сунула мне сайку, а я хотел пить, но не решался это сказать.

...Я смотрел на сползающего по гравийно-глиняному языку Серого и примеривался, где можно спуститься в каньон. Бока его опускались метров на сто, надо было идти в обход, чтобы спуститься к оползню. Но как только я отходил, Серый начинал ржать, уже, наверное, пугаясь своей обречённости. Я возвращался, садился в поле его видимости, закуривал очередную сигарету. И уводил глаза от его поголубевшего от боли взгляда.

Человек никогда не может остаться в этом мире один, даже если очень этого хочет. Каждый шаг его неминуемо что-то меняет в окружающем, пусть не всегда заметно, однако – меняет. И в природу чаще всего человек приходит – разрушителем. Даже когда нет войны... О

чём это я? Да, принимать на себя решение, отвечая за иную жизнь, груз нелёгкий.

А поезд уходит всё дальше, и я прижимаюсь к тётке Гале, а она подсаживает меня к окну, за которым мелькают в морозящей сетке дождя хаты: «Гляди там». Я веду пальцем по стеклу холодную каплю. А думаю о своём сером конике, который, может быть, не забыла взять няня Полина и теперь где-нибудь на остановке она меня найдёт, а я оседлаю серого. И ещё вспоминаются слова дядьки об отце, он, конечно же, сейчас воюет, а потом они с мамой приедут за мной, и мы вернёмся домой. С этими мыслями я и уснул, уткнувшись в колени этой толстой девчонки, которая тоже дремала, откинувшись к стенке. Во сне было светло и пахло мамиными духами. И перестук колёс вовсе не нарушает эту сонную тишину.

Внезапно её разрывает непонятный грохот и крик: «Ой, Мамочки! То ж фашисты!..»

Видимо, это уже утром случилось, но очень рано. Поезд, словно подталкиваемый этим гудом с неба, мчался всё быстрее, и колёса теперь перестукивали дробно, словно зубы стучали от холода: «так-та-та-так-та-так...» Это я запомнил: самолёта не было видно, и солнца ещё не было или скрывалось за тучами, а рядом с поездом по земле летела тёмная крылатая тень. Оказывается, здесь уже не было дождя, зато лежал снег. Он был не белый, а голубоватый, словно подсиненный, и по снегу ползла эта мрачная тень. И здесь вдруг в стороне от поезда грохнуло, и вверх поднялась целая стена земли, это было неожиданно и грязно, а вагон наш будто подпрыгнул от удивления, но потом покатил дальше, ещё дробнее постукивая колёсами. Снова грохнуло, уже ближе и впереди, а по крыше застучал град. «Чого ж они робят! – сорвался голос, даже и непонятно чей. – Мужики-и!» А дядек здесь почти и не было, наш же здоровый дядя Семён встал во весь рост, зачем-то развёл руками, словно извиняясь, и прижал к себе толстую Люську.

В окошко мне почему-то увиделся паровоз. Состав изогнулся, как на игрушечной дороге, идущей по кругу. Мне увиделись паровозные колёса – они крутились быстро-быстро, словно старались одни убежать из-под паровоза. А он цеплялся за них изо всех сил, чёрный

дым пыхал из трубы, и клубы его сразу разлёгивались клочьями. Как вдруг... это вот «вдруг» навсегда врезалось в память: новый удар так резко тормознул наше движение, что я перелетел через проход на сидящую напротив тётку Галю. Её тело обмякло, а вагон под нами несколько раз дёргается, словно прыгает на месте, и останавливается. Мужская рука отбросила меня назад, на место, Семён наклонился над ней с причитаниями: «Галю, Галю, ты что?.. сомлела...» Он хлопнул несколько раз по щекам, пока мы не услышали: «Ну, хватит тебе, живая я... маму догляди». Бабушка сидела рядом очень спокойно и как-то совсем недвижно, а Люська держалась за её руку и глаза у неё стали круглыми, как у совы. Метнувшийся к ним дядя Семён открыл передо мной окно, я привстал и увидел, как паровоз всего с несколькими вагонами поднимается на всхолмие.

Видениям детства, пережитым, придуманным ли, или прожитым в позднем пересказе, свойственно возвращаться запечатлённой навсегда кинолентой. Вот помню же и через столько десятилетий лицо того румынского пленного – не солдата, нет, скорее унтера или какого-нибудь младшего офицера – помню его ледяной взгляд и тонко кривящиеся губы. Это уже года два после войны, уже мать давно нашла меня в детдоме где-то под Новосибирском, и привезла меня с маленькой сестрой на Урал навсегда, потому что отец уже погиб... Я бегал в школу. А пленных румын возила на стройку старая полуторка, в кузове которой у кабины ещё торчала труба «дровогенератора», хоть и давно мотор её вернулся к привычному бензину. И мы повисали на низком борту той полуторки, чтобы по пути доехать до школы. Стоял мороз, и руки заоченели даже в варежках, и потому, наверное, было ещё больней, когда он ногой в сапоге ударил по пальцам, и я свалился на укатанную дорогу. Зачем ему это надо, тому румыну?.. Война? Так она давно закончилась, даже немцы уже ходили расконвоированными, и прикармливали их без злости русские вдовы за домашнюю работу. Человек, это очевидно, не может долго находиться в ожесточении, в памяти ожесточённой. Иначе он сойдёт с ума. Да и само человечество вымерло бы, не будь дана ему защита, зовущаяся в народе незлопамятливостью.

...По снежно-серому полю у замерших и обрушившихся с откоса вагонов растекались люди, а паровоз игрушечно перевалил холм и

исчез. Захваченные общей паникой, мы тоже выпрыгивали из вагона, а дядя Семен спрыгнул с неподвижной бабушкой, на лице которой застыла кривоватая усмешка. Её смерть они осознают позже, и рыдать будут позже. Потому что сейчас всеми овладел страх и непонимание, которое обращало страх в ужас. Чёрный самолёт под солнцем не полетел за паровозом. Он ревел, делая широкие круги над мечущимися людьми, над скособоченными и где-то дымящими вагонами. И тататакал из пулемётов, наверное, уже просто забавы ради, потому что, как потом говорили, это уже почти никого не задело. И улетел, приветно покачав крыльями.

Сразу наступила тишина, в которой тем слышней текли причитания, детский плач, и отдельные выкрики, похожие на команды. Дядя Семён положил бабушку прямо на серый снег, о чём-то наклонился к тёте Галю и побежал к дымящимся вагонам. Мы с Люськой, или я – за ней, зачем-то побрели следом, а тётя нас не остановила. И опять это – «вдруг».

Такого крика-вопля-стона я больше никогда в жизни не слышал на протяжении более полувека будущей моей жизни... Он притягивал к себе и заставлял испуганно втягивать голову в плечи, даже не озираясь. Память ли это, рассказ ли поздний, но я увидел эту женщину на снегу, её почерневший в крике рот и какие-то белёдые глаза под исчерна-изогнутыми бровями и чистым лбом. Уже не женщину – её половину, почему-то живую, хотя на носилках-то лежала одна «победренная натура» – это я потом, уже взрослым, пытался назвать словами состояние раздробленного тела. И над этим криком наклонилась женщина в форменном ватнике, пытаясь что-то сделать, хотя кровь медленными толчками вытекала из-под её рук прямо на снег. «Отпусти... убей... о-отпуск-сти... сестра», – хрипел среди боли голос. «Я военврач, потерпи», – говорила военная, и бинты и руки её дымились чужой кровью. «Да отпусти же... не могу же!» – вдруг ровно-серым голосом чётко произнесла раненая. И вот это врезалось мне в память сначала детским любопытством, а позже – окатывающей холодом жутью. Не по истерзанной даже красоте, а за того военврача, который решился с этим жить дальше...

Женщина в форме выпрямилась, на секунду замерла, словно дожидаясь и утверждаясь в новом крике боли. Потом зачерпнула снег,

растёрла его, порозовевшего, в руках и отряхнула. Она расстегнула кобуру, висящую на бедре, и вынула револьвер. Точно помню – револьвер, он был массивен в её руке и гляделся тяжёлым. Рука с револьвером опустилась вниз. «Ну-у...» – скривились губы на носилках. И щёлкнул взведённый курок. Стоящие рядом два железнодорожника, ещё какие-то люди отвернулись. И глухо хлопнул выстрел из уткнувшегося в бок ствола.

То была ведь война. Самое её начало. Конечно, детство на этом не кончилось, спустя три года мы с приятелем даже убегали в поезде на восток, на войну с японцами, пусть и не очень далеко, всего на несколько станций. Не кончилось детство. Но чудесных чудес в нём уже не оставалось.

...А бедный мой Серый конь был обречён. И я знал уже, что должен это взять на себя и не длить его боли и ужаса. Пока живые мы и чужую боль должны уметь принимать в себя... К кордону, на котором я жил и работал эти годы, я подходил почти через половину суток. Один. Кавалерийское седло, пахнущее Серым, было тяжёлым.

Как сама память.

Борис Мисюк

ВОЕННАЯ ЦЕНзуРА

Рассказ

К «ВЦ» – эпиграф:

Фронтное письмо

Каких только чудес на белом свете нету!
 Конверт о трёх углах, обычный, фронтной...
 Полвека, почитай, он провалялся где-то.
 И вот пришёл с войны и лёг передо мной.
 Наткнувшись на него среди макулатуры,
 Я понимал: читать чужие письма – грех.
 Но аккуратный штамп «Проверено цензурой»
 Как бы уже письмо приоткрывал для всех.
 Был цензор фронтной работой цензурных правил.
 И он (а вдруг письмо да попадёт врагу!)
 Лишь первую строку нетронутой оставил
 Да пощадить решил последнюю строку.
 Я цензора сейчас не упрекну в бездушье.
 Он свято чтит свой долг, он знает свои права.
 Не зря же он письмо замазал жирной тушью.
 Наверно, были там и вредные слова.
 Писалось то письмо в окопе? на привале?
 И кто его писал – солдат ли? офицер?
 Какие сны его ночами донимали?
 О чём он помышлял во вражеском кольце?
 Лишь «Здравствуй, жизнь моя!» –
 оставлено в начале.
 И «Я люблю тебя!» оставлено в конце

Геннадий Григорьев

В Ц

Чтоб излишне не интриговать читателя, сразу расшифрую: ВЦ – это военная цензура. В 1943-ем там работала Полина Кирилловна Шевченко, наша мама. А мы с братом сидели, закутавшись в одеяла, в холодной квартире и грелись, сочиняя и рассказывая друг дружке сказки про жаркие страны и шоколадные деревья. Когда началась война, мне было полтора года, а брату пять. В небе над промёрзлым городишкой, на верховых ветрах войны незримо реяли кровавые полотноща, растяжки:

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Тыл. По словарю, это *задняя сторона чего-либо, спина, хребет, затылок, холка*. И подставляли русские женщины и спины свои, и хребты под пудовые мешки с углём, зерном, под брёвна и шпалы, впрягались в плуг, надсаживая по-лошадиному холки. Да ещё и пели при том:

Я и лошадь, я и бык,

Я и баба, и мужик!

У мамы работа была, так считали, непыльная, бабы завидовали ей. Но приходила она домой затемно, вымотанная почище, может быть, чем мешками и даже плугом. Что ж она делала там, на своей работе?..

Сакраментальные слова «военная тайна» скрывали в те страшные годы очень-очень многое, в том числе и суть маминой работы. И лишь когда пришёл с фронта отец, когда напил, нарубил и натаскал в дом дров, воды, отмылся от крови и грязи войны, отдышался, они с мамой, наконец, разговорились до слёз. Так узнали нечаянно и мы с братом частицу той *военной тайны*. Я хранил её более полувека...

Бабы доля на Руси, ох, тяжела ж она, та доля. И без войны тяжела, а в войну... Протопоп Аввакум в своём «Слове плачевном о трёх исповедницах» говорит: *«Бысть же жена веселообразная и любовная... быша бо слёзы от очию ея, яко река, въздыхание бо утробы ея, яко пучина морская колебашеся...»* Искони ведётся у баб русских – в горе ли, беде, в несчастье самом малом прислониться к мужнину плечу, припасть к могучей груди его, поплакать, душу облегчить. А тут война! Четыре года надрывного труда, да дети на глазах твоих с голоду пухнут, да с неба не дождь, не снег – бомбы сыплются... И вот

приходит с фронта такой долгожданный треугольничек с адресом полевой почты и чернильной печатью: *солдатское, бесплатное*. И бросает баба топку-стирку-готовку и, послунив химический карандаш, пишет-пишет-пишет родимому про всё – про всё, про все свои беды и страхи, про напасти и ужасы, страсти египетские, поливает бумагу слезами горькими, заклеивает ими же конверт и опускает в почтовый ящик.

Все письма на фронт, все миллионы и миллионы этих писем проходили через ВЦ. Тысячи и тысячи тех писем, половодье любовных признаний и ночных кошмаров, а более всего смертной тоски и отчаяния, горя и гибельных вестей прошли навывлет сквозь мамину душу. Но не миновали чёрной цензурной туши и кисточки. Вот всё, как рассказывала мама отцу, что однажды осталось от письма с белгородщины на фронт, письма о ночной бомбёжке, крови, смертях:

Здравствуй, наш дорогой и любимый!

Мы почти все остались живы. Нас бомбили вчера три часа кряду. Погибли почти все наши соседи, дома падали, как карточные.

Ужаooo!

И так – поллиста, сплошь залитого тушью. Потом – вот такой обрывок строчки:

Бомбы в небе выли и падали, а одна не взорвалась. Но крови было ужаooooo.

Кошмар продолжался и ночью. Подъехала наша зенитная рота, но это, в общем, смерть, смерть и смерть, кровь, кровь и кровь, крики звериные.

И снова – поллиста аспидно-чёрных, а в самом низу:

До свиданья, любимый наш, береги хоть ты себя!

И – всё...

Александр Ткаченко

11 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА

- Деда, куда мы идем?
- Не плачь, погулять...
- А почему все плачут вокруг?
- Им больно...
- Отчего?
- Туфли жмут, не плачь, успокойся...
- Что, жмут всем сразу?
- Да...
- А почему небо такое серое?
- Хочет укрыть нас облаками, не плачь...
- А солнышко куда подевалось?
- Его кто-то кисточкой размазал, когда рисовал этот день, не плачь...
- Плохой художник, правда?
- Не плачь, дай обниму покрепче...
- А ветер, почему холодный такой?
- Он сам замерзает еще с вчера, не плачь...
- А мама, почему так плачет, она что, маленькая?
- Да, очень маленькая, еще меньше тебя...
- И папа?
- И папа меньше меня...
- А он, почему не плачет?
- Чтобы ты не боялась, успокойся, не плачь...
- А куда мы идем?
- На расстрел...
- А что такое «нарасстрел»?

- Это такое действие, не плачь...
- Какое действие?
- Когда одни делают вид, что стреляют, а другие делают вид, что падают и умирают, не плачь...
- Это похоже на сказку, да?
- Да, похоже на сказку...
- А что будет после «нарастрела»?
- Пойдем домой, не плачь....
- А завтра что будет?
- Пойдем с тобой в парк погулять, не плачь...
- И солнце появится, небо раскроется, и ветер утихнет, и потеплеет?
- Конечно, не плачь...
- И я вырасту и стану большой как это дерево?..
- Да, только корнями вверх, не плачь...
- Как это корнями вверх? Не хочу...
- Теперь это все равно, не плачь...А то выплечешь все свои слезы, и нечем будет плакать потом, после жизни...
- А как это после жизни?
- Солнце нельзя растворить, небо покрыть облаками, и вместе никто не плачет и никто никого не ведет на расстрел...
- А нас куда ведут?
- Нас никто не ведет, это мы сами гуляем, прижмись ко мне по сильнее и глазами смотри мне в глаза...

«Шел дождь со снегом. Крымский, нудный, беспросветный. Такой обычно бывает в декабре. Перед противотанковым рвом, выдолбленным жителями Симферополя между июлем и сентябрем 41 года, на деревянных подиумах стояли недалеко друг от друга три станковых пулемета. Они стреляли почти бесперебойно и на них выталкивали людей, раздетых почти догола. Стоял крик, плач, проклятия, мольбы... Многие молчали, обезумевшие. Немного в стороне чернела кучка нацистского начальства. Наблюдали. Немцы были все пьяные и постоянно прикладывались к бутылкам. Даже звери не вынесли бы такого без шнапса или водки...»

Это рассказывал таксист с багровым склеротичным лицом, лет около шестидесяти.

«Мне было тогда лет десять, мы жили рядом, в деревне Мазанка, и с пацанами часто выходили на Феодосийское шоссе посмотреть на немецкие «Опель-капитаны» и грузовые военные машины, на проползающие иногда танки, на колонны немецких и румынских солдат... Вообще мы бегали и ползали в окрестностях нашей деревни повсюду. Жизнь наша была однообразна, и мы искали всегда чего-то, необычного что ли... Ну, вот так, однажды, я один пошел к своему другу в деревню, на другую сторону дороги и скрылся от холодного дождя в кустарнике. Метрах в трехстах от шоссе вдруг увидел вереницу подъезжавших со стороны Симферополя немецких грузовиков с кузовами, покрытыми брезентом. Грузовики остановились на правой стороне дороги, против движения, и из них стали выталкивать людей и гнать ко рву... На какое-то время все стихло, а потом я услышал крики, стрельбу, пулеметные очереди. Я попытался перебежать к другим кустам поближе, но видимо меня заметили, и автоматная очередь чуть не вспорола мне брюхо... Я затаился, и мне удалось попозже убежать в перелесок. Разглядеть, что происходит, было трудно, но было ясно, что там расстреливали людей. Грузовики с людьми все прибывали и прибывали, возвращаясь в город пустыми... Крики и рев были слышны и отсюда. Были видны и гестаповцы, и полиция в гражданском, с повязками на руках. К вечеру я вернулся потрясенный домой, где мне рассказали, что там расстреливали евреев и крымчаков. Даже нашу соседку крымчачку забрали...

Нас не выпускали на улицу, и все ставни в домах были наглухо закрыты, но те, кто выходил на двор – слышали три дня подряд пулеметную стрельбу и крики вдалеке... Долго после этого мы боялись подойти ко рву. Взрослые рассказывали, что кто-то из деревенских подползал ко рву вечером дня через два или три после того, как перестали слышаться выстрелы и плач, – они слышали в морозной тишине стоны, доносившиеся из-под земли... Только месяца через два, в конце января, мы, несколько мальчишек из Мазанки пошли днем туда, на ров. Там было все присыпано землей и снегом, но в некоторых местах были видны тела убитых. Мы испугались и убежали домой... Помню: в деревне говорили о том, что кое-кто спасся, отлежав раненым и присыпанным землей. А наша крымчачка, по-моему ее фамилия была

Гурджи, и вовсе сбежала. Но в деревню никого не приняли – побоялись. Поэтому, куда исчезли спасшиеся – не знаю...»

Немецкие войска заняли Крым к осени сорок первого года. В это же время сразу же началась подготовка акций геноцида крымчаков и евреев. Повсюду в городах были расклеены на стенах, заборах, на афишных тумбах листовки, сообщавшие, что все крымчаки должны зарегистрироваться для отправки в Бессарабию, якобы из-за нехватки в Крыму продовольствия для мирного населения. Затем последовали новые призывы: они должны были взять с собой все самое необходимое и собраться в нескольких местах. К примеру, в Симферополе – в Семинарском сквере в центре города, на улице Студенческой в старом городе... По дворам ездили немецкие бортовые машины и собирали крымчаков по дворам. Люди чувствовали беду: плакали, прощались, провожали соседей, как родных. Женщины, старики, дети... Почти все мужчины были призваны в армию в начале войны.

Варварское уничтожение крымчаков немцами произошло недалеко от Карасубазара, на повороте дороги на Исткут. Это было одно из первых испытаний машин-душегубок. Газ поступал в кабину с людьми от работы двигателя. Свидетели рассказывали: когда душегубки поехали на большой скорости, то газ не успевал поступать в камеры, и моторы заглохли. Люди вырывались из душегубок, но их добивали из автоматов. Палачи недоуменно говорили: «Мы хотели как лучше, на скорости, чтоб скорее задохнулись...»

Массовый расстрел у рва был совершен сразу через месяц-полтора после карасубазарского. Было казнено около восьми тысяч крымчаков и около четырех тысяч евреев. Потом прошли расстрелы в Феодосии, Ялте. После июля сорок второго, когда пал Севастополь, то же самое произошло и там. Даже поступок одного из авторитетнейших крымчаков Исаака Кая из Керчи, пришедшего в гестапо и попытавшегося доказать своими опубликованными статьями тюркское происхождение крымчаков, смог вероятно только приостановить расстрелы на время. Педантичное гестапо отправило запрос чуть ли не в канцелярию Гимmlера по статьям Исаака Кая. Но ответ был неутешительным. Расстрелы возобновились. Исаак Кая посмел сказать о том, что негоже армии воевать с мирными жителями, – как евреями, так и

крымчаками. «Расстреливаем именно потому, что вы одной иудейской веры, а не разного происхождения», – так ответили Исааку Кая. Кстати, он чудом уцелел и умер только через несколько лет после войны.

Из тех, кто вырвался из рва и спасся, никого конечно нет сейчас в живых. Но в разговорах крымчаки передают друг другу некоторые подробности, услышанные от переживших этот ад. Говорят, что немцы приказали раздеть девочку лет пяти перед расстрелом. Кто-то из своих крымчаков предложил все же набросить ей на плечи хотя бы платок... Холодно...

РЕМЕСЛО ЯКУБА

– Так ты из Крыма? Крымчак? Еврей, значит... Как же ты оказался здесь? Тебя должны были убить еще в сорок первом и забросать землей в противотанковом рву, а? Скольких ты предал, чтобы выжить, признавайся! Не хочешь... Тогда сиди, Якуб... Как тебя: Бакшиш или Бакши?

– Да какая вам разница...

Якуб отправился в свой барак, лег на спину, закрыл глаза и стал прокручивать картину памяти назад.

Ему было двадцать три года. И почему он должен был погибнуть еще в сорок первом? Что этот особиет несет? Какой противотанковый ров? Его забрали на фронт в девятнадцать, летом сорок первого...

Якуб родился в Керчи. Отец был сапожником, шил в основном кожаные тапочки и этим кормил семью. Потом воевал на Халхин-Голе. Осколок перебил ему большой и указательные пальцы. После этого Якуб начал шить тапочки, а отец продавал их на рынке и по всему городу.

Якуба сразу послали на передовую. Даже оружия не дали. Построили колонной и сказали: «Оружия нет, вот видите высотку, там за ней склад с винтовками, пробьетесь, вооружайтесь, и будет чем воевать. Вперед!» К складу в рукопашной схватке пробились единицы, в том числе и Якуб, всех остальных убили. Когда сбили замки, то увидели: в козлах стоят винтовки образца 1893 года с примкнутыми штыками. Тяжелые, неуклюжие, и пули были большие, словно косточки от слив.

Винтовки били в цель плохо. С ними и пришлось пробиваться уже из окружения к своим. Месяца два. Но попали в плен к фашистам, и все кончилось. Это уже было где-то на Украине. Рядом татарин, тоже из Керчи. Земеля... Татарин сказал Якубу:

– Слушай, Якуб, давай я научу тебя, как молиться по-мусульмански, я слышал, что немцы не расстреливают нас, а? Язык ты наш знаешь, точнее понимаешь, может, пройдет, а? И фамилию назовешь не Бакши, а Бакшиш... А то ведь шамальнут, на хрен, а там разбирайся.

Разговор состоялся, пока они шли к месту, где их загоняли за колючую проволоку. Якуб поверил земляку и стал молиться с Рахимом вместе, как полагается. Немцы на допросе так и записали – татарин, Якуб Бакшиш...

Потом начались расстрелы, разбирали по партийности, национальностям, по месту службы... Оставались редкие, даже Рахима почему-то расстреляли. Якуб был высокого роста, силен, видно, что работать сможет, и сначала его поставили в отряд для отправки... Куда? Непонятно... Но потом вдруг передумали и снова сбили всех в кучу. И вот тут-то начали выкрикивать пофамильно, и стало ясно, жизнь разделяет их кому-куда: кому в расход, а кому на работу. Что подтолкнуло Якуба, он не знал. Помнил только: выкрикнули чью-то фамилию, а тот почему-то не вышел. И он, Якуб, надвинув шапку поглубже на глаза, шагнул в сторону рабочего отряда, встал в строй, и, странно, никто не остановил его... Он стоял в шеренге, и секунды тянулись вечностью. Наконец им скомандовали идти вперед, к машинам. Уже уезжая, они слышали крики и автоматные очереди. Это расстреляли оставшихся...

Якуб был отправлен в лагерь на территорию Западной Украины. Там ему опять повезло. Как-то он починил сбитый каблук простым камнем немецкому конвоиру, и тот понял, что Якуб – сапожник. С тех пор и до конца войны, до освобождения он работал сапожником в лагере. Подбивал каблуки, набойки, ставил латки на протертые сапоги, даже шил тапочки тому, кто просил, из остатков военных сапог, из голенищ. В общем, как говорится, пристроился. А что было делать? Всех заставляли работать на строительстве бункера, таскать тележки с бутом, месить раствор. Якуб сидел в закутке, в бараке и медленно делал свое дело.

Но все-таки кто-то его заложил. Кто – непонятно. Пришли из канцелярии и забрали. В конторе просто спросили: «Юдэ?»

Якуб покачал головой: мол, нет... Пригласили доктора. Это была женщина, и ее никто никогда не видел, потому что она обслуживала немцев. Она пришла, попросила всех отвернуться к стене и жестом приказала Якубу приспустить штаны вместе с трусами. И взглянула. И твердо сказала: «Юдэ».

– Обычай у нас одинаковые, в детстве праздник такой Ораза, посвящение в мальчики и у мусульман, и у...

– Вот ты и проговорился! Сапожник ты хороший, но еврей. Посадить пока в камеру, – и ушла, исполнив свой профессиональный долг: молодая, надменная.

Якуб остался один в камере-одиночке. И вот тут-то вспомнил уроки Рахима по совершению намаза. Он вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. И стал молиться с утра, днем и вечером, как подбаивает мусульманину, сидя на коленях и припадая лбом к полу, снимая перед этим ботинки. Отец когда-то научил его древней молитве крымчаков, в которой было обращение к Аллаху, это его и спасло. Через несколько дней его выпустили и, ничего не сказав, отвели в каморку, сказали: «Работай».

Примерно через неделю его снова привели к доктору. Она долго осматривала его. Слушала сердце, заставляла дышать и пыталась поймать хрипы в легких, затем заставила показать язык и обнажить зубы, надавливая пальцами в резиновых перчатках на десны и, наконец, сказала: «Чертовски здоров». Ей было на вид лет тридцать, на немку она не была похожа. Черные волосы, лучистые серые глаза выдавали в ней южанку. Осмотр продолжался более часа. Уже темнело, и когда по коридорам все стихло, она вдруг неожиданно сказала:

– А теперь раздевайся совсем... Я еще тогда поняла, что ты хороший мужчина.

Якуб, не привыкший к таким отношениям, да практически и не успевший до войны прикоснуться к женским прелестям, был потрясен и, естественно, в первый раз оплошал. Но Лиана, так звали врача, успокоила его и сказала, что скоро все наладится. В следующий его приход она уже не отпускала Якуба часа два, да он и не хотел уходить. Так начался роман заключенного Якуба Бакшиша и медсестры Лианы.

ны, румынского происхождения. В концлагере она считалась врачом, хотя была на самом деле медсестрой. Уже кончался сорок четвертый год. Со слов Лианы Якуб понимал, что войне скоро конец. Их встречи были не очень частыми, но все равно были замечены. Якуба отправили в общий барак, и он стал работать вместе со всеми на строительстве бункера. Лагерь их находился недалеко от города Станислава, вблизи Карпатских гор. Особого значения, как думал Якуб, лагерь не имел, потому что не было сильной охраны, и большое начальство появлялось редко. Примерно через месяц он опять увидел Лиану. Та успела сообщить: скоро их будут переводить в Германию, и она постарается, чтобы они с Якубом попали в одно и то же место.

Вскоре, это уже было весной следующего года, часть военнопленных погрузили в вагоны, и они поплыли неведомо куда. Якуба увезли тоже. В пути началась бомбежка. Состав из пяти полных вагонов был разгромлен. Якуб помнит только, что увидел Лиану, которая знала, в каком вагоне он ехал. Все заключенные, кто остался жив, практически разбежались. Лиана и Якуб тоже пошли в сторону гор и вскоре оказались далеко от железной дороги, взрывов, реальностей войны. Сосновый прикарпатский воздух, весна делали свое дело. Они стояли посреди небольшой поляны и могли идти в любую сторону. Солнце и цветы уложили их на траву, и они долго лежали, глядя в прозрачное небо, потом начали целоваться как безумные... Неужели конец всему ужасу? И что дальше?

Лиана прихватила с собой немецкий альпийский ранец, в котором было все на первое время, даже бритве для Якуба, и у ручья она выбрила ему лицо и вновь была поражена его красотой. Несколько дней они жили как первобытные люди, медленно углубляясь в горы...

Однако нельзя быть в мире посреди войны, нельзя быть в счастье посреди стольких несчастий. После почти трехнедельного скитания в предгорьях Карпат они проснулись утром от того, что кто-то на них смотрел. Это были четыре бандэровские рожи, небритые, вооруженные, чем попало... Они привязали Якуба к дереву кожаными ремнями, раздели догола Лиану и начали по очереди насиловать. Лиана молила о пощаде, плакала, кричала, но никто не слышал ее, кроме Якуба, который только плакал... Наконец, когда все закончилось, они собрались уходить, забирая с собой связанную Лиану.

– Она нам еще пригодится, а ты... ты так и оставайся, тебя или медведи сожрут, или пчелы выедят до беленьких костей...

И ушли, одетые в советско-немецко-румынскую форму. Лиана не могла и слова сказать, рот ее был забит кляпом. «Где-то недалеко люди, – подумал Якуб, – коль боятся криков и рот ей все время зажимали...» Но на душе было гадко, отвратительно, он чувствовал себя животным, будто принимал участие в этом омерзительном действии.

Он остался один, привязанный кожаными ремнями к дереву. Его, сапожника, оставили наедине с деревом и кожей? Это то, что он впитал в свои поры с детства. Уже через пару часов он освободился, умело растягивая кожанные ремни. И пошел по следу бандитов.

К вечеру он настиг их и из-за скальных камней увидел, что расположились они на берегу небольшой, но быстрой, и уже по-весеннему разливающейся горной речки. Лиана сидела связанной по ногам, рот ее был свободен. Бандиты трапезничали, пили, хохотали, издевались над Лианой, называя ее проституткой, сучкой... Наконец они утихли, отползли от воды, от ее разлива, связав Лиану еще и по рукам и заткнув ей рот. Они были слишком пьяны и быстро уснули. Якуб спустился, сделал рукой Лиане знак молчать, быстро собрал оружие и теми же ремнями связал всех по рукам и ногам, да так крепко, как может только сапожник. Они стали просыпаться и кричать, когда поняли, что Якуб тащил их к воде. Лиана помогала ему.

– Ну, сволочи, зверье, теперь кричите – не кричите, через час-полтора вода снесет вас в реку, и вы сдохнете... – Никакой жалости к этому животному Якуб не испытывал, когда, уходя с Лианой, слышал отдающиеся крики с берега горной холодной карпатской реки.

Лиана молчала, потрясенная пережитым за день. Они легли спать на ельнике вместе, обнявшись, уснули молча... Утром Якуб, не найдя Лианы рядом с собой, начал лихорадочно осматриваться вокруг и увидел ее недалеко от их последнего ночлега повесившейся на нижней ветке сосны...

Еще через неделю оголодавший и словно бы ссохшийся Якуб вышел к озеру. На другом берегу он увидел красивую, сказочного вида деревеньку. Это была уже Австрия. Было тепло, и он, выспавшись в лесу, пошел к людям. Те сказали ему: война уже кончилась, и он может наняться к ним батраком. Здесь он и прожил года два, работая

сапожником, и вся округа носила ему чинить обувь. Якуб грустил по дому и, конечно, по Лиане. Два раза он добирался до того места, где похоронил ее. Во второй свой приход он прикатил небольшой камень, отрубив его от скалы, и установил как надгробие, выбив долотом и молоточком: «Лиана, прости Якуба. 1946 год».

В 1947 году он вернулся в Крым, имея на руках только справку от деревенского австрийского старосты, где было написано, что с сорок второго по сорок пятый он был в концлагере у немцев, бежал, а по сорок седьмой работал в деревне Ватсбург (Австрия) сапожником.

Долго крутили в руках эту нелепую справку следователи и отправили все-таки на пять лет работать за Урал, на лесоповал. Там начальник лагеря, прочитав в деле, что Якуб сапожник, позвал его к себе и приказал:

– А ну покажи руки, знаю я таких сапожников...

Но, увидев на правой руке между большим и указательным пальцами мозоль, а на всех суставах следы от дратвы и шила, помолчал и послал работать по специальности. Новых сапог и ботинок тогда было мало, а вот старые нужно было чинить и чинить.

Вернулся он в Керчь в пятьдесят втором и поставил свою сапожную будку возле вокзала. И сразу стал центром общения: к нему шли и за советом, и подзанять денег, и простой люд, и начальство. Хорошие набойки были тогда в цене, да еще, если их делал сапожник, который чинил русскую, немецкую, румынскую, австрийскую обувь.

А в красивых глазах мастера была необъяснимая печаль...

Анатолий Ванукевич

Я БЫЛ № 99176

Воспоминания бывшего малолетнего узника фашистских лагерей смерти Освенцим (Аушвиц), Гроссрозен и Нордхаузен

Я думаю, в моей жизни наступил самый ответственный период. Размышляя о прожитом и оценивая почти 53 года «сверхплановой», подаренной мне судьбой жизни, я прихожу к мысли, что годы после 11 апреля 1945 года были для меня временем хорошей, интенсивной, порой нелегкой жизненной школы.

В конце 1942 года в возрасте 12 лет после гибели родителей я остался совершенно один, и в течение последующих лет, особенно с 1942 по 1945 годы, сама жизнь учила меня жить и добиваться маленьких, но важных побед. Уже в те годы, пытаюсь оценить ту или иную ситуацию, я доискивался до истины и думал: почему мир устроен так, что есть победители и побежденные, есть угнетенные и порабощенные, есть мародеры, убийцы, головорезы в фуражках с эмблемой в виде человеческих черепа и костей?.. Тогда я не находил ответа на эти вопросы.

Фашизм как чудовищная чума XX века зародился во вполне цивилизованной стране Европы – Германии. Гитлер, придя к власти в январе 1933 года, смог осуществить свои кровавые планы из-за разобщенности и нерешительности ведущих стран мира того времени. Главы правительств Англии, СССР, США проводили выжидательную политику. И только захват нацистами большей части Европы, в том числе и бывшего СССР, побудил вышеназванную тройцу создать в 1942-1943 годах антигитлеровскую коалицию. В итоге она разгромила фашизм только в 1945-м, заплатив при этом огромными человеческими потерями и – миллионами жизней и еще очень многим.

Мысли об этом неоднократно побуждали меня еще и еще раз оценивать увиденное и пережитое в годы второй мировой войны. В продолжение этих тяжелейших лет я мечтал об одном: во что бы то ни стало выжить и рассказать людям о том страшном, очевидцем и участником которого я был.

Я видел, с какой жестокостью уничтожали целый народ только за то, что его представителям суждено было родиться на свет евреями. Были и в прошлом экзекуции и погромы, но Гитлер превзошел все злодеяния минувшего. Решение так называемого «еврейского вопроса» он рассматривал как основную цель своей жизни, о которой он официально известил мир в своем «труде» «Майн кампф» («Моя борьба») еще в середине 30-х годов.

Есть вещи и деяния, которые человечество никогда не сможет забыть, никогда не сможет простить. Это – фашизм 30–40-х годов. Пройдут годы, века, а цивилизация снова и снова будет обращаться к прошлому. История не знает будущего без прошлого. И сейчас, спустя более полувека после Катастрофы, человечество все еще не утрачивает ощущения, что в истории XX века остаются «белые пятна». Кто как не мы можем и обязаны поведать правду о пережитом? Кто, если не мы, расскажет молодому поколению о жизни отцов и дедов, матерей и бабушек, о частице истории самого жестокого века? Многие авторы – историки и политики, по разным причинам нам не всегда могут изложить всю правду о тех или иных событиях. Жестокая цензура прошлого и сейчас порой хозяйничает в наших умах, и мы иногда с великой осторожностью и боязнью подходим к рассказу о жизненных коллизиях прошлого. А ведь факты, как известно, упрямая вещь. И архивы еще долгие годы будут для нас источником правдивых сведений о прошлом. О чем-то можем поведать и мы, живые его свидетели.

Посетив в последние годы два всемирно известных музея, посвященных Катастрофе, – Освенцим и Яд Вашем, я утвердился в мысли, что слишком рано закрывать тему второй мировой войны. Чем глубже я изучаю опубликованные труды о ней, тем со все большей отчетливостью предстают предо мной дни минувшие.

Вот некоторые цитаты из книги известной польской исследовательницы Хелены Кубки «Дети и молодежь в концлагере Освенцим»:

«Особо трагична была судьба детей и молодежи в концлагере смерти Освенцим. Детей отбирали у матерей и умерщвляли их на глазах самыми коварными методами – удар по голове, сброс в горящую яму. Этот садизм сопровождался ужасными криками еще живых родителей. Трудно, невозможно установить число погибших детей.

Однако по общей численности транспорта, количеству вагонов в составах можно подсчитать, что только в Освенциме погибло 1,3–1,5 миллиона детей, по большей части еврейских, цыганских, привезенных из Польши, Белоруссии, Украины, России, Прибалтики, Венгрии, Чехии и других стран».

Далее автор приводит статистические материалы архивов: «Первый транспорт прибыл в Освенцим в марте-апреле 1942 года из Словакии, затем из Франции. Так, с 27 марта 1942 года до 11 сентября 1944 года только из Франции прибыло 69 больших и два меньших состава, где находилось около 69 тысяч человек, в том числе 7,4 тысячи детей». А ведь были в те годы составы с евреями из Бельгии, Германии, Австрии, Норвегии, Голландии, Югославии, Греции, Италии и особенно большие из Польши.

В итоге по оценке историков многих стран (имеется официальная статистика) из более чем 6 миллионов уничтоженных евреев до 50 процентов приходится на жителей Польши, где до 1 сентября 1939 года проживали более 3 миллионов евреев.

Геноцид целого народа в 1933–1945 годах оставил тяжелый след в истории. Еще не все имена и фамилии погибших известны и обнародованы, не все злодеяния фашизма раскрыты. Кто может дать ответ на вопрос: сколько гетто было на территории Польши, Белоруссии, Украины? По имеющейся оценке, только на территории Польши было 400 гетто, но до сих пор остаются неизвестными имена всех жертв. По Белоруссии, Украине вообще отсутствуют подобные оценки.

Дорога, по которой прошли чудом уцелевшие узники в 1941–1945 годах, тяжела и сложна, она для каждого сложилась по-своему, и многие наши собратья – большая часть бывших узников – не дошли до конца этого страшного пути.

Я не могу забыть эпизоды лагерной жизни в Освенциме 1943–1944 годов. Перед глазами – виселица на апельпляце и станок, где мы получали свои «порции» ударов. Мне пришлось пройти и «Politische

Abtielug» – политический отдел, где ударами плетки меня «награждал» бывший комендант концлагеря оберштурмбанфюрер Рудольф Гесс. Из моей памяти не стерлось обличие обер-врача – садиста в белом халате Иозефа Менгеле, на совести которого бесчисленные малолетние жертвы. Я уже многие годы ношу с собой портреты этих двух извергов, чтобы показывать людям. Всегда со мной фото, сделанное 1 февраля 1943 года, где я изображен в трех видах в полосатой форме, полученное мною из архива Освенцима еще в 1965 году.

Приведу одну цитату польского писателя Игоря Неверли – бывшего узника Освенцима. Он писал: «Правда Майданека или Освенцима – это трудная правда, а для тех, кто прошел через это – очень личная правда. Мне кажется, что отображение этой правды во всей ее сложности станет возможным лишь в произведениях будущих поколений. Она, эта правда, будет подлинная, как смерть, и уже не будет отравлять».

Кратко расскажу о своем тюремно-лагерном пути длиной в 1375 дней и ночей, начало которому положила война.

Начало войны запомнилось мне на всю жизнь ночной бомбежкой 22 июня 1941 года. Гродно, где мы жили, – пограничный город, стал жертвой фашизма в первый же день войны. Это была легкая добыча: город был окружен и взят без особого сопротивления. Покинуть его каким-либо способом было практически невозможно.

До начала войны мы жили обычной мирной жизнью. Отец, единственный кормилец семьи, портной высшего класса, имел свою небольшую мастерскую на улице Ожешко. Проживали мы рядом – в двухкомнатной квартире на улице Городничанской (затем Энгельса), 12. Отец был родом из Варшавы, а мать (девичья фамилия Любич) – из Гродно. В семье было трое детей – старшие сестра и брат и я. Хорошо помню, как уже в июле 1941 года евреям запрещалось ходить по тротуарам. Мы должны были пользоваться только проезжими дорогами. Вскоре появились и желтые «звезды Давида», которые нас обязали пришивать к верхней одежде.

Гродненские гетто (их было два) появились сразу же, летом 1941-го. Окруженная колючей проволокой, ограниченная территория была для нас, мальчишек, барьером, который мы часто преодолевали и ухо-

дили в город к полякам на поиск продуктов в обмен на одежду, ценные вещи, что родителям удалось сохранить. В эти гетто были согнаны не только жители города и близлежащих районов, но периодически туда поступали и еврейские семьи из Польши, Прибалтики, более отдаленных стран – Австрии, Чехии.

Первое время работоспособных мужчин использовали на разных работах в городе и области. Затем стали отбирать группы людей якобы для переселения. Потом мы узнали, что их расстреливали недалеко, в деревне Колбасино, которая была превращена в братскую могилу, не единственную в области. В гетто по причине голода, холода и болезней ежедневно умирали десятки, сотни мирных граждан. Их тут же хоронили возле домов, где они жили. Периодически проводились расстрелы и повешения, которые продолжались до конца 1942 года. На них сгоняли население гетто.

В конце 1942-го гетто было ликвидировано. Заключительный период ликвидации осуществлялся по особому плану. Ежедневно людей железнодорожными составами вывозили в концлагеря смерти. Я с родителями тоже попал в один из таких составов. В этот период уже поступила информация об «окончательном решении еврейского вопроса», которое должно было завершиться по плану Гитлера в 1943 году. Именно на этот период приходится «пик» работы многочисленных крематориев в Освенциме, Майданеке, Трешлинке. В этих трех концлагерях-«миллионщиках» уничтожено более 6 миллионов человек.

Запомнился мне пеший поход под конвоем от гетто до железнодорожной товарной станции. Нас погрузили в вагоны с верхними зарешеченными окошками. Каждый вагон, после того как в него загружали до 120 человек, закрывали и опломбировывали. Без воды и пищи в до предела переполненных вагонах мы из Гродно со скоростью пассажирского поезда мчались через Белосток, Варшаву, Лодзь, Катовице в Освенцим.

В вагоне можно было только стоять, и потому уже вскоре после отъезда у многих было обморочное состояние. Без всякой надежды на жизнь люди умирали в тяжких муках и страданиях. На вторые сутки в вагоне были штабеля трупов, и по ним нас, детей, продвигали к окошкам, с которых родители пытались сорвать решетки. Наш эшелон дви-

гался практически без остановок. Ночью на перегоне между Лодзью и Краковом меня на ходу поезда выбросили через окошко.

Я хорошо помню слова родителей: «Живи, Толя, живи», их поцелуи и слезы, оборвавшиеся внезапно. Я оказался в снегу под откосом железнодорожной насыпи. И сразу уснул, а, проснувшись, наелся вдоволь снега. Было утро. Я пошел в лес в поисках пищи, но прежде сорвал и закопал желтые звезды. На мне была теплая куртка и синяя буденовка с красной звездой. В то время это был любимый детьми головной убор, теплый и красивый, я дорожил им еще и потому, что шит он был умелыми руками моего отца. Видимо, я бродил по лесу несколько дней, пока не был схвачен «щуполицаями». Они во мне увидели партизана или их связного и решили передать в руки гестапо. Хорошо помню, как вели меня по улицам города Катовице под дулом автомата, как многие прохожие кричали: «Партизан! Большевик!». Мне тогда еще не исполнилось 13 лет.

В гестаповской тюрьме в Катовице я пробыл более двух месяцев, мне и сейчас страшно вспоминать о них. Допросы проводились практически ежедневно. Были пытки, побои, угрозы, но я старался крепче держаться за хрупкие жизненные надежды. Оказавшись в камере вместе с пожилыми поляками, я сразу ощутил их заботу. Они ежедневно умирали, но не сдавались. Это они старались ради моего спасения внушить мне: «Ты не еврей, и они никогда не смогут это опровергнуть. Ты – белорус». Я усвоил их совет. Это и спасло мне жизнь, да еще заботливое отношение ко мне судьбы.

На допросах я так и отвечал: «Я – белорус», рассказывал, что отстал от поезда и ищу родителей, что родился в Польше, знаю польский и немного белорусский. Можно долго описывать тюремную жизнь, но тюрьма и есть тюрьма. Помню, что у меня брали кровь на анализ, врачи обследовали меня, и все уговаривали признаться и указать место расположения партизан. А как я мог это сделать, если ничего не знал? А если б и знал, то не сказал бы. Приговор гестаповцев был однозначным – лагерь смерти Освенцим.

И вот 1 февраля 1943 года я в арестантском вагоне прибыл из Катовице в Освенцим. (В 1965 году я получил официальное подтверждение об этом из архива музея на польском языке вместе с моим фото.) Сразу по прибытии нас отправили в баню, где постригли, побрили,

накололи на левой руке номера, одели в полосатую форму и деревянные колодки. После всех этих процедур я превратился в «Heftling» – заключенного под № 99176 с буквой «R» – белорус.

Лагерная жизнь людей, имена которых заменяли номера, описана многократно в изданиях Польши, Израиля, других стран, и потому нет смысла повторяться. Расскажу лишь о некоторых моментах лагерной жизни 1943–1944 годов. (В этом лагере смерти, ставшем могилой более чем 4 миллионам человек, многие годы работает всемирно известный музей.)

Сначала мы прошли карантин в восьмом блоке, где нас учили «азбуке лагерной жизни». Это были тренировочные дни: нас строили в шеренги, мы шагали «в ногу», выполняли команды – «рехтс ум», «линкс ум», «мюце ап», «мюце ауф», «шнеллер» (направо, налево, снять шапку, надеть шапку, быстрее) и т.п. Шагать в деревянных колодках на босу ногу очень тяжело – мозоли и кровоточащие раны не заживали. Через две недели нас распределили рабочими бригадами по блокам. Некоторое время я был в 24-м блоке (чердак). Везде трехэтажные нары, соломенные матрацы, тонкие одеяла. Режим: подъем, кава, «аппель», то есть проверка, отправка на работу. Днем снова проверка и особый «аппель» вечером – нас пересчитывали по блокам, и блокочные СС лично отдавали ежедневный рапорт коменданту лагеря. Очень долго приходилось стоять, ибо пересчитать и свести воедино 25–30 тысяч узников было не легко. Зимой люди мерзли. Вскоре всех малолетних узников – детей и подростков 9–15 лет – собрали в 18-м блоке в подвале. Наш «капо» – старший блока, немец с зеленым «винкелем» (треугольник вершиной вверх), был особо жестоким человеком. Его крики и удары заставляли нас повиноваться беспрекословно, ибо расправа ожидала за малейшее нарушение. В лагере нас опекали старшие узники, помогали чем могли: едой, одеждой, важным советом.

Работал я в строительных мастерских – «Bauleitung Wersteten» – учеником маляра, другие вроде меня – учениками электриков, кровельщиков, сантехников. Такая работа нас устраивала: мы были рядом со старшими узниками, готовыми всегда и во всем помочь. В основном должность мастера занимали политические узники – поляки, немцы, фольксдойчи, чехи, словаки, очень редко – русские. Мастер-

ские расположены были близко к основному лагерю, но каждый день дважды приходилось строем шагать через главные ворота, над которыми было написано: «Arbeit macht frei», «Jedem das seirrt» – «Работа делает свободным» и «Каждому – свое». Ни один узник, оставшийся в живых, не забудет этого никогда. Фашисты гордились такими лозунгами, планомерно выжимая из нас силы. Уже через 3–4 недели лагерной жизни человек худел и превращался в ходячий скелет.

Однажды утром, не предвидя никакой беды, мы были приведены под конвоем в мастерские, но к работе так и не приступили. Гестаповцы, ничего не объясняя, начали избивать нас прямо в строю, крича «швайне» – свинья. Мы ничего не могли понять. Чуть позднее стало известно, что накануне на мясокомбинате, где мы ремонтировали подсобные помещения, пропала свиная полутуша. Кто и как ее украл, выяснить не удалось. Фашисты спохватились слишком поздно. Нас всех строем привели в политический отдел лагеря (Politische Abteilung). Допрашивали поодиночке, избивали до потери сознания.

Помню «станок», к которому узника привязывали ремнями: включался мотор, станок начинал вращаться, а человека избивали плетками. Избитого уносили на носилках. Меня допрашивали на польском языке. «Ты еще слишком молод, – были первые слова, – скажи нам, кто украл мясо, и мы тебя отпустим на волю, ты только скажи правду». Я им ответил: «В лагере я еще ни разу не видел и не ел мяса. Никакой туши свиньи у нас в мастерских не было». Получив свою «порцию» ударов, я был вынесен на носилках. Затем всех нас, окровавленных, повели в лагерь и поместили в 10-м блоке, где, как и в 11-м, были устроены одиночные камеры, имелись спецустройства для пыток и стена смерти, у которой расстреливали узников после допроса. В конце концов один из старших узников взял вину на себя, его жестоко избили и на глазах у нас расстреляли. Через некоторое время нас отпустили по своим блокам. После этого я еще больше возненавидел фашистов.

Старшие товарищи после случившегося оказывали нам особое внимание и заботу – подкармливали и лечили. Со временем я стал догадываться, что в лагере существуют подпольные организации. Нас порой использовали для передачи записок, оповещения узников. Учитывая мои знания польского, русского и белорусского языков, меня

направляли в те или иные блоки, где можно было получить какую-то информацию. Благодаря этому я подружился с русским военнопленным Виктором Липатовым (его лагерный номер 128808), встречался с поляком Юзефом Циранкевичем, видел генерал-майора Дмитрия Михайловича Карбышева, Александра Лебедева, которые возглавляли подпольные организации.

Следующий эпизод связан с тем, как меня поймали в воротах лагеря. За поясом было 3 батона вареной колбасы. Я выполнял поручение узников: во что бы то ни стало доставить колбасу в лагерь для поддержания больных. Долго меня готовили к этому – примеряли, обвязывали веревками, и казалось, что никто и никогда ничего не заметит. Но либо кто-то донес, либо просто собаки учуяли мой груз. Когда я вместе с другими проходил главные ворота лагеря, меня вытащили из шеренги и повели на апельпляц, где всегда стояли виселицы, станок для избиения. Меня поставили на табуретку под виселицей и приказали держать колбасу в руках. Так я стоял несколько часов, ожидая смерти.

Трудно передать словами то, что со мной было в те часы. Узники 18-го блока, с которыми я жил, были уверены, что я погибну. Но свершилось чудо, я так считаю. В этот вечер проверка затянулась на многие часы. Возможно, проводились незапланированные чудовищные акции в связи с подходом большого количества составов, и крематории не справлялись с работой, не знаю. Разъяренный и слегка пьяный, комендант лагеря Рудольф Гесс, подойдя, начал избивать меня своей плеткой, крича «швайне», «ферфлюхте швайне» – свинья, проклятая свинья. Я упал, колбаса свалилась, я пытался подняться, но удары продолжались, и я снова падал. Через некоторое время он остановился. Может быть, Гесс уже выполнил свой план работы и изрядно устал? Но он вдруг с криками «ляус, шнеллер» погнал меня к блоку, где мое место еще пустовало.

Мои страдания, а затем освобождение, в которое никто не верил, запомнили многие узники, особенно оказавшиеся вблизи места действия, около виселицы, в колонне 18-го блока. И сам я тоже долго не мог поверить в случившееся чудо. А может быть, Гесс просто пожалел меня, маленького, истощавшего от голода и других невзгод?.. Такие мысли приходят мне иногда в голову. Юзеф Циранкевич приходил

ко мне, хвалил за мужество. Подобных эпизодов в лагерной страшной жизни случалось много. Узники знали, что обречены на гибель, что из этого лагеря живыми не выходят.

Часто в лагере проводились акции по отбору ослабевших узников. Они осуществлялись обычно в выходные дни или после вечерней проверки. Всех по блокам раздевали догола, пропускали через так называемую баню и комиссию, состоявшую из врачей и эсесовцев. Обливая холодной водой из брандспойта, нас приводили в чувство и по одному направляли на осмотр. Технология отбора была проста – здоровых направо, больных и ослабевших – налево. Тут же записывали номера только «левых». Это был сигнал: завтра уже не направят на работу, их ожидает смерть в крематории. Нередко бывали случаи подмены некоторых узников, ибо регистрацию больных проводили гражданские врачи (поляки, фольксдойчи), которые были связаны с руководителями подполья.

Жесткие правила лагерной жизни приучили нас к борьбе за самосохранение, к дружбе, взаимопомощи и взаимовыручке. Нередкими были случаи самоубийств – люди не выдерживали побоев, унижений, тяжкого труда, издевательств, голода и холода и уходили из жизни, вскрывая вены, бросаясь на колючую проволоку, по которой проходил ток высокого напряжения, и т.п. Мы уже привыкли к режиму лагерной жизни. Акции фашистов продолжались. Были и побеги из рабочих команд. Тогда убитых узников и их еще живых товарищей помещали на апельпляце для всеобщего обозрения.

Вторая мировая война была в разгаре, фашисты отступали, а мы были обречены.

В конце августа 1944 года нас построили в колонны и направили сначала пешком, а потом на открытых железнодорожных платформах в концлагерь Гроссрозен, недалеко от Бреслау (ныне Вроцлав). Это небольшой лагерь, расположенный в горах, и мы работали главным образом в каменоломнях. Условия жизни были тяжелейшими. Охранники – власовцы проявляли особую жестокость. Здесь не было никакой медицинской помощи. У меня на шее сохранились шрамы от фурункулов, которые мне вскрывали старшие узники лезвием и промывали мочой. Погодные условия сказывались на здоровье узников. Ежедневно на специальных тележках трупы увозили в крематорий.

В феврале 1945 года нас опять перегнали, теперь в концлагерь Нордхаузен – у концлагеря Дора у Магденбурга. Он находился в промышленной зоне. Нас разместили в пустующих ангарах. Спали на бетонном полу. Кормили один раз в сутки запаренной неочищенной брюквой. Мы уже не работали: голодные, озябшие, больные мы едва передвигали ноги и ждали окончания войны.

В один из дней начала апреля 1945 года американская авиация бомбила Магденбург, в том числе и наш ангар. Плотность огня была очень высокой, и день превратился в ночь. Многие погибли. Я уполз с двумя узниками, и, переползая из воронки в воронку, укутываясь найденными одеялами, мы, наконец, добрались до стога сена. Легли спать, но передохнуть не удалось – нас обнаружили гитлерюгенды, вооруженные автоматами, с собаками. Они разметали наш стог. Позже мы узнали, что нас предал «остарбайтер» – русский или украинец. Один из нас имел неосторожность под утро выйти из стога и попросить у него хлеба и какой-нибудь пищи.

Нас снова погнали в лагерь, но повторилась бомбежка, и мы скрылись в лесу. На этот раз мы уже обзавелись оружием (гранаты, автоматы), подобранным в лесу. Вырыв окопы, мы спрятались в них, накрывшись ветками. Так мы встретили американские войска.

Нас накормили и передали в госпиталь. Это было 11 апреля 1945 года – мой второй день рождения. Нас взвесили, и я узнал, что в мои неполные 15 лет вешу 15 килограммов 300 граммов. За нами ухаживали, лечили и хорошо кормили. Предлагали поехать на постоянное жительство в США.

Теперь я думал только об одном: скорее бы поехать домой, надеялся увидеть своих родных. Через 5–6 недель по нашей просьбе нас перевезли в советскую зону и передали в лагерь для перемещенных лиц во Франкфурте-на-Одере. Здесь нас продолжали лечить, проверяли и готовили для отправки на родину. Везли нас на автомобилях с походной кухней через Польшу до Ковеля, где отпустили по домам.

В Гродно я добрался в августе 1945 года. У меня не было ничего, кроме котелка, одет я был в американский свитер. От железнодорожного вокзала я шел пешком по улице Ожешко хорошо знакомыми местами. Открыв калитку родного двора, я вошел, меня встретила собака и сразу, к моему удивлению, узнала. Услышав лай, выглянула

дворничиха и повела меня к себе. Она рассказала, что в нашей квартире вся мебель на месте, а живет в ней пани Стефания Шурковская. Затем она повела меня в квартиру на первом этаже, в которой проживала семья полковника Матвея Кислика. Я рассказал им о себе, и они стали заботиться о моем трудоустройстве и жилье.

Вскоре исполком официально вернул мне родительское жилье, меня определили учеником повара в ресторан «Неман» на улице Энгельса, 20. Пани Шурковская уехала к своей дочери в Варшаву, а я начал новую жизнь, теперь уже трудовую. Первое время, по словам пани Шурковской, я вставал ночью и во сне воспроизводил лагерные команды «мюце ауф», «шнеллер» и другие. Меня обследовали врачи. Я получил свидетельство о рождении, а затем, уже в 1946 году, первый паспорт. Фотография того года у меня сохранилась.

Прошли годы, но в памяти моей не померкло прошлое, особенно период 1941–1945 годов. В целом жизнь сложилась удачно, не считая сложностей, без которых ее не бывает. Я выучился, стал профессором. Меня всегда сопровождали хорошие, добрые и отзывчивые люди, а я старался быть похожим на них, оставаясь в то же время самим собой. Я жил и живу по принципу – делать людям добро, всегда и во всем помогать нуждающимся, непременно выполнять намеченное – свои планы и программы. Я никогда не стремился к накопительству. Нашу семью несколько раз выгоняли из дома, не позволяя взять с собой что-либо. Я видел много горя, несправедливости, равнодушия, чванства и тому подобного как в детстве, так и взрослым.

...Уровень жизни наших бывших малолетних узников постоянно снижается, и этому не может быть оправданий. Люди, доживающие свой век, должны жить в достатке – они это заслужили. Мы продолжаем надеяться на лучшее. Известно, что жизнь – это борьба, и в ней всегда есть победители и побежденные. Мне часто приходят на память слова: «Люди, будьте бдительны, мы победим». Жизнь продолжается.

Наум Коржавин

ДЕТИ В ОСВЕНЦИМЕ

Мужчины мучили детей
 Умно. Намеренно. Умело.
 Творили будничное дело,
 Трудились – мучили детей.
 И это каждый день опять:
 Кляня, ругаясь без причины...
 А детям было не понять,
 Чего хотят от них мужчины.
 За что – обидные слова,
 Побои, голод, псов рычанье?
 И дети думали сперва,
 Что это за непослушанье.
 Они представить не могли
 Того, что было всем открыто:
 По древней логике земли,
 От взрослых дети ждут защиты.
 А дни всё шли, как смерть страшны,
 И дети стали образцовы.
 Но их всё били.
 Так же.
 Снова.
 И не снимали с них вины.
 Они хватались за людей.
 Они молили. И любили.
 Но у мужчин «идеи» были,
 Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.
 Но жизнь бывает мне постыла,
 Как только вспомню: это – было!
 Мужчины мучили детей!

1958 г.

Юрий Левитанский

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

И убивали, и ранили
 пули, что были в нас посланы.
 Были мы в юности ранними,
 стали от этого поздними.
 Вот и живу теперь – поздний.
 Лист раскрывается – поздний.
 Свет разгорается – поздний.
 Снег осыпается – поздний.
 Снег меня будит ночами.
 Войны мне снятся ночами.
 Как я их скину со счета?
 Две у меня за плечами.
 Были ранения ранние.
 Было призвание раннее.
 Трудно давалось прозрение.
 Поздно приходит признание.
 Я все нежней и осознанней
 это люблю поколение.
 Жестокое это каление.
 Светлое это горение.
 Сколько по свету кружили
 Вплоть до победы – служили.
 После победы – служили.
 Лучших стихов не сложили.
 Вот и живу теперь – поздний.
 Лист раскрывается – поздний.

Свет разгорается – поздний.
 Снег осыпается – поздний.
 Лист мой по ветру не вьется –
 крепкий, уже не сорвется.
 Свет мой спокойно струится –
 ветра уже не боится.
 Снег мой растет, нарастает –
 поздний, уже не растает.

1979 г.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аннинский (Иванов-Аннинский) Лев Александрович, литературный критик, культуролог и публицист, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, Национальной телевизионной премии ТЭФИ, премии им. Александра Невского.

Родился 7 апреля 1934 года, в Ростове-на-Дону. Отец – казак из станицы Ново-Аннинской. Мать – из города Любеча. Родители связали судьбу с преподавательской деятельностью.

В 1939 году Лев снялся в кинофильме «Подкидыш» в роли маленького мальчика. В 1941-м отец Аннинского пропал без вести на фронте.

Л. Аннинский окончил филологический факультет МГУ. Был распределён в аспирантуру. Выдержал конкурсные экзамены, но после событий осени 1956 года в Венгрии власти решили «оздоровить идеологию». В аспирантуре Аннинский учиться не смог, и вместо того, чтобы писать диссертацию, стал делать подписи к фотографиям в журнале «Советский Союз», откуда через полгода был уволен за «профнепригодность».

В дальнейшем работал в «Литературной газете», в Институте конкретных социологических исследований АН СССР, в журналах: «Знамя», «Дружба народов» (с 1993, член редколлегии), «Литературное обозрение», «Родина», был главным редактором журнала «Время и мы».

Лев Аннинский автор книг: «Ядро ореха: Критические очерки» (1965), «Василий Шукшин» (1976), «Охота на Льва: Лев Толстой и кинематограф» (1980, 1998), «Лесковское ожерелье» (1980), «Три еретика: Повести о Писемском, Мельникове-Печерском, Лескове» (1988), «Локти и крылья. Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы» (1989), «Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не ставший историей» (1991), «Серебро и чернь: Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века» (1997), «Барды» (1999), «Красный век» (2004), «Русский человек на любовном свидании» (2004), «Жизнь Иванова» (2005), двухтомник «Распад ядра» (2009), «Меч мудрости или русские плюс...» (2009) и др.

Член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Живёт и работает в Москве.

Астафьев Виктор Петрович (1924–2001), писатель, лауреат Государственных премий СССР (1978) и России (1995, 2003), премии А. Солженицына и др.

Родился 1 мая в селе Овсянка Красноярского края. В 1930 году был раскулачен его отец, вскоре трагически погибла мать. В то время будущему писателю не удалось даже окончить школу.

В 1941 году Астафьев поступил в школу фабрично-заводского обучения, а в 1942 – ушёл на войну добровольцем, получил два тяжёлых ранения и контузию. В госпитале познакомился с медсестрой Марией Семёновной Коряжиной, ставшей позже его женой.

В 1945-м, демобилизовавшись, супруги отправились на родину жены, в город Чусовой (Пермская область). Здесь Астафьев работал грузчиком, вахтёром, позже – в газете «Чусовской рабочий». В этой же газете, в 1951 году был напечатан его дебютный рассказ «Гражданский человек» (1951). Первые книги Астафьева выходили в Перми (тогда Молотов) и Свердловске (ныне Екатеринбург).

Впервые в Москве книга писателя – сборник рассказов «Синие сумерки» – появилась в 1968 году. В 1976-м вышла знаменитая «Царь-рыба». Это повествование в рассказах, напоминающих притчи, говорит о том, каким губительным для человека и природы оказалось вторжение цивилизации в жизнь енисейской глубинки. «Царь-рыба» взбудоражила читателей и заставила ведущих критиков говорить об Астафьеве, как о главе литературного направления писателей-деревенщиков.

Опубликованный в 1986 году роман «Печальный детектив», рисующий неприглядные картины советской действительности, был переведён на иностранные языки и принёс автору международное признание.

Одна из главных тем в творчестве Астафьева – война, увиденная глазами русского деревенского человека. В повести «Пастух и пастушка», в романах «Прокляты и убиты» (1994) и «Так хочется жить» (1995), неповторимое художественное мастерство, лишь подчёркивает резкую оценку данную Астафьевым некоторым событиям Великой Отечественной войны. Виктор Петрович скончался 29 ноября 2001 года, похоронен в родной Овсянке.

Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975), поэт, прозаик. Лауреат Государственной премии (1951).

Родилась 3 (16) мая в Петербурге, в семье врача. В 1925 пришла в литературное объединение рабочей молодежи – «Смена». Там встретила своего

будущего мужа Бориса Корнилова, с которым позднее училась на Высших курсах при Институте истории искусств, где преподавали Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум и др. В 1930 году окончила филологический факультет Ленинградского университета. Уехав в Казахстан, работала корреспондентом газеты «Советская степь». Вернувшись в Ленинград, стала редактором газеты завода «Электросила». В 1933–1935 выходят её книги: «Годы штурма» (очерки), «Ночь в Новом мире» (рассказы), «Стихотворения» и др. В начале 1937 года Ольгу Берггольц арестовали по обвинению «в связях с врагами народа». В 1939 она была освобождена и полностью реабилитирована.

В годы Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, практически ежедневно обращаясь к героическим защитникам города. В это же время создала поэмы, посвященные блокадному Ленинграду: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942).

После Победы выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во время войны. Новой ступенью в творчестве Берггольц стала прозаическая книга «Дневные звезды» (1959), дающая возможность прочувствовать и осмыслить судьбу поколения и «биографию века».

В 1960-е вышли поэтические сборники: «Узел», «Испытание», в 1970-е – «Верность» и «Память».

Ольга Фёдоровна скончалась в Ленинграде в 1975 году.

Битов Андрей Георгиевич, лауреат Государственных премий России (1992, 1997), Пушкинской премии Фонда Тёпфера (ФРГ, 1990), премии им. Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (2016), премии Правительства Российской Федерации в области культуры и др.

Родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Отец – Битов Георгий Леонидович, архитектор, мать – Кедрова Ольга Алексеевна, юрист. Первые воспоминания детства связаны с блокадной зимой 1941-42 года, с эвакуацией на Урал, а затем в Ташкент. В школьные годы увлекался альпинизмом, получил значок «Альпинист СССР».

Учился в Ленинградском горном институте, где участвовал в работе Литобъединения, вместе с известными впоследствии поэтами А. Городницким, Г. Горбовским, А. Кушнером. В 1957 году сборник литобъединения, в который вошли первые произведения Андрея Битова, был сожжен во дворе института в связи с событиями в Венгрии. Тогда же Битов был исключен из института и попал в армию, в стройбат на Севере. В 1958

году демобилизовался, в 1962 окончил учебу. Первые рассказы были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград» (1960). В 1965 году принят в Союз писателей СССР. В 1965–1967 годах учился на Высших сценарных курсах.

В 1967 году в Москве вышла первая книга «Дачная местность», затем последовали: «Аптекарский остров» (1968), «Уроки Армении» (1969), «Дни человека» (1976), «Семь путешествий» (1976). После выхода романа «Пушкинский дом» в 1978 году в США и участия в составлении бесцензурного альманаха «Метрополь» был уволен из Литинститута, где вел занятия по литературному мастерству. Практически не печатался до 1985 года. В дальнейшем Битов выпустил книги: «Грузинский альбом» (1985), «Человек в пейзаже» (1988), «Улетающий Монахов» (1990), «Империя в четырех измерениях» (1996), «Вычитание зайца, 1825» (2001), роман-эхо «Преподаватель симметрии» (2008) и др.

Произведения Битова переведены почти на все европейские языки.

Преподавал русскую литературу за рубежом – в США в Нью-Йоркском (1995), Принстонском (1996) и других университетах. Почетный доктор Ереванского государственного университета, почетный гражданин города Еревана (Армения). Автор сценариев доброго десятка фильмов.

Президент Русского ПЕН-центра с 1991 года.

Живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии (1933).

Родился 22 октября в Воронеже в обедневшей дворянской семье. Детские годы провёл в Воронеже и в наследственном поместье под Ельцом. Поступив в 1881 году в Елецкую гимназию, Бунин был вынужден в 1886-м её оставить: не хватало денег, чтобы платить за обучение. Курс гимназии, а частью и университета он проходил дома под руководством старшего брата, народовольца Юлия.

Первый сборник стихотворений выпустил в 1891-м, через пять лет напечатал перевод поэмы американского поэта Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», который, вместе со стихотворным сборником «Листопад», принёс ему Пушкинскую премию Петербургской академии наук (1903).

В 1909 году Бунин получает вторую Пушкинскую премию и избирается почётным академиком. Широкое признание пришло к писателю с выходом повести «Деревня» (1910), где разрушение патриархального быта изображено с редкой по тем временам прямоотой. Бунин ощущал неотвраща-

емость исторического излома, это заметно в его рассказах 1910-х годов. Революционные события встретил с крайней неприязнью, запечатлев «кровавое безумие» в дневнике, позже изданном в эмиграции под названием «Окаянные дни» (1925).

В январе 1920 года вместе с женой Верой Николаевной Муромцевой отплыл из Одессы в Константинополь. Жил во Франции, в Париже и в Грассе. Написанные вскоре повесть «Митина любовь» (1925), книги рассказов «Солнечный удар» (1927), «Божье древо» (1931) современники воспринимали как живую классику. В 1930-м в Париже вышла повесть «Жизнь Арсеньева».

В годы Второй мировой войны Бунин жил в Грассе, следил за военными событиями, прятал от гестапо у себя в доме евреев, радовался победам советских войск и писал рассказы о любви (вошли в книгу «Тёмные аллеи», 1943). Послевоенное «потепление» к советской власти поссорило писателя со многими давними друзьями. Последние годы Бунин прожил в бедности.

Скончался Иван Алексеевич 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Ванукевич Анатолий Самуилович, мемуарист, профессор, доктор экономических наук.

Родился в Гродно в 1929 году. Прошел через Гродненское гетто (1941–1942), гестаповскую тюрьму в Катовице (1942–1943), концлагерь Освенцим (1943–1944).

Под № 99176 стал узником концлагеря Гроссрозен, затем был отправлен в концлагерь Нордхаузен (1944–1945).

В послевоенное время окончил с отличием Московский институт народного хозяйства им. Плеханова (1954), кандидат экономических наук (1977). В том же году стал заведующим кафедрой Полтавского кооперативного института. С 1977 года профессор, доктор экономических наук. Был членом правления Полтавского городского общества еврейской культуры, исследовательского центра «Холокост» и председателем ассоциации малолетних узников концлагерей.

В настоящее время занимается преподавательской деятельностью в Праге.

«Воспоминания малолетнего узника» печатаются по изданию: журнал «Лехаим», Москва, 2001.

Волгин Игорь Леонидович, литературовед, поэт, историк, лауреат премии Правительства Москвы в области литературы (2004), российско-итальянской премии «Москва-Пенне» (2011), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2011).

Родился 6 марта 1942 года в Перми, где его родители находились в эвакуации. Окончил с отличием исторический факультет МГУ в 1964 году. С 1975-го – преподаватель факультета журналистики МГУ.

Игорь Волгин – автор более 250 научных работ. Президент Фонда Достоевского, который регулярно проводит международные симпозиумы «Русская словесность в мировом культурном контексте». Вице-президент Международного Общества Достоевского (International Dostoevsky Society). Доктор филологических наук, профессор, руководитель творческого семинара Литературного института им. А.М. Горького. Академик РАЕН, член Русского ПЕН-центра и Международного ПЕН-клуба.

Основатель (1968) и бессменный руководитель существующей до сих пор Литературной студии МГУ «ЛУЧ». Среди выпускников студии – известные поэты, писатели, лауреаты престижных премий: С. Гандлевский, Д. Быков, Б. Кенжеев, Е. Витковский, В. Вишневский, И. Кабыш, А. Цветков, М. Ватутина, В. Павлова и др.

Волгин – автор книг стихов и переводов, писатель и историк, создавший собственный жанр историко-документальной биографической прозы. Его работы о Достоевском сочетают в себе дух историзма и смелого научного поиска. Автор книг: «Достоевский-журналист. «Дневник писателя» и русская общественность» (1982), «Последний год Достоевского. Исторические записки» (1986, 1990, 1991), «Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII–XIX вв.» (1994), «Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (1998), «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 г.» (2000), «Уйти ото всех. Лев Толстой как русский скиталец» (2010). Под руководством Игоря Волгина была издана документальная «Хроника рода Достоевских» (2012). В 2015 вышла книга стихов «Персональные данные».

Игорь Волгин член Совета по русскому языку при Президенте РФ, ведущий популярной программы «Игра в бисер» (Телеканал Культура).

Воробьев Константин Дмитриевич (1919–1975), прозаик, лауреат премии А. Солженицына (2001, присуждена посмертно).

Родился в селе Нижний Реутец Курской области. В 14 лет, спасая семью от голода, пошел работать в сельмаг, где платили хлебом. Окончил

сельскую школу, учился в сельхозтехникуме в Мичуринске. В 1935 работал в районной газете литературным сотрудником. Написал стихотворение «На смерть Куйбышева», которое в редакции сочли антисталинским. Опасаясь доносов, уехал в Москву, к сестре. В столице нашел работу в редакцию газеты «Свердловец».

В 1938 был призван в ряды Красной Армии. После окончания военной службы работал литсотрудником газеты Академии им. Фрунзе, откуда был направлен на учебу в Кремлевское пехотное училище. В 1941 рота кремлевских курсантов почти вся погибла под Клином. Раненый лейтенант Воробьев попал в плен (1941–1943), откуда дважды бежал. В 1943–1944 стал командиром группы в составе Литовского партизанского отряда «Кястутис». В эти годы написал повесть «Это мы, Господи!», которую после войны пытался напечатать в «Новом мире», и которую опубликовали только в 1986 году в журнале «Наш современник». В 1956 вышел первый сборник рассказов «Подснежник». Позже выходят повести «Одним дыханием» (написана в 1949, напечатана в 1958), а также «Ермак», «Тетка Егориха», «Друг мой Момич», изданные уже после смерти писателя, в 80-е годы.

С 1947-го жил в Вильнюсе. Работал зав. отделом литературы и искусства в редакции «Советская Литва». В своих произведениях рассказывал о непростых исторических периодах – «Сказание о моем ровеснике», «Генка, брат мой», «Вот пришел великан» и др. Повесть «Убиты под Москвой» («Новый мир», 1963), советская критика назвала «клеветническим произведением». Повести: «Синель», «Седой тополь», «Почем в Ракитном радости» вышли в свет с купюрами или в сокращении.

Скончался Константин Дмитриевич в Вильнюсе после тяжелой болезни в 1975 году. Через двадцать лет прах писателя перезахоронили в родном Курске, на Офицерском кладбище.

Городницкий Александр Моисеевич, поэт, бард, прозаик, лауреат Государственной премии имени Булата Окуджавы (1999), Царскосельской художественной премии (1998, 2012) и др.

Родился в Ленинграде 20 марта 1933 года, пережил блокаду.

В 1957-м окончил геофизический факультет Ленинградского горного института. С 1957 по 1972 годы работал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики в Ленинграде. С 1962-го принимал участие в океанологических экспедициях в различные районы Мирового океана. Многократно погружался на дно в подводных обитаемых аппаратах.

А. Городницкий – доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник института океанологии им. П. П. Ширшова РАН; автор более 250 научных работ, посвященных геофизике и тектонике океанского дна. Им впервые рассчитана карта мощности океанической литосферы (1977), предложена и обоснована новая петромагнитная модель океанической литосферы (1987).

Писатель Городницкий – автор 42 книг стихов, песен и мемуарной прозы, нескольких десятков дисков с авторскими песнями, в том числе таких известных как: «Атланты» (1967), «Перелетные ангелы» (1991), «След в океане» (1993), «Давай поедим в Царское Село» (1999), «И жить ещё надежде...» (2001) и др.

Один из основоположников жанра авторской песни.

Стихи и песни А.М. Городницкого переведены на языки многих народов мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены многочисленные статьи, монографии, кандидатские и докторские диссертации. Решением Российской академии наук от 04.05.1999 года в честь Городницкого названа малая планета Солнечной системы под №5988. Его именем назван также горный перевал на Восточном Саяне.

Начиная с 1971-го и поныне – председатель жюри крупнейшего в мире фестиваля авторской песни. Автор и ведущий научно-популярных программ на Телеканале «Культура» – «Атланты в поисках истины». Александр Городницкий – вице-президент Русского ПЕН-центра.

Гранин (Герман) Даниил Александрович, писатель, лауреат Государственных премий СССР (1976) и России (2012), премии Президента Российской Федерации в области искусства и литературы, премии Гейне и др., Герой Социалистического Труда (1989).

Родился 1 января в Курской области, в селе Волянь, в семье лесника Александра Даниловича Германа.

Учился в Ленинградском политехническом институте. В 1940 пошел работать на Кировский завод. В начале войны вступил в народное ополчение. После учебы в танковом училище Ульяновска, был командиром роты тяжелых танков.

По окончании войны работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте.

Писательским творчеством Даниил Александрович Гранин начал заниматься с 1949 года. Основная тема литературных поисков писателя –

жизнь талантливых учёных. Одна за другой стали выходить книги: «Победа инженера Корсакова» (1949), «Искатели» (1954), «Иду на грозу» (1962), «Примечания к путеводителю» (1967), «Дом на Фонтанке», «Наш комбат» и «Два лика» (1968). Об ученых-биологах были созданы произведения «Эта странная жизнь» (1974) и «Зубр» (1987). Пьесы по этим романам ставились в театрах, по ним были сняты фильмы.

Совместно с А.М. Адамовичем Граниным была написана «Блокадная книга» (1977–1981).

В 80-90 годы Гранин помог сделать достоянием читающей публики замечательные произведения писателей-эмигрантов и незаконно репрессированных авторов, долгое время находившиеся под запретом.

Начав размышлять об истории и судьбах родной станы, писатель создает роман «Картина» (1979) и повесть «Неизвестный человек» (1990).

Книга «Причуды моей памяти» повествует о тяжелых временах послевоенного восстановления народного хозяйства и сталинских репрессиях. Одно из последних произведений о современных политических проблемах – эссе «Страхи».

По произведениям Даниила Гранина снято одиннадцать фильмов.

С 2005 года Гранин – Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Почетный член Российской академии художеств, офицер ордена «За заслуги перед ФРГ».

Именем Даниила Гранина названа малая планета Солнечной системы.

Зуров Леонид Фёдорович (1902–1971), писатель, мемуарист.

Родился 18 апреля (1 мая) в городе Остров Псковской губернии. В трёхлетнем возрасте потерял мать, воспитывался бабушкой. Учился в Островском (Псковском) реальном училище имени цесаревича Алексея. Участвовал в Гражданской войне, первоначально в крестьянских отрядах, затем в 16 лет добровольцем вступил в Северо-Западную армию генерала Юденича. В конце 1919 года, после неудачного похода на Петроград, интернирован в Эстонию. В 1920-м – переехал в Ригу, где закончил Ломоносовскую гимназию. Затем в Чехословакии изучал античное искусство, археологию в Политехническом русском институте.

Вернувшись в Ригу, был рабочим в порту, репетитором, ответственным секретарём журнала «Перезвоны» и газеты «Сегодня».

В 1928-м – вышли первая книга рассказов «Кадет» и повесть «Отчизна».

В январе 1929 года была опубликована статья И. А. Бунина «Леонид Зуров», и уже в ноябре по приглашению Ивана Алексеевича он переехал из Риги во Францию.

Печатался в альманахе «Круг» (Берлин), газете «Русский инвалид», «Современных записках», «Последних новостях», «Иллюстрированной России», «Белом деле» (Берлин).

С 1930-го – член Союза молодых поэтов и писателей. В 1931–1940 годах сотрудничал в газете «Сегодня» (Рига), совершал этнографическо-археологические экспедиции в русские районы Прибалтики, реставрировал Никольскую надвратную церковь. В 1937–1940 – председатель Союза молодых писателей в Париже. С 1945 – неперемный секретарь исторической секции Научного общества при Союзе советских патриотов, упрощал И. А. Бунина возвратиться в Россию.

В 1946–1956 годах сотрудничал с Объединением русских писателей, с Содружеством русских участников Сопротивления во Франции. Ежегодно посещал Шотландию, где вёл исследования о предках М. Ю. Лермонтова.

Автор книг: «Древний путь» (1934), «Обитель» (1946), «Марьянка» (1958), «Герб Лермонтова» (1965), «Иван-да-Марья» (1969) и др.

Наследник архива И. А. и В. Н. Буниных.

Скончался от разрыва сердца в психиатрическом приюте. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 10 сентября 1971 года.

Иванова-Аннинская (урожденная **Коробова**) **Александра Николаевна** (1933–2010), поэт, филолог.

Родилась 31 марта в Москве. Супруга Л. А. Аннинского, они прожили вместе 56 лет.

Окончила филологический факультет МГУ в 1957 году. Основная трудовая деятельность связана с музеем Л. Н. Толстого в Москве.

Её интересные и насыщенные деталями мемуары пока не опубликованы. Отрывок из них любезно предоставлен Львом Александровичем Аннинским.

Скончалась Александра Николаевна 24 октября 2010 года.

Карпенко Вячеслав Михайлович, писатель, лауреат премии им. К. Донелайтиса (2005, Вильнюс), региональных премий «Вдохновение» (2010), «Признание» (2015, Калининград).

Родился 23 февраля 1938 года в Харькове в семье кадрового военного. В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Челябинск-40

(ныне г. Озёрск), где в 1955 окончил среднюю школу. Отец, командир отдельного сапёрного батальона, погиб в 1944 году. После школы В. Карпенко работал в геологических экспедициях (республики Коми, Карелия, Эстония) рабочим, буровым мастером. Учился в Ленинградском мореходном училище. Отслужил в армии. Ходил в море в Мурманске и Калининграде матросом, кочеваром, мотористом, механиком.

Творческую работу начал в газете «Калининградский комсомолец» в 1965 году.

Активно участвовал в борьбе за сохранение замка Кёнигсберг – организовал подписи студентов в защиту памятника культуры. В ходе этой борьбы в 1966 году встречался в Москве с К. Симоновым, И. Эренбургом, академиком П. Капицей. Замок, однако, был разрушен, и Карпенко был вынужден уехать в Казахстан, где продолжил журналистскую работу в газетах, журналах.

Работал на высокогорной космостанции ФИАН кочеваром и пять лет егерем в горах Тянь-Шаня. Опубликовал в «Литературной газете» статью о преступном «пользовании» землёй и её дарами, за что был уволен по сокращению штатов. Первая книга «Вожаки» вышла в 1978-м. Вместе с известным писателем Максимом Зверевым издавал природоохранный литературный сборник «Лик земли» (Алма-Ата, «Жалын», 1978–1988). В 1985 году повесть «о бичах и камышовом рабстве» «Вечер встречи» по распоряжению Комиздата подверглась «выдерке» из готовой книги «Рыба была большая» как «очернительская». Вскоре вышла книга Ч. Айтматова «Плаха», открывшая «запретную» тему. Повесть Карпенко, после отклонения в журналах «Наш современник» и «Москва» с той же формулировкой «очернительства советской действительности» вышла в журнале «Простор» в 1989 г. В 1984 году был принят в СП СССР. Окончил в 1987 году Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Заведовал отделом критики журнала «Простор» (Алма-Ата). Занимался литературной и искусствоведческой критикой, сценарной работой в кино. В Алма-Ате вышли: «Вожаки», «Рыба была большая», «Мой правый берег», «Побег». В 1997-м вернулся в Калининград, привезя с собой полностью оборудованный и оснащенный «Другой театр», в котором был завлитом.

В 2001 году в серии «Русский путь» издательства «Янтарный сказ» вышла книга «Истинно мужская страсть», получившая диплом лауреата «Артиады народов России». За ней последовали книги: «Придорожник» (2010), «Завтра было вчера» (2012), «Василий Скуратов» (2014).

Отмечен медалью им. М. Шолохова; орденом «Культурное наследие» (МФРП, 2013). В 2000–2005 годы был председателем Региональной организации писателей Калининградской области (Союз российских писателей) и главным редактором журнала «Запад России».

В настоящее время – председатель Калининградского ПЕН-центра, член Исполкома Русского ПЕН-центра, член Международной Федерации русскоязычных писателей (МФРП), главный редактор альманаха «Параллели».

Коржавин (Мандель) Наум Моисеевич, поэт, прозаик, драматург, награждён специальным призом «За вклад в литературу» премии «Большая книга» (2006).

Родился 14 октября 1925 года в Киеве. Рано увлёкся поэзией. В начале Великой Отечественной войны эвакуировался из Киева. В армию не попал по причине сильной близорукости.

В 1945-м поступил в Литературный институт. В конце 1947-го, в разгар кампании по «борьбе с космополитизмом», молодого поэта арестовали. Около восьми месяцев он провёл в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и в Институте им. Сербского. Был осуждён постановлением Особого Совещания (ОСО) при МГБ и приговорён к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 как «социально опасный элемент». Осенью 1948-го был выслан в Сибирь, около трёх лет провёл в селе Чумаково. В 1951–1954 годах отбывал ссылку в Караганде. В этот период закончил горный техникум и в 1953-м получил диплом горного мастера (штейгера).

В 1954 году после амнистии вернулся в Москву. Восстановился в Литературном институте и окончил его (1959).

Зарабатывал на жизнь переводами. Известность принесла публикация подборки стихов в сборнике «Тарусские страницы» (1961). Вскоре вышел сборник стихов «Годы» (1963). В 1967 году Театр им. К. С. Станиславского поставил пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова, Гинзбурга, что привело к запрету на публикации его произведений. В 1973 году поэт подал заявление на выезд из страны и обосновался в США, в Бостоне. Начал работать в редакции «Континента», выпустил сборники стихов «Времена» (ФРГ, 1976), «Сплетения» (ФРГ, 1981).

Автор книг стихов «Письмо в Москву» (1991), «Время дано» (1992), книги эссе «На скосе века» (2008).

Наум Коржавин – один из героев документального фильма «Они выбрали свободу» (RTVi, 2005).

Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002), поэт, прозаик, литературный критик, лауреат многих журнальных премий.

Родился в семье инженеров-строителей 20 июня в Днепропетровске. С началом войны был эвакуирован в Новокузнецк. В 1945–1950 учился в Литературном институте, откуда трижды исключался за прогулы и «идейно порочные стихи».

Первые стихи были опубликованы в 1953 году. В 1957-м был рассыпан набор уже свёрстанного сборника стихов «Повестка из военкомата».

В 1965 по рекомендации Анны Ахматовой был принят в Союз писателей СССР.

Нелёгкая судьба ожидала и прозаические произведения Корнилова. Свои повести – «Без рук, без ног» (1965) и «Девочки и дамочки» (1968) – безуспешно пытался опубликовать в СССР. Первую не напечатали, вторая в декабре 1971-го была набрана, но сразу рассыпана. Своё самое крупное прозаическое произведение – роман «Демобилизация» – Корнилов вместе с другими произведениями передал на Запад, где в 1974 году они были напечатаны.

Публикации в самиздате и в зарубежных русскоязычных изданиях, а также выступления Корнилова в поддержку Юлия Даниэля и Андрея Синявского (1966) вызвали недовольство советской власти.

В 1975 году по рекомендации Генриха Бёлля был принят во французский ПЕН-клуб. Чуть позже подписал письмо «главам государств и правительств» с просьбой защитить академика Сахарова. В марте 1977 Корнилова исключают из Союза писателей (восстановлен в 1988). Книги были изъяты из библиотек в 1979-м.

Вновь начал издаваться в СССР с 1986 года.

Владимир Корнилов – автор сборников стихов: «Пристань» (1964), «Возраст» (1967), «Польза впечатлений» (1989), «Суета сует» (1999), «Перемены» (2001), а также повестей «Девочки и дамочки» («Грани» №94, 1974), «Без рук, без ног» («Континент» № 1, 1974; №2, 1975); романов «Демобилизация» (Frankfurt/M., 1976), «Каменщик, каменщик...» (Frankfurt/M., 1980).

В 2000 году по предложению Русского ПЕН-центра составил книгу «Написано в тюрьме. XX век. Россия».

Уже после смерти вышло Собрание сочинений в двух томах (2004).
Скончался Владимир Николаевич 8 января 2002 года.

Кульчицкий Михаил Валентинович (1919–1942), поэт.

Родился в Харькове 22 августа в семье бывшего кавалерийского ротмистра царской армии, боевого командира, Валентина Михайловича Кульчицкого. Мать, Дарья Андреевна (урожденная Яструбинская), рано оставшись сиротой, переехала из Славянска в Харьков, где окончила гимназию.

Любовь к поэзии у Михаила возникла с детства: любил походы в библиотеки, много читал.

Окончив десятилетку, работал плотником, чертёжником. Поступив в Харьковский университет, через год перевёлся на второй курс Литературного института им. А. М. Горького (семинар Ильи Сельвинского).

Писать и печататься Кульчицкий начал рано. Первое стихотворение было опубликовано в 1935 году в журнале «Пионер». В Литературном институте он сразу обратил на себя внимание масштабностью таланта, поэтической зрелостью, самостоятельностью мышления.

В 1941-м Кульчицкий уходит добровольцем в истребительный батальон. В середине декабря 1942-го окончил пехотно-миномётное училище, получил звание младшего лейтенанта. 19 января 1943 года командир миномётного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб под селом Трёмбачёво Луганской области.

Кульчицкий – автор книг: «Молодість» (1939), «Самое такое» (1966), «Рубеж» (1974), «Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте» (1991). Его стихи публиковались во многих коллективных сборниках, таких как «День поэзии 1956. Альманах», «День поэзии 1963. Альманах», «Стихи остаются в строю» (1958), «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» (1966, 2005).

Имя поэта выбито золотом на 10-м знамени Мемориала Славы на Мамаевом кургане Волгограда. Перезахоронен в братской могиле села Павленкого.

Левитанский Юрий Давидович (1922–1996) – поэт и переводчик, лауреат Государственной премии России (1995).

Родился 21 января в городе Козелец (Черниговская область).

Вскоре после рождения Юрия семья переехала в Киев, а затем в Сталино (ныне Донецк). Окончив школу в 1938 году в Сталино, Юрий Левитанский едет в Москву и поступает в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ).

С началом Отечественной войны поэт уходит на фронт солдатом, становится офицером, затем фронтовым корреспондентом, начав печататься в 1943-м во фронтовых газетах. Демобилизовался из армии в 1947 году.

Первый сборник стихов «Солдатская дорога» вышел в Иркутске (1948). Затем появились сборники «Встреча с Москвой» (1949), «Самое дорогое» (1951), «Секретная фамилия» (1954) и другие.

В 1955–1957 годах Юрий Левитанский учится на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького. В 1963-м публикует сборник стихов «Земное небо», принесший автору широкую известность.

Вскоре Юрий Левитанский окончательно переезжает в Москву.

Кроме стихов Левитанский занимается переводами, а также пародиями. В 1963-м была опубликована подборка его пародий на известных советских поэтов Леонида Мартынова, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину и других.

В 1970 году у Левитанского вышел сборник стихотворений «Кинематограф»; в 1975 – «Воспоминания о Красном снеге»; в 1980 – «Два времени»; в 1980 – «Сон о дороге»; в 1991 – «Белые стихи».

Скончался Юрий Давидович 25 января 1996 года в Москве.

Медведев Рой Александрович, писатель, историк, лауреат премии ФСБ за книгу «Андропов»

Родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси, в семье политработника Красной Армии. Отец Роя и Жореса Медведевых – Александр Романович Медведев, 5 июня 1939 года постановлением Особого совещания осуждён к 8 годам ИТЛ. Срок отбывал на Колыме, где и скончался.

Рой экстерном заканчивает среднюю школу, в январе 1943-го его призывают в армию, служит в Закавказском военном округе (1943–1946).

По окончании философского факультета Ленинградского университета Медведев работает директором сельской школы, затем с 1957 по 1971 годы в издательстве «Просвещение», позже – в Академии педагогических наук.

В 1956-м Рой Медведев начинает работу над книгой «К суду истории: генезис и последствия сталинизма».

С начала 60-х годов Медведев принимал активное участие в движении диссидентов, редактировал самиздатский журнал «Политический дневник», альманах «XX век». В 1969-м был исключен из КПСС за написание книги «К суду истории». В 1970 году, вместе с академиком Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы.

События августа 1991-го начинают новый отсчет в деятельности Р. Медведева. После распада СССР он рассматривался как один из тех, кто мог бы возглавить движение за демократический социализм. С 1991 года – сопредседатель Социалистической партии. Выступал с жёсткой критикой как ГКЧП, так и Б. Ельцина.

Рой Медведев – автор более 35 книг по истории, педагогике, социологии, литературоведению, философии, среди них, такие как: «Они окружали Сталина» (США, 1984), «Хрущёв. Политическая биография» (США, 1986), «Солженицын и Сахаров. Два пророка» (в соавторстве с Жоресом Медведевым) (2004), «Расколота Украина» (2007), «Неизвестный Сталин» (в соавторстве с Жоресом Медведевым) (2007), «Борис Ельцин. Народ и власть в России в конце XX века» (2011), «Тихий Дон». Загадки и открытия великого романа (2011), «Время Путина» (2014) и др., переведенных на 14 языков и вышедших отдельными изданиями в 20 странах.

Мисюк Борис Семенович, писатель.

Родился в Крыму в 1939 году, в годы войны жил в Казахстане. В 1962-м закончил судомеханический факультет Одесского института инженеров морского флота, после чего работал мотористом и механиком на судах Северного морского пароходства, затем механиком плавкрана Ильичевского морского порта. Одновременно Борис Мисюк учился в Литературном институте им. Горького, но, не закончив его, уехал во Владивосток. Здесь работал редактором радиостанции «Тихий океан», затем помощником капитана на плавбазах и плавзаводах. С 1978 года работает флагманским специалистом Всесоюзного объединения «Дальрыба».

Первый рассказ Мисюка «Кочегар» был опубликован в 1961 году в одесской газете «Комсомольская искра». В Одессе вышла и его первая книжка – «Морской отпуск» (1971), в которую вошли рассказы и лирическая повесть.

Во Владивостоке созданы и опубликованы «Океанские вахты» (1976), «Час отплытия» (1980), другие книги. В 1984 году вышла детская книга Бориса Мисюка «День больших открытий» – об одном дне из жизни вось-

милетнего мальчика. В повестях «Крещенный огнем» (1986), «Не надо нас спасать» (1987) морская тема тесно переплетается с темой детства и отрочества.

Борис Семёнович Мисюк – основатель Приморского отделения Союза российских писателей (1991) и его первый председатель (1991–2008). Учредитель и главный редактор Владивостокских литературных журналов «Изба-читальня» (2002) и «Кают-компания» (2012). Автор целого ряда очерков и проблемных статей по вопросам моря и рыболовства.

Живет и работает во Владивостоке.

Мориц Юнна Петровна, поэт, сценарист, лауреат премий «Золотая роза» (Италия), имени А. Д. Сахарова (2004, «За гражданское мужество писателя»), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2011) и др.

Родилась 2 июня 1937 года в Киеве. В тот же год по клеветническому доносу арестовали её отца, через несколько месяцев его признали невиновным, он вернулся, но стал быстро слепнуть.

В 1941–1945 годах семья жила в Челябинске. В 1954-м после окончания школы в Киеве, поступила на филологический факультет Киевского университета. 1955–1961 – годы учебы в Литературном институте в Москве.

Летом – осенью 1956-го на ледоколе «Седов» ходила по Арктике, была на множестве зимовок, в том числе на Новой Земле. Люди Арктики, зимовщики, лётчики, моряки, их образ жизни, труд, законы арктического общества так повлияли на девятнадцатилетнюю девушку, что её очень быстро исключили из Литинститута за «нарастание нездоровых настроений в творчестве», о чём была напечатана разгромная статья в «Известиях» за подписью В. Журавлёва.

В 1961 году вышла первая книга «Мыс Желания». Вторая книга «Лоза» вышла в Москве только через девять лет, поскольку Юнна Мориц попала в «чёрные списки» за стихи «Памяти Тициана Табидзе» (1962).

Жила за счет изданий детских стихов, в частности, в журнале «Юность», где возникла рубрика «Для младших братьев и сестёр».

Автор книг лирики: «Лоза» (1970), «Суровой нитью» (1974), «При свете жизни» (1977), «Избранное» (1982), «Синий огонь» (1985), «В логове голоса» (1990).

После этого десять лет не издавалась. Затем вышли книги: «Лицо» (2000), «По закону – привет почтальону» (2005), в некоторые книги была

включена графика и живопись поэта: «Рассказы о чудесном» (2008), «Сквозеро» (2014).

Долгие годы Юнну Мориц не выпускали за рубеж, однако с 85-го её авторские вечера прошли на знаменитых международных фестивалях поэзии в Лондоне, Кембридже, Роттердаме, Торонто, Филадельфии. Стихи переведены на все главные европейские языки, а также на японский, турецкий, китайский.

Юнна Петровна Мориц член Русского ПЕН-центра.

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987), писатель, лауреат Сталинской премии второй степени (1947), кавалер Ордена Искусств и литературы (1986, Франция).

Родился 17 июня в Киеве в семье врача. После окончания средней школы поступил на архитектурный факультет Киевского строительного института (окончил в 1936 году). Одновременно занимался в студии при Театре русской драмы.

Работал актёром и художником сцены в театрах Киева, Владивостока, Кирова и Ростова-на-Дону.

В августе 1942 г. ушёл на фронт, служил в сапёрных войсках, командовал батальоном. Кавалер Ордена Красной звезды (1944), награжден медалями.

Сразу после войны в журнале «Знамя» появилась повесть Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946). Некрасов стремился рассказать о войне правду, честно писал о жизни народа. В 1954 году вышла повесть «В родном городе» – о бывшем фронтовике. За эту публикацию журнал «Знамя» подвергся резкой партийной критике. Повесть Некрасова – «Кира Георгиевна» (1961) посвящена проблемам интеллигенции. Позже вышли его книги «Вася Конаков» (1964), «Месяц во Франции» (1965).

Чуть раньше писатель выступил в «Литературной газете» с рядом статей, призывая увековечить память людей, расстрелянных фашистами в 1941 году в Бабьем Яре.

Большинство погибших там были евреями, и Некрасова обвинили в сионизме. Тем не менее, памятник в Бабьем Яре был установлен, в чём немалая заслуга писателя.

После резких слов Н. С. Хрущёва в адрес Некрасова на одном из партийных пленумов, писателя начали клеймить за «низкопоклонство перед Западом», перестали печатать книги. В киевской квартире Некрасова был произведён обыск, в течение шести дней его допрашивал следователь.

В 1974 году писатель эмигрировал во Францию. За границей писал для газет и журналов, создавал радиопередачи, читал лекции о русской литературе, продолжил творческую работу. Вышла его книга «Записки зеваки» (Франкфурт, 1976) и др.

Последнее произведение Некрасова – «Маленькая печальная повесть» (1986). Уже после кончины писателя в Москве вышло его Собрание сочинений в трёх томах (2004).

Скончался Виктор Платонович 3 сентября 1987 году в Париже.

Остен Всеволод Викторович (1921–1989), поэт прозаик.

Родился 23 октября во Владивостоке. Стихи писал с детства. Увлекался шахматами и боксом. В девятом классе получил первую премию в конкурсе за лучшее стихотворение о Красной Армии, организованном газетой «Тихоокеанский моряк». Сотрудничал с редакцией этой газеты.

Осенью 1940 года поступил в Московское военно-инженерное училище. В июле 1941-го направлен на фронт. Сражался в Запорожье, воевал в партизанском отряде. Весной 1942-го попал в плен, бежал, при переходе швейцарской границы был схвачен и приговорен к смерти. Казнь заменили концлагерем Маутхаузен. Работал в каменоломнях. В лагере писал на бумажных мешках из-под цемента сперва лирические, а потом антифашистские стихи. Стихи были опубликованы после войны в Польше, Австрии и Болгарии под фамилией Курбатов (под этой фамилией Остен числился в концлагере). Освобожден 5 мая 1945 года.

После войны прошел советские фильтрационные лагеря, так и не признав себя японским шпионом. Позже в Хабаровском крае служил в МВД СССР. Работал с военнопленными в порту Ванино, затем на ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре.

Демобилизовавшись, выехал в 1949-м в Калининградскую область. Более тридцати лет проработал в областных и районных газетах. Стихи также печатались в «Литературной газете» и газете «Правда».

В 1961 году издал книгу рассказов «Уцелевшие в аду», которая была встречена в штыки одиозной критикой: автор не показал роль коммунистов в восстании. Путь в печать был закрыт, Остена исключен из партии. С приходом гласности книгу, ещё при жизни автора, переиздали в Москве. Уже после кончины Всеволода Остена вышли книги: «Встань над болью своей: рассказы узника Маутхаузена» (1989) и «Сквозь бурные годы» (2011).

Скончался Всеволод Викторович 31 июля 1989 года. В память о писателе-фронтовике на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Петров (Катаев) Евгений Петрович (1903–1942), писатель, журналист, киносценарист.

Родился 13 декабря в Одессе в семье учителя истории. Родной брат известного русского писателя Валентина Катаева. В 1919 году Петров окончил 5-ю одесскую классическую гимназию. Работал корреспондентом Украинского телеграфного агентства.

В июне 1921-го поступил в Одесское отделение уголовного розыска. За успешную борьбу с бандитами был награждён часами.

В 1923-м переехал в Москву, стал журналистом. Работал выпускающим редактором в журнале «Красный перец», сотрудничал с газетой «Гудок». В столице познакомился с Ильёй Ильфом. Вместе они написали ставшие впоследствии знаменитыми романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой телёнок» (1931).

Эти произведения стали своеобразной энциклопедией советского общества конца 20-х – начала 30-х годов. Приключениями неунывающего Остапа Бендера увлеклось не одно поколение читателей.

Также Ильфом и Петровым были совместно созданы повесть «Светлая личность» (1928), новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929). Итогом совместной поездки по США стала их повесть «Одноэтажная Америка» (1937).

В 1938–1941 годы Евгений Петров возглавлял журнал «Огонёк».

Во время Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом Совинформбюро. Был награждён орденом Ленина.

В мае 1942-го на эсминце «Ташкент» Петров прибыл в осаждённый Севастополь. 2 июля 1942 года, самолёт, на котором писатель возвращался в Москву потерпел катастрофу.

Долгое время произведения Ильфа и Петрова не переиздавались. Только в 1961 году вышло пятитомное собрание их сочинений. С тех пор романы соавторов публиковались несчётное количество раз.

Евгений Петров стал прототипом Володи Патрикеева в повести Александра Козачинского «Зеленый фургон» (экранизирована в 1959 и 1983).

Петрушевская Людмила Стефановна, прозаик, лауреат Пушкинской премии фонда Тепфера (1991), премии «Триумф» (2002), Государственной премии России (2002).

Родилась 26 мая 1938 года в Москве в семье служащего.

Прожила тяжелое военное детство, скиталась по родственникам, жила в детдоме под Уфой. После войны вернулась в Москву, окончила факультет журналистики Московского университета. Работала корреспондентом московских газет, сотрудницей издательств, с 1972-го была редактором на Центральной студии телевидения.

Петрушевская рано начала сочинять стихи, писать сценарии для студенческих вечеров, всерьёз не задумываясь о писательской деятельности. Первым опубликованным произведением был рассказ «Через поля», появившийся в 1972 в журнале «Аврора». После дебюта проза Петрушевской не печаталась более десяти лет.

Первые же ее пьесы были замечены самодеятельными театрами: пьеса «Уроки музыки» (1973) была поставлена Р. Виктюком в 1979-м в театре студии ДК «Москворечье» и почти сразу запрещена (напечатана лишь в 1983 году). Постановка «Чинзано» была осуществлена театром «Гаудеамус» во Львове. Профессиональные театры начали ставить пьесы Петрушевской в 1980-е: одноактная пьеса «Любовь» в Театре на Таганке, «Квартира Коломбины» в «Современнике», «Московский хор» во МХАТе.

Долгое время писательнице приходилось работать «в стол» – редакции не могли публиковать рассказы и пьесы о «теневых сторонах жизни». Но она не прекращала работы, создавая пьесы-шутки («Анданте»), пьесы-диалоги («Стакан воды», «Изолированный бокс»), написала пьесу-монолог «Песни XX века», давшую название сборнику ее драматургических произведений.

Проза Петрушевской представляет собой своеобразную энциклопедию женской жизни от юности до старости: «Приключения Веры», «История Клариссы», «Дочь Ксени», «Страна», «Кто ответит?», «Мистика», «Гигиена» и многие другие. В 1990-м был написан цикл «Песни восточных славян», в 1992-м – повесть «Время ночь». Она пишет сказки как для взрослых, так и для детей: «Жил-был будильник», «Ну, мама, ну!», «Сказки, рассказанные детям» (1993), «Маленькая волшебница», «Кукольный роман» (1996). Людмила Стефановна Петрушевская живет и работает в Москве.

Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899–1951), великий русский писатель.

Родился 1 сентября в Воронеже в семье слесаря железнодорожных мастерских Платона Фирсовича Климентова (в 20-х гг. писатель сменил свою фамилию на фамилию Платонов).

Учился в церковно-приходской школе, затем в городском училище; в 15 лет начал трудиться, чтобы поддержать семью. Был поденщиком, подсобным рабочим, «мальчиком» в конторе страхового общества «Россия», затем литейщиком, слесарем. В 1918 году Платонов поступил в Воронежский железнодорожный политехникум. В 1919-м участвовал в Гражданской войне в рядах Красной армии. После окончания войны возвратился в Воронеж, стал студентом Политехнического института (окончил в 1926-м).

Первая брошюра Платонова «Электрификация» вышла в 1921-м. В следующем году увидела свет его вторая книга – сборник стихов «Голубая глубина». В 1923–1926 годы Платонов работает губернским мелиоратором и отвечает за электрификацию сельского хозяйства. В 1926-м переехал в Москву. Книга «Епифанские шлюзы» (1927) сделала писателя известным. На следующий год были изданы сборники «Луговые мастера» и «Сокровенный человек».

Публикация в 1929 году рассказа «Усомнившийся Макар» вызвала волну критики в адрес автора. В том же году был запрещён к печати роман «Чевенгур», и следующая книга Платонова появилась только через восемь лет. С 1928-го он сотрудничал в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь» и других, продолжал работать над прозаическими произведениями – романом «Котлован», повестью «Ювенильное море» и др.

Пробовал себя Платонов и в драматургии («Высокое напряжение», «Пушкин в лице»).

В тридцатые годы начались преследования Андрея Платонова: сперва это делали критики и литераторы из РАППа, потом в травлю включилась газета «Правда». Журналы перестали его печатать, возвращали уже принятые произведения. Несмотря на это, в 1937 году Платонову удалось опубликовать книгу рассказов «Река Потудань».

В 1938 году был арестован сын писателя, пятнадцатилетний Платон (умер от туберкулёза, сразу после освобождения, в 1943).

Шире публиковать Андрея Платонова стали только в годы Великой Отечественной войны, когда он был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда» и писал рассказы и очерки на военные темы.

В 1946 году после публикации рассказа «Семья Иванова» (более позднее название «Возвращение») и разгромной статьи в «Литературной газете», Платонова вновь перестали печатать. Первая после большого перерыва книга «Волшебное кольцо и другие сказки» была издана в 1954-м, уже после смерти автора.

Последние годы своей жизни писатель провёл в глубокой нужде. Скончался Андрей Платонов 5 января 1951 года в Москве. Похоронен на Армянском кладбище.

Ржевская (урожденная **Каган**) **Елена Моисеевна**, писатель, военный переводчик, лауреат премии им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» (1996), премии «Венец» (2001) и др.

Родилась 27 октября 1919 года, в Гомеле. С 1937 по 1941 училась в Московском институте философии, литературы и истории. На фронт попала под Ржевом (отсюда – псевдоним) служила военным переводчиком в штабе 30-й армии. В дни падения Берлина участвовала в поисках Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его самоубийства.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (1948). Печатается с 1950 года. Автор книг прозы: «Особое задание. Повесть о разведчиках» (1951), «На новом месте» (1955), «Спустя много лет» (1958), «Весна в шинели» (1961), «Земное притяжение» (1963), «Берлин, май 1945. Записки военного переводчика» (1965), «От дома до фронта» (1967), «Спустя много лет» (1969), «Февраль – кривые дороги. Повести» (1975) и других.

Нарастающие во многих странах мира тенденции героизации фашизма, побудили Ржевскую снова обратиться к этой теме, к генезису нацизма, к его губительным соблазнам, к его беспощадной разрушительности, в той или иной мере касающейся каждого человека. Об этом её книга: «Геббельс. Портрет на фоне дневника» (1994).

Избранные произведения Елены Ржевской издавались более десяти раз, её произведения публиковались и публикуются во всех толстых литературных журналах.

Награждена орденами Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также золотой медалью им. А. Фадеева (1987).

Член Союза писателей СССР с 1962 года. Член Русского ПЕН-центра.

В 80-е годы была одним из инициаторов государственного и обще-

ственного увековечивания города Ржева в событиях Отечественной войны. Из этой инициативы и возникла идея Городов Воинской славы. Ржев, в числе двадцати других Российских городов, получил это высокое звание.

Елена Моисеевна – почётный гражданин города Ржева (2000).

Русаков Эдуард Иванович, лауреат краевой премии «Вдохновение», премии губернатора Красноярского края (2013) и др.

Родился 31 октября 1942 года в городе Красноярске, в семье служащих. Отец писателя – Иван Русаков пропал без вести на войне. О нем напоминают письма – написанные химическим карандашом. В этих письмах Иван Русаков просил жену воспитать сына, которого ему так и не довелось увидеть, сильным и крепким духом.

В раннем детстве очень любил читать, мечтал стать писателем и художником. Ещё учеником 6 класса красноярской школы Эдуард сочинил первое литературное произведение: детективную повесть «Тайна черной степи». В старших классах сочинял стихи.

После окончания Красноярского медицинского института в течение 15 лет (с 1967 по 1982) работал врачом-психиатром, заочно учился в Литературном институте имени А. М. Горького (1973–1979).

В 1979 году в Красноярском издательстве вышла первая книга прозы «Конец сезона». В 1980 году был принят в Союз писателей СССР.

В дальнейшем выпустил книги: «Театральный бинокль» (1982), «Белый медведь» (1981), «Остров Надежда» (1987), «Стеклянные ступени» (1991), «Дева Маруся» (1995), «Палата N 666» (2002) и др., – всего более двадцати книг, в том числе в Болгарии и Венгрии.

Рассказы переводились на немецкий, французский, финский, украинский, азербайджанский, японский и другие языки.

После ухода из медицины Эдуард Русаков работал редактором Красноярской студии документальных фильмов. С 1982 по 1992 занимался литературной работой, организовал и вел литературный клуб «Дебют».

С 1994 года Русаков работает журналистом различных краевых изданий: «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий» и др.

Эдуард Иванович член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра, заместитель главного редактора журнала «День и Ночь», член редколлегии журнала «Сибирские огни», председатель правления Красноярской региональной общественной организации «Писатели Сибири».

Симонов Алексей Кириллович, кинорежиссер, писатель, переводчик, правозащитник, лауреат фестивалей телевизионных фильмов в Болгарии, Грузии, Югославии.

Родился 8 августа 1939 года, в Москве в семье писателя Константина (Кирилла) Симонова. Мать Алексея – Евгения Ласкина, работала заведующей отделом поэзии журнала «Москва». В 1949 году пострадала в период кампании по борьбе с космополитизмом. В 1940 году К. Симонов расстался с Ласкиной, поэтому отношения с отцом выстраивались постепенно: сумев найти общий язык, они дружески общались до августа 1979-го, когда Константин Симонов скончался.

В 1956 году Алексей Симонов окончил первую английскую спецшколу с серебряной медалью. В 1958–1964 студент факультета восточных языков (индонезийское отделение) МГУ. В 1963–1964 работал переводчиком в советском посольстве в Джакарте. В 1964–1967 редактор и переводчик в издательстве «Художественная литература». В 1968–1970 учился на Высших курсах кинорежиссёров. В 1970–1991 работал в творческом объединении телевизионных фильмов Гостелерадио «Экран». Помимо художественных фильмов снимал фильмы документальные: «Мир Галины Улановой», «Утесов», «Соловьев-Седой».

В 1991–1995 – преподавал в институте Кинематографии.

С 1991 – председатель правления, президент Фонда защиты гласности.

С 2001 – председатель жюри премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

Опубликованы переводы Алексея Симонова из Ирвина Шоу («Тогда нас было трое», «Солнечные берега реки Леты»), Артура Миллера, Джойс Кэрролл Оутс, Юджина О’Нила, африканских и индонезийских поэтов.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), поэт, прозаик, драматург, лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950) премий.

Родился 15 (28) ноября в Петрограде, воспитывался отчимом, преподавателем военного училища. Детские годы прошли в Рязани и Саратове.

В 1930-м после семилетки пошел в фабзавуч учиться на токаря. Вскоре семья переехала в Москву. Окончив фабзавуч Симонов, идет работать на завод. Первые стихи были напечатаны в 1936 в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь».

Окончив Литературный институт им. Горького в 1938 году, Симонов поступил в аспирантуру ИФЛИ, но в 1939 был направлен в качестве военного корреспондента в Монголию на Халхин-Гол и в институт уже не вернулся.

В 1940 написал первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола (1941).

С началом войны был призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 – звание подполковника. Большую часть военных корреспонденций опубликовал в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», повесть «Дни и ночи», книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война» и др.

Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, был свидетелем боев за Берлин. После войны появились сборники очерков: «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента».

Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952, затем вышли «Живые и мертвые» (1959). В 1963–1964 пишет роман «Солдатами не рождаются».

По сценариям Симонова были поставлены фильмы: «Парень из нашего города» (1942), «Дни и ночи» (1943–1944), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спаакоми, Э. Триоле), «Живые и мертвые» (1964) и др..

Был главным редактором журнала «Новый мир» (1946–1950; 1954–1958); с 1950 по 1953 – главным редактором «Литературной газеты».

В 1974 был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Скончался в 1979 году в Москве.

Тарковский Арсений Александрович (1907–1989), поэт, переводчик, лауреат Государственной премии СССР (1989).

Родился 12(25) июня в Елисаветграде Херсонской губернии, в семье народовольца.

Детские и юношеские годы пришлось на годы Первой мировой войны и революции, их тяжесть будущий поэт испытал на себе в полной мере.

В 20-е годы Арсений Тарковский переезжает в Москву, с 1924 работает в редакции газеты «Гудок», где в течение двух лет ведет отдел стихотворного фельетона.

В эти же годы (1925) поступает учиться на Высшие государственные литературные курсы, которые оканчивает в 1929. Первая публикация сти-

хов – в студенческом сборнике, вышедшем в 1926 году. С начала 30-х годов начинает профессионально заниматься переводами, отдавая предпочтение классической поэзии Востока и Средней Азии. Арсению Тарковскому принадлежат стихотворные переводы с арабского, армянского, грузинского и туркменского языков.

Во время Отечественной войны работал в армейской газете «Боевая тревога».

В конце 1943-го Тарковский был ранен разрывной пулей в ногу, началась газовая гангрена, ногу пришлось ампутировать.

Свои стихотворения Арсений Тарковский долго не публикует, они появились в печати, когда поэту было уже за пятьдесят. Затем в течение двадцати лет в журналах и альманахах были напечатаны стихи, составившие шесть, ставших теперь классическими, поэтических сборников: «Перед снегом» (1962); «Земле земное» (1966); «Вестник» (1969); «Стихотворения» (1974); «Зимний день» (1980); «Избранное» (1982).

В 1983 выходят «Стихи разных лет», объединившие лучшее из напечатанного. Последняя книга поэта – «От юности до старости» (1987). В 1991–1993 гг. вышло собрание сочинений в 3-х томах. Стихи Тарковского звучат в фильмах сына – Андрея Тарковского. На его стихи написан ряд песен.

Арсению Тарковскому принадлежит ряд прозаических произведений, а также теоретические и критические статьи и рецензии.

Скончался Арсений Александрович в 1989 году в Москве.

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, лауреат Ленинской премии (1961) и Государственных премий СССР (1941, 1946, 1947, 1971).

Родился 8 (21) июня в деревне Загорье Смоленской губернии в семье крестьянина-кузнеца. Учился в сельской школе, а затем в Смоленском педагогическом институте, ушел с третьего курса и в 1939 окончил Московский институт философии, литературы и истории.

Писать стихи начал рано и уже в 14 лет послал некоторые из них в смоленскую газету «Рабочий путь», где тогда работал Михаил Исаковский, который и помог напечататься юному поэту.

В 1936 была издана первая крупная поэма А.Твардовского «Страна Муравия», получившая широкую известность.

В 1939 был призван в Красную Армию, участвовал в военных действиях Западной Белоруссии. С началом войны с Финляндией уже в офицер-

ском звании находился на фронте в качестве военного корреспондента. В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовых газетах.

Широкую известность получила поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» (1941–1945). Это произведение стало одним из главных в творчестве поэта. В 1946 закончил начатую ещё в войну поэму «Дом у дороги». Были написаны поэмы: «За далью – даль» (1953–1960), «Теркин на том свете» (1963), «По праву памяти» (опубликована в 1987) и другие.

Александр Трифонович проявил себя и как глубокий, пронзительный критик: он автор книг «Статьи и заметки о литературе» (1961), «Поэзия Михаила Исаковского» (1969), статей о творчестве С. Маршака, И. Бунина (1965).

В 1950–1954, 1958–1970 был главным редактором журнала «Новый мир», мужественно отстаивал право на публикацию каждого талантливого произведения, попадавшего в редакцию.

В феврале 1970 года, под давлением партийного и писательского руководства вынужден был оставить свой пост. В том же году от имени Ю. Андропова в ЦК КПСС была направлена записка «О настроениях поэта А. Твардовского». Эти события привели к резкому ухудшению здоровья поэта.

18 декабря 1971 года Александр Трифонович скончался от рака легких.

Ткаченко Александр Петрович (1945–2007), поэт, прозаик, правозащитник, лауреат премии им. В. В. Маяковского (1979).

Родился 19 апреля в Симферополе в русско-крымчакской семье. После школы семь сезонов с 1963-го по 1970 год играл за футбольные команды мастеров класса «А» («Таврия», «Локомотив», «Зенит») на позиции левого полузащитника и нападающего. Был тренером футбольных команд (1970–1980). Одновременно окончил отделение физики и математики Крымского педагогического института (1968), а позже – отделение спортивных игр Крымского университета (1977).

В 1983 году окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Работал в журналах «Работница» (1988–1991), «Юность» (1991–1992). После раскола редакционного коллектива «Юности», стал главным редактором журнала «Новая юность» (1993–1996).

С 1994 – Генеральный директор и вице-президент Русского ПЕН-центра. Стихи и прозу публиковал в толстых литературных журналах с 1975 года.

В качестве правозащитника, принимал активное участие в ряде российских судебных дел и разбирательств с политической окраской (дело Григория Пасько), материалы опубликовал в книге «Русский суд. Дело военного журналиста Григория Пасько» (2004), или в тех случаях, когда обвиняемые имели отношение к литературе (дело Алины Витухновской).

Автор книг стихов: «Обгоняя бегущих» (1980), «Отпечатки грядущего» (1983), «Таврия» (1986), «Подземный мост» (1986), «Игра на вылет» (1988), «Облом» (1993), «Избрань: стихи и поэмы разных лет» (2002), «Происхождение вида» (2007) и др. В последние годы жизни большое внимание уделял художественной прозе. Выпустил книги: «Футбол: Записки футболиста» (1997, 2001), «Левый полусладкий» (2001), «Париж – мой любимый жулик» (2005), «Стукач: Новеллы и повести» (2007), «Сон крымчака, или оторванная земля» (2007, переиздана в 2015).

Член Союза писателей СССР (с 1977) и Союза российских писателей (с 1991). Награждён медалью Германа Кестена (ФРГ, 1999).

Скончался Александр Петрович 6 декабря 2007 году, похоронен на писательском кладбище в Переделкино Московской области.

Турков Андрей Михайлович, критик, литературовед, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2012).

Родился 28 августа 1924 года в городе Мытищи, Московской области. Отца – не помнит, мать Ольга Иосифовна Туркова, из обедневшего дворянства, фармацевт. С детства много читал, чему способствовала мать Андрея. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Выбор профессии, вероятно, был во многом определен семейной атмосферой.

Рядовым участвовал в Великой Отечественной войне. Был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

По словам самого Андрея Михайловича: «Это было очень жесткое «соприкосновение» с непривычной для меня жизнью, средой, множеством людей».

В послевоенное время – участник «литературных баталий», связанных с публикацией романа Василия Гроссмана «За правое дело», а позже – с выходом сборника «Литературная Москва». Стойко защищал и роман Гроссмана, и «Литературную Москву».

Позже, около десяти лет вел имевшую широкий читательский отклик библиографическую колонку в газете «Известия» (1984–1993).

В застойную пору занимался литературоведением, после 1991 года не-

редко выступал с публицистическими статьями в тех же «Известиях», а позже – в газете «Труд».

Автор книг: «Владимир Луговской» (1958), «Салтыков-Щедрин» (1964), «Николай Заболоцкий» (1967), «Александр Блок» (1969), «Исаак Ильич Левитан» (1974), «Фёдор Абрамов» (1987), «Неоконченные споры» (1989), «А. П. Чехов и его время» (1980), «Время и современники. Статьи о современной России и русской литературе» (2004), «Что было на веку» (2009), «Твардовский» (2010) и многих других.

Андрей Михайлович Турков – член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра.

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), прозаик, поэт, переводчик, лауреат Сталинских премий (1942, 1948).

Родился 14(27) января в Киеве в семье инженера. Детские годы прошли там же, в Киеве, затем семья переезжает в Москву. Здесь Эренбург учится в 1-й Московской гимназии; из шестого класса его исключают за участие в революционной организации большевиков. В 1908 был арестован, в декабре эмигрировал в Париж, где продолжал революционную работу. Вскоре отошел от политической жизни и обратился к литературной деятельности. Выпустил в Париже сборники стихов «Я вижу» (1911), «Будни» (1913) и др.

В 1915–1917 был корреспондентом газет «Утро России» (Москва) и «Биржевые ведомости» (Петроград). Военные корреспонденции этих лет и стали началом его журналистской работы («Лик войны», 1920).

В июле 1917 возвращается в Россию, Октябрьскую революцию Эренбург сперва не принял. Весной 1921 уехал за границу, где написал первое свое произведение в прозе – роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...» (1922).

С 1921 по 1924 Эренбург живет в Берлине, сотрудничает в журналах «Русская книга» и «Новая русская книга». В 1924–1926 работает над социально-психологическими романами «Рвач» (1924) и «В Проточном переулке» (1927).

В 1930-е поездки в Испанию, Германию убеждают его в возникновении явных угроз человечеству, которые нес с собой фашизм. Активно включается в жизнь СССР, посещает стройки первых пятилеток (1932).

Годы 1936–1939 (с перерывами) провел в Испании в качестве корреспондента «Известий». Как писатель-антифашист председательствовал на международных конгрессах в защиту культуры (1935, 1937).

С началом Великой Отечественной войны широкую известность приобрела его публицистика: выступал в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда». В дни войны возник замысел романа «Буря». В послевоенные годы опубликовал роман «Девятый вал» (1951–1952) и повесть «Оттепель» (1954–1956), вызвавшую широкий общественный резонанс и острые споры.

В 1958–1960 выступал с литературно-критическими эссе («Французские тетради», 1958; «Перечитывая Чехова», 1960). Самое значимое произведение последних лет – книга воспоминаний «Люди, годы, жизнь».

Скончался Илья Григорьевич в Москве 31 августа 1967 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I

Арсений ТАРКОВСКИЙ. Иванова ива.....	3
Андрей БИТОВ. Дежа вю. <i>Рассказ</i>	4
Михаил КУЛЬЧИЦКИЙ. «Я вижу красивых вихрастых парней...»	13

I. ИЗ ПЕКЛА

Ольга БЕРГГОЛЬЦ. Из «Ленинградской поэмы»	14
Илья ЭРЕНБУРГ. Писатель-боец. <i>Предисловие</i>	16
Евгений ПЕТРОВ. Из «Фронтового дневника»	18
Сегодня под Москвой. Клин, 16 декабря. Военная карьера Альфонса Шоля. В феврале. Учитель музыки. Май на Мурманском направлении. <i>Рассказы</i>	
Андрей ПЛАТОНОВ. Одухотворённые люди. Иван Великий. Возвращение. <i>Рассказы</i>	51
Виктор АСТАФЬЕВ. Связистка. <i>Рассказ</i>	114
Константин ВОРОБЬЁВ. Немец в валенках. <i>Рассказ</i>	131
Виктор НЕКРАСОВ. Мамаев Курган на бульваре Сен-Жермен. <i>Рассказ</i>	143
Алексей СИМОНОВ. Вспоминая отца. <i>Предисловие</i>	149
Константин СИМОНОВ. Разговоры и размышления. <i>Из неопубликованного</i>	155
О Белове. Два эпизода. Рассказ посла в ФРГ. Рассказ писателя Шелеста. Беседа с В.П. Прониным. Разговор с М. Б. Храпченко. Из записей о Сталине. О Мехлисе и Запорожце. О судьбе Абхазии. Ошибка Чернышевского. Аресты 1941 года. Непогрешимость	
Александр ТВАРДОВСКИЙ. Страницы записной книжки.....	198
Иван БУНИН. Письмо Н. Телешову	203
Леонид ЗУРОВ. «Удивительная книга!» <i>Бунин читает Твардовского</i>	204
Александр ТВАРДОВСКИЙ. Смерть и воин. <i>Из поэмы «Василий Тёркин»</i>	206

II. ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

Александр ГОРОДНИЦКИЙ. Блокада. Стихи неизвестному водителю	214
Даниил ГРАНИН. По ту сторону. <i>Повесть</i>	216
Елена РЖЕВСКАЯ. Второй эшелон. <i>Рассказ</i>	253
Владимир КОРНИЛОВ. «Девочки и дамочки». <i>Главы из повести</i>	273
Андрей ТУРКОВ. Старый дом, старый друг. <i>Пёстрые заметки</i> ...	288
Рой МЕДВЕДЕВ. Иосиф Сталин и Иосиф Апанасенко. <i>Исторический очерк</i>	295
Всеволод ОСТЕН. Рассказы узника Маутхаузена.....	311
Юнна МОРИЦ. Военное искусство	330

III. ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Игорь ВОЛГИН. «Октябрь сорок первого года...»	332
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Маленькая девочка из «Метрополя». <i>Главы из повести</i>	334
Лев АННИНСКИЙ. Батя Саня. <i>Из воспоминаний семилетнего сына, записанных десятилетие спустя</i>	359
Александра КОРОБОВА. Дом в Леонтьевском. <i>Фрагмент мемуарной повести</i>	376
Эдуард РУСАКОВ. Двадцать второе июня. День Рождения. Открытка с фронта. Мой папа японский шпион. Гордая мама. <i>Рассказы</i>	378
Вячеслав КАРПЕНКО. Год лошади. <i>Рассказ</i>	394
Борис МИСЮК. Военная цензура. <i>Рассказ</i>	402
Александр ТКАЧЕНКО. 11 декабря 1941 года. Ремесло Якуба. <i>Рассказы</i>	405
Анатолий ВАНУКЕВИЧ. Я был № 99176. <i>Воспоминания малолетнего узника</i>	415
Наум КОРЖАВИН. Дети в Освенциме.....	427
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ. Моё поколение	429
Коротко об авторах.....	431

ОБЖИГАЮЩИЙ ПЛАМЕНЬ ПОБЕДЫ

Проза. Стихи.

Свидетельства. Размышления

ТОМ I

В оформлении форзаца использована картина Николая Джугана

Руководитель проекта: В. Сергиенко

Директор: И. Фишман

Ответственный редактор: В. Карпенко

Корректор: С. Иванова

Верстка и дизайн обложки: И. Селиванова

Подписано в печать ??.04.2016

Печать офсетная.

Формат 60x84 1/16. Объем 29 печ. л. + 1 печ. л. фотовкладка

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в типографии

«ООО Промышленная типография «Бизнес-Контакт»

г. Калининград, ул. К. Маркса, 18 В.

Тел. +7 (4012) 95-75-70.

www.biz-kon.ru

ISBN 978-5-904895-23-5



9 785904 895235